НЁМАН

5/2017
МАЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

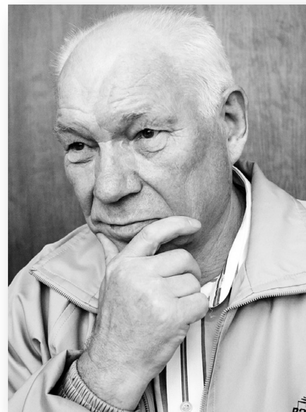
Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 15.05.2017. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,08. Тираж 1514. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.



Микола ЧЕРНЯВСКИЙ

«И весною взойду…»

Повесть о друге

А над песняю той, недапетай,
Прагудзела труба жураўля:
Тых,
З кім дзеліцца неба
сакрэтам,
Маладым забірае зямля.

Анатоль СЕРБАНТОВИЧ

Где-то года два назад позвонила мне Римма Ковалева, доцент кафедры фольклора Белгосуниверситета. Поделилась новостью: на одном из сайтов в Интернете появилась их литературно-художественная программа — альманах «Дзьмухавец». «Не видел? О чем он? Рассказывает о жизни университета, о его знаменитых выпускниках, в том числе о писателях, которые в разные годы учились здесь. Если тебе интересно, зайди на наш сайт, можешь даже скачать на свой компьютер, и даже распечатать, если понравится. Ты не заходишь на наш сайт?» Услышав, что я не умею работать с Интернетом, этим чудом человеческого разума, удивилась: «А ведь у нас есть специальная рубрика, и я хочу, чтобы ты поучаствовал в ней, поделился воспоминаниями о годах учебы, жизни в общежитии (может, еще не забыл, как мы устраивали танцы в вестибюле), напечатал свои стихи о студенческом житье-бытье, какие сам посчитаешь интересными. Не думаю, что в памяти ничего не осталось о том времени. Конечно же, воспоминания остались и стихи найдутся».

Заинтересовавшись таким предложением, долго не раздумывая, согласился. Почему Римма Модестовна, как ее теперь зовут-величают студенты филфака, где она преподает (даже моя дочка Настя была слушательницей ее лекций), не забыла номер моего телефона, обратилась ко мне? Да потому что я помню ее еще вчерашней школьницей, усмешливой девчонкой, когда звали ее просто Риммой, да и не Риммой вовсе, а было у нее свое девичье имя. Нет, мы не учились с ней в одной школе и не были одноклассниками. Совсем другая история предшествовала нашему не такому уже короткому знакомству. Это позже я узнал: она мне, считай, землячкой приходилась — десятилетку закончила в Речице, оттуда и приехала на учебу в Минск. Совсем неожиданно нас свел университет, тогда еще единственный в республике — БГУ. А скорее, желание учиться в нем, стать студентами. В том августе далекого 1960 года, когда я приехал в Минск сдавать вступительные экзамены, на время их сдачи мне выдали направление в общежитие, которое находилось на улице Димитрова. Где находилась эта улица, наверное, надо объяснить, особенно молодежи, позже ее переименовали в Парковую магистраль, потом в проспект Машерова, а с какого-то времени она стала проспектом Победителей. Так же,

как обновлялись и исчезали названия улиц, недавней весной пошел под снос и исчез из уличного реестра, но, надеюсь, не из памяти тех, кто когда-то жил в нем, дом под номером 9. Долгие годы он жался в тени современных высоток, словно мозолил им глаза, и вот «сдался», уступил свое место более современному монстру, уже не жилому, а торгово-развлекательному комплексу. Ничего не поделаешь. Явь наших дней. А тогда была своя — более понятная нам явь…

Держу в руке направление, думаю в растерянности: где искать это общежитие? Смотрю, а я не один такой. Может, спросить ту девушку, которая держит точно такой листок и о чем-то переговаривается с привлекательной молодой женщиной, наверное, матерью?

— Поедем вместе искать! — глянув на меня, решительно сказала женщина и подхватила свой чемодан.

Я не ошибся: Римма приехала с мамой. Из университетского городка мы пошли в сторону проспекта, который тогда носил, по-моему, имя Сталина. Риммина мама, как оказалось, довольно решительная женщина, быстро пошла впереди. Чемодан был тяжелый, но она будто не замечала его тяжести, и мы с Риммой едва поспевали за ней. Что девушку зовут Риммой, я узнал по дороге. Мне сразу понравилось ее имя, такое же было у моей старшей сестры.

Римма шла налегке, руки были свободными, а я кроме чемодана, загруженного учебниками и другими необходимыми вдали от дома вещами, нес, прижимая под мышкой левой руки, большой батон, который прикупил еще утром, выйдя из вагона, в привокзальной булочной. Батон тот весил, наверное, килограмма полтора, я отдал за него четыре рубля на те деньги. А взял большой, потому что боялся: вдруг разберут? Его за раз не съешь, если бы и хотел, так что хватит на день или два. Лишние деньги тратить зачем? Может до дома не хватить. Как добираться тогда? Я же не рассчитывал, что мне улыбнется счастье: в Доме печати получу целых сто шестьдесят рублей гонорара за стихотворение «Золотые руки», которое было напечатано в июльском номере журнала «Бярозка»! Так что можно было уже купить что-нибудь вкусненькое.

Батон я нес завернутым в газету, из которой он почему-то постоянно выскальзывал. Это мешало мне идти за Римминой мамой так же бойко, как она. К тому же, признаюсь искренне, в те минуты я чувствовал себя неловко перед этой беззаботно-усмешливой девчонкой и ее сосредоточенной мамой за свою деревенскую неуклюжесть: мол, осчастливился, бедолага, ничего подобного раньше в глаза не видел! А по правде — так и не видел. Но про себя все же радовался, что повезло попасть в такую компанию искателей неизвестной улицы и общежития, в котором доведется жить и готовиться к вступительным экзаменам.

Женщина не стеснялась останавливать прохожих и время от времени переспрашивала, не знают ли они, где находится улица имени Димитрова. Последним, к кому мы подошли с таким вопросом, был милиционер-регулировщик на перекрестке около ГУМа. Услышав, что нам надо, он не очень уверенно показал рукой: «Кажется, туда. Но вы еще по дороге у кого-нибудь спросите».

И мы, словно пилигримы, двинулись дальше мимо домов, что стояли по улице Ленина. Перешли трамвайные пути, за ними — широкий бетонный мост, который перекинулся через улицу, где-то там, внизу, слышался размеренный шум машин. За мостом, прямо перед нами, раскинулся пустырь, усыпанный битым кирпичом, заросший лебедой и репейником. Кое-где на

пустыре паслись козы: чем не деревенский пейзаж? Отсюда начиналась улица, застроенная деревянными домиками, они жались друг к другу около приусадебных огородов. Позже я узнал, что это местечко в столице называется Татарская слобода. Такой необычный для столичного города пейзаж еще не один год будет оставаться неизменным, бросаться в глаза некой старосветскостью, а точнее, своей беспросветной убогостью. Возвращаясь сюда, Анатоль Сербантович напишет: «На Паркавай — прыгорбленыя хаты, на Паркавай — высокі інтэрнат…» Тогда он на самом деле казался высоким: из белого кирпича, пятиэтажный, он единственный возвышался на том пустыре, по соседству с деревянными хатенками, потому и бросался в глаза издалека. Увидев его, мы с облегчением вздохнули: это, наверное, и есть то общежитие, которое мы ищем.

Что не ошиблись, поняли, когда подошли ближе. Перед входом в общежитие столпились такие же, как и мы, парни, девчата с чемоданами и разбухшими сумками — претенденты на таинственно-романтическое звание студента.

— Почему все на улице толпятся, что, не пускают внутрь? — поинтересовалась мама Риммы у какого-то мужчины, который, наверняка, был здесь в качестве сопровождающего дочки или сына.

— Говорят, комендант где-то задержался. А без него никто не может принять абитуриентов, чтобы распределить по комнатам. Сказали, надо подождать…

Одни сидели на высоком крыльце, другие стояли невдалеке группками и в одиночку. Кто-то оживленно переговаривался, а кто-то молчал. Обычная картина: собралось много молодежи, вчерашних, считай, школьников, еще не успели перезнакомиться, избавиться от застенчивости и даже растерянности перед неизвестностью, что ждала их…

Я с тяжелым чемоданом и батоном под мышкой, который едва помещался в растрепанной газете, отстал от своих спутников, пробрался ближе к крыльцу, на голос, который слышался оттуда. Из всех, кто сидел на крыльце и толпился вокруг него, бросилась в глаза фигура паренька. Щуплый, худенький, с детским выражением лица, на котором заметно выделялся не совсем соответствующий его лицу нос (позже друзья и знакомые будут сравнивать с бородулинским), он мне, деревенскому хлопцу, в тот момент напомнил молодого петушка, который был готов закукарекать или броситься в драку из-за любой обиды. Это позже (не обращайте внимания, что часто использую слово «позже» и «потом», без них никак нельзя обойтись) старший товарищ по жизни и творчеству поэт Алексей Пысин в предисловии к его посмертному сборнику «Пярсцёнак» сравнит Анатоля Сербантовича с весенним жаворонком, а тогда, на крыльце студенческого общежития…

Он стоял на нижней ступеньке каменного крыльца и, словно подбадривая себя взмахами рук, читал… стихи. Свои или чужие — не знаю. Все, кто стоял рядом, внимательно слушали. Кому-то действительно было интересно, а кто-то, может, думал: ну что за чудак нашелся? А хлопец (можно сказать, даже хлопчик) вдруг замолчал, окинул «аудиторию» взглядом: «А может, кто еще хочет почитать стихи? Кто из вас пишет?»

Желающих не нашлось. Да и откуда им взяться, когда вокруг тебя все чужое, это не перед друзьями слово держать, показывать, что у тебя за душой. Некоторые даже, опасаясь, чтобы этот бойкий «артист» не зацепил его и не вытянул на «трибуну», отошли подальше от крыльца. Я тоже отошел, но, помню, подумал: «Ты смотри, какой смелый! Откуда он, на какое отделение приехал поступать? Видно, как и я, на белорусское?» Познакомились на консультации. Она была

общей для всего филологического факультета. Оказалось, что он поступает на отделение журналистики. Туда, куда я подал свои документы вначале, но мне отказали: не было обязательного двухлетнего рабочего стажа после окончания средней школы. Когда знакомились, он протянул руку: «Анатоль Сербантович. Приехал из Шкловского района». Сразу признался, что пишет стихи и уже печатался в «Магілёўскай праўдзе». Был участником областных семинаров, знаком с поэтами Алексеем Пысиным и Василем Матеушевым. Позавидовать было чему, творчество этих поэтов я знал хорошо по их стихам в газете «Піянер Беларусі», которые печатались в рубрике «Беларускія пісьменнікі — дзецям». Сразу подумалось: палец в рот ему не клади. Какая-то ершистость и категоричность была в его голосе и едва уловимая уверенность в правильности всего, о чем он говорил. И это импонировало. Было видно, что за плечами у него серьезный жизненный опыт. Анатоль был на два года старше меня и уже поработал грузчиком в колхозе после окончания школы. Признаюсь, в правдивость этих слов не хотелось верить: «Не слишком ли ты слабоват для такой тяжелой работы? Разве мешки с зерном да картошкой по тебе?» И что я ошибся, убедился потом в общежитии, когда в шутку решил побороться — редко удавалось «припечатать» его руку к столу.

Разъезжались после вступительных экзаменов друзьями. Расставались с надеждой, что встретимся в сентябре, но уже студентами.

«Ёсць дом на вуліцы Свярдлова…»

Для Риммы Ковалевой я подготовил материал: цикл стихов и зарисовку в прозе «Ёсць дом на вуліцы Свярдлова». Ее завершил вопросом, который наверняка задал бы каждый, кто когда-то, в далекой юности, ступил на то высокое крыльцо, ходил по коридорам общежития, слыл своим среди друзей, находил приют в гомонливых комнатах: «Как ты живешь теперь, наше общежитие, кого радуешь своим теплом и уютом? И будет ли что вспомнить тем, кто ходит по твоим коридорам сегодня?»

Ёсць дом на вуліцы Свярдлова,
Які мне ўсцешвае душу,
Дзе спазнаваў таемнасць слова,
Якім жыву,
Якім дышу.
Сюды мяне вяртае памяць
Нібы юнацкіх дзён святло.
Няўжо было ўсё гэта з намі?
Няўжо ўсё гэта адцвіло?
І сэрца згодзіцца вяснова,
Устрапянецца, як лісток…
Ёсць дом на вуліцы Свярдлова —
Майго сяброўства астравок.

Познакомившись с моей, может, запоздалой исповедью, Римма Модестовна не скрывала своего волнения: мои воспоминания ей тоже навеяли немало о тех событиях, что прошли под крышей этого дома. Я же, возвращаясь в ту неблизкую пору, не забыл лишний раз рассказать о том, как нам жилось в студенческом общежитии, с чего начинался путь моих друзей-ровесников: Миколы Малявко, Эдуарда Зубрицкого, Михася Вышинского, Алеся Масаренко, Михася Зарембо, Рыгора Семашкевича, Геннадия Дмитриева, Казимира Камейши, Федора Черни, Иосифа Скурко, Марии Шевчонок, Ольги Ипа-

товой, и конечно же, Анатоля Сербантовича. Общежитие собрало нас всех вместе и сблизило. Вдали от дома никто из нас не чувствовал себя одиноким, «интернат» учил держаться дружной семьей. А что касается начинающих искателей рифмы, так еще — и семьей литературной.

Пусть у меня и не было с Анатолем такой закадычной дружбы, как, например, с Миколой Малявко, а у Анатоля с Василем Макаревичем, — у всех нас было главное, что с первого знакомства не просто сблизило, но и сроднило, переросло в творческое братство, — это одержимость, стремление поскорее постичь секреты мастерства, показать, что ты не случайно выбрался на эту непроторенную тобой дорожку и сможешь чего-то добиться. У нас не было никаких авторских тайн, мы искренне делились замыслами, тем, что уже сделано, что-то подсказывали друг другу, даже, без всякого сомнения, могли пожертвовать удачно найденной рифмой, образом, если понимали, что сам не сможешь воспользоваться этой находкой. Радовались не таким уже и частым удачам — напечататься в недоступных до этого «Маладосці», «Беларусі», «Полымі», «Вожыку». Или в «Дні паэзіі» и «Чырвонай змене», которую мы, новобранцы, справедливо считали «крестной». А те, кто прошел в ней «школу литературной зрелости», теперь уже нам на заседаниях литературного объединения терпеливо давали уроки мастерства, — Рыгор Бородулин, Владимир Павлов, Иван Колесник, Янка Сипаков, Юрась Свирка, Геннадий Буравкин, Кастусь Цвирка, Степан Гаврусев, Семен Блатун… Они, сами еще молодые, но с талантом от Бога, опекали нас, можно сказать, «зеленых», потому что верили в нас, надеялись на творческий взлет и достижения… И это, несомненно, подбадривало нас, поднимало настроение, понуждало работать над собой…

Анатоль Сербантович был как раз одним из тех неугомонных, нетерпеливых искателей, он опережал нас, успевал сказать то, над чем кто-то еще раздумывал, не боялся попасть в немилость за правдиво высказанные строки и слова, был одержим заветной мечтой: «Я, нібы зерні, словы сёння // Хачу пасеяць між людзей…» И в то же время: «Не мелка сеяць, не глыбока, // А каб у сэрцах узышлі!»

После прожитых трех лет «зайцем» в студенческом общежитии по улице Свердлова по решению местного студенческого «начальства» (того же председателя профкома университета Анатоля Кудравца, будущего талантливого прозаика, а тогда старшекурсника отделения журналистики, такого же «творца», каким был и я) мне, студенту вечернего отделения и сотруднику Республиканского радио, осенью 1963 года пришлось сказать «прощай» гостеприимному общежитию. Было грустно расставаться с тем, к чему успел прикипеть, где осталась частичка моей души, тем не менее, приглушив в себе волнение перед будущим, перебрался, словно из дружной колхозной деревеньки, которая никогда не знала ни покоя, ни тишины, на незнакомый малосемейный хутор, словно окунулся в другой мир, окутанный грустью и неизвестностью. Благо сборы были недолгими: связка книг, остального было мало — не успел еще к тому времени обрасти вещами.

«Вуліца Грамадская, кватэра прыватная…»

Благодаря подсказке радиожурналиста Анатолия Залевского, который там жил с семьей, квартира нашлась довольно быстро и совсем недалеко от железнодорожного вокзала, на улице Грамадской. Не очень широкая, не всюду заасфальтированная, кое-где мощенная камнем, она находилась по соседству с известной улицей Красивой. Почему известной? Да потому, что

в предвоенные годы, да и после войны, там квартировались многие молодые литераторы.

Теперь здесь стоят высотные дома. А в то время в тени яблонь и вишен, груш и слив роскошествовал частный сектор. Мой новый приют находился на втором этаже аккуратного деревянного домика, еще не очень старого, и больше напоминал пристроенную летнюю мансарду, нежели жилое помещение. Но справедливости ради стоит сказать, что хозяева, планируя сдавать помещение квартирантам, утеплили его, в холодное время обогревали — внизу находилась небольшая котельная. Зато весной и летом был настоящий рай: в одно окно заглядывали ветки соседского сада, а в другое — хозяйская вишня. С двух сторон «голубятню» окружал аккуратный деревянный балкон. На него в погожий день можно было выйти и порадоваться ласковому солнцу, полюбоваться утопающими в садах домиками, ясной голубизной неба. Когда наведывались друзья в гости, то не могли удержаться от искушения протянуть руку в раскрытое окно, чтобы сорвать яблоко или горсть вишен. Они даже завидовали мне: такая романтика вокруг! И стоит ли далеко ходить, чтобы причаститься глотком поэтического вдохновения? Что это было именно так, через много лет припомнил Казимир Камейша в стихотворении «Окно», не забыв посвятить: «Міколу Чарняўскаму»…

Акно расчынялася ў сад
І ціха ўсміхалася лету.
І, просячы мёду, аса
Кружляла над думкай паэта.

Той двор аж стагнаў ад галін.
І падаў за шыбаю яблык
У бездань шчаслівых хвілін
Пад гукі высокага ямба.

Быў кожны сябе маладзей,
Нібыта ляцеў па-над часам.
Смяяўся, свяціўся наш дзень,
Як яблык пад чарамі Спаса.

Хмяліў нас вясёлы той сад
Напоем і нашым, і крымскім.
І ў шклянцы купала аса
Тутэйшага гонару крыльцы.

Было маладым не да сну,
Шукаючы дзіўнага сэнсу,
У сад малады, у вясну
Само расчынялася сэрца…

На той «голубятне», как мы называли ее между собой, я жил со своим земляком Владимиром — сегодняшним ученым, доктором исторических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии наук. Он был старше меня и в то лето, окончив отделение журналистики БГУ, пришел работать в редакцию зарубежного вещания Республиканского радио, в которой тогда работал и я. Через какое-то время в военкомате обнаружили, что он еще не служил в армии, и его призвали на военную службу. Комнату мы снимали вдвоем, поэтому хозяйка посоветовала мне найти замену земляку: не стоит пустовать лишнему местечку на той «голубятне» и каждый месяц терять пятнадцать рублей.

Узнав, что Анатоль Сербантович по каким-то неизвестным мне причинам решил уйти из общежития и ищет жилье, я предложил ему: «Давай подселяйся ко мне! Недалеко, и хозяева порядочные, приветливые». Анатоль даже обрадовался: «А почему бы и нет? Поехали договариваться!»

«Рыфмамі вершы звязваю…»

И правда, хозяева были приветливые и гостеприимные. К тому же, по-своему интеллигентные, близкие мне по отношению ко всему белорусскому: хозяин, Павел Антонович, главный бухгалтер универмага, на память знал много стихов Янки Купалы, Якуба Коласа, Михася Чарота, Кондрата Крапивы, которые остались в памяти со школьных лет. Со мной старался говорить по-белорусски. Именно из хозяйской библиотеки я разжился двумя томами избранных сочинений Янки Купалы, которые издавались в 1928 году. Хозяйка, Зинаида Николаевна, была немного другого склада: литературой не интересовалась, но никогда не злилась на квартирантов, не вмешивалась в их быт. Когда случались семейные торжества, приглашала и нас за общий стол. Не каждый квартирант мог похвалиться таким уважением со стороны хозяев…

Не сразу, но тем не менее, хозяйская симпатия досталась словоохотливому Анатолю: какое-то время он приглядывался к ним, а они к нему. Нам же приглядываться, входить друг к другу в доверие особой необходимости не было: дружба наша проверена годами, и не было причин сомневаться в ее искренности и надежности. И все же хочется признаться, что через какое-то время я стал сомневаться: правильно ли поступил, когда предложил Анатолю соседство на нашей «голубятне». Я хорошо знал его по нашим тусовкам в общежитии, сборам в литературном объединении «Чырвонцы», по редакционному общению в журнале «Бярозка», по веселым студенческим застольям, и вдруг мы оказались под одной крышей, в одной комнате, соседями по топчанам, которые стояли почти впритык. Разные характеры: я — спокойный, в чем-то даже копун, которому свойственна рассудительность, он — беспокойный, непоседливый, горячий, дерзкий, категоричный в суждениях и высказываниях, может, даже с нотками самоуверенности. Анатоль не скрывал своих убеждений, говорил в глаза то, что думал, что подсказывали его придирчиво-критический разум и совесть. Он особо не разбирался, кто перед ним: писатель солидного возраста, с «короной» классика, или кто-то из нас, его друзей, таких же, как и он, искателей рифмы. Может, кто-то промолчал бы, свое мнение оставил при себе или приберег к удобному моменту, а он не мог — сразу «загорался»! Откуда это все, откуда у него такой характер? Анатоль признался в стихах о своей родословной: «І пэўна, і мела, і мае значэнне // Тое, што каб на калені не ўпаў, // Май нарадзіў, а хрысціў мяне чэрвень // І ў свінцовай купелі купаў». (Действительно, он родился 13 мая (!) 1941 года, за месяц до начала Великой Отечественной войны. Поэтому понять его можно: «Год сорак першы — нянавісць і боль».) И еще не упустил случая признаться: «Я ўзяў у ячменя характар яршысты, // Даў мне задуменнасць задумлівы бор…» Вот из-за этой «ячменнасці», наверное, и многочисленные неприятности имел, особенно от тех, кто был на высоких должностях или карабкался по ступенькам карьерной лестницы, чтобы добиться своего, хотя делал вид, что не замечает их, будто все ему нипочем...

Однако, что это я? Снова разговорился, свернул не на ту дорожку. Наверное, следует разъяснить, из-за чего возникли мои сомнения по отношению к нашему соседству на улице Грамадской, хотя я не сомневаюсь, был одним из первых, кто мог прикоснуться к тайнам его «творческой лаборатории», увидеть, как он трудится над стихами, творит. Даже хочу уточнить: он не творил, а колдовал. И чаще всего в ночной тишине. Пока Анатоль квартировал рядом со мной, в нашей комнате не успевал выветриваться аромат кофе. Не такого, конечно, как сейчас рекламируют и продают, попроще, доступнее, который был по карману тогдашнему интеллигенту. Чтобы не уснуть, он с вечера заваривал его целую кастрюлю, заворачивал в полотенце, чтобы не так быстро остывал, ставил на всю ночь у стола… и начинал писать… В эти минуты я не приставал к нему с разговорами, затихал на своем топчане, который стоял впритык к столу, старался уснуть. Мне надо было вставать рано, чтобы не опоздать в редакцию радиокомитета, а Толя мог поспать и попозже, даже задержаться: в журнале «Бярозка» рабочий день традиционно начинался «с опозданием», где-то уже в полдень, кстати, как и во всех литературных изданиях.

Засиживался Толя за столом, пока не начинало светать и на дне кастрюли оставалась одна гуща. Я, бывало, подшучивал: «Ты знаешь, Толя, почему твои стихи нравятся читателям, особенно девушкам? Да потому, что они замешены на кофейной гуще. На которой они любят гадать». Услышав такое, он сначала заходился каким-то смехом, потом, словно соглашаясь, высказывал свое суждение: зато крепче будут, не рассыпятся сразу, когда критики начнут их дергать и трясти, выискивая недостатки, они же у нас такие…

Свой взгляд на все был и у Зинаиды Николаевны, у нашей хозяйки. «Ой, Анатоль, послушай меня! Ты же можешь раньше времени посадить сердце», — говорила она, принимая из его рук пустую кастрюлю с черной гущей на дне. «Ничего, выдержит, — не соглашался Анатолий, — кофе не мешки с цементом или рожью, которые на своем горбу в колхозе таскал». — «Смотри», — предупреждала она, качала головой и закрывала за собой дверь нашей комнаты.

Я не имел привычки утром, пока Толя спал, совать нос, подглядывать в исчерканные страницы школьной тетрадки (почему-то именно в таких тетрадках он любил писать), которые беспорядочно были разбросаны на столе. Я верил ему, когда он, усталый, но довольный, признавался, словно желая в чем-то упрекнуть меня: «Ты спал как сурок, а я за ночь пять стихотворений написал. Не веришь? Тогда послушай, чтобы не сомневался», — торопливо переворачивал несколько листков в тетрадке, немного дольше задерживал взгляд на одном из них, и энергично начинал читать, жестикулируя рукой в такт строкам:

Рыфмамі вершы звязваю,
Атрымлівай — што каму,
І запіраю іх, вязняў,
Ў шуфляду, нібы ў турму.

Хто меней сядзіць, хто болей,
Аж покуль не будзе ўказ:
І не амнісціруе волю
Начальнік няўмольны — Час.

Начальнік,
працуй спакойна,

Табе давяраем мы.
Толькі адных дастойных
Ты выпускай з турмы».

Закончив чтение, он цепким взглядом буквально впивался в меня: «Ну как тебе? Не будут цепляться, что немного жестко сказано, узников да тюрьму вплел? У нас же такие слова не любят, стараются избегать, как будто никого за решетку не сажают, баландой не кормят». — «А по-моему, никакой крамолы нет, — высказывал я свое мнение — Образно же сказано. Только посмотри, чтобы в четвертой строке в первом куплете после “Ў” краткого снова “У” не сокращалось — “ў шуфляду”. Выговаривать сложно. И не по правилам. Это классики могли себе такое позволить, тот же Максим Танк, а к тебе из-за этого могут прицепиться. Скажут: надо поправить. Или Аврамчик, или так еще кто-нибудь…» Он снова пробежал глазами по строкам, ткнул пальцем в тетрадку: «Пусть пока так останется, а там посмотрю…»

Перечитывая недавно сборник «Жаваранак у зеніце» в разделе «З неапублікаванага» заметил: это стихотворение Анатоль оставил в таком виде, в каком читал тогда мне. Наверное, решил остаться при своем (это было в его характере).

«Голасам тужлівага адчаю…»

Наше совместное квартирование продолжалось недолго. Наверное, года два. Осознав, что двум котам в одном мешке ужиться не всегда удается, Анатоль однажды сказал мне, что хочет подыскать себе другую квартиру, лучше, чем эта, более подходящую для нормальной городской жизни. И вскоре он перебрался с нашей улицы Грамадской куда-то в район Грушевки. И мы теперь встречались редко. После того уличного происшествия, которое подстерегло его через какое-то время, Анатоль наверняка пожалел, что поменял соседство с улицей Красивой. Что с ним произошло в тот вечер, мне Анатоль не рассказывал, да я и не расспрашивал: может, ему не очень приятно было вспоминать о том, что оставило больной след, еще одну жгучую рану? Василь Макаревич вспоминает, что в тот зимний вечер его избила банда уличных хулиганов. Это и неудивительно: Грушевка всегда имела славу не самого тихого района столицы. От местного хулиганья перепадало многим. Не повезло и Анатолю. Все произошло по давно известному, привычному в таких случаях сценарию.

Они остановили его и попросили закурить. Анатоль ответил, что спичек у него нет. И по своей наивности похвалился, что у него есть деньги и что он может дать им на спички и даже на сигареты, вынул из кармана солидную пачку десятирублевок, и в это время что-то тяжелое обрушилось на его голову. Пришел в себя только в больнице. Голова была забинтована. Минута за минутой, день за днем настойчиво выбирался из когтей смерти. Наконец, как говорится, он вернулся в строй. Внешне Толя выглядел как обычно, но внутри — кто бы подумал? — был надломлен. Поэт признавался: «Здаецца, столькі шчырасці і ласкі, // Здаецца, толькі з мамай гаварыў, // А ўжо, як інвалідная каляска, // Качуся па нахіленай з гары…»

Мало кто знал, что это происшествие, а точнее, бандитское нападение, «сыпануло солью» на прежнюю его едва залеченную рану, словно сорвало с головы присохшие к волосам бинты, которыми бинтовали его голову

медсестры и врачи в далеком детстве, когда еще жил в деревне. Случилось это на районной велогонке. Анатоль выступал за свой колхоз. На трассе он бешено крутил педали, гнал велосипед вперед. Чувствовал, что может одним из первых прийти к финишу, а может, стать и победителем гонки. Еще один поворот, еще немного поднажать, а там… Однако в последний момент случилось непредвиденное. На крутом вираже Анатоль не сумел справиться с велосипедом: переднее колесо скользнуло по камню, и он со всего разгона упал на булыжную мостовую. На мгновение, казалось, потерял сознание. Но тут же пришел в себя, вскочил на ноги, закинул на плечо разбитый велосипед, и — сколько там еще осталось? — побежал к финишу. Прибежал и упал на руки судейской бригады. Его сразу отвезли в больницу. Выписался вроде бы совсем поправившимся, но все же пришлось на год отложить поступление в Белгосуниверситет.

Могу согласиться с тем, что бросилось в глаза его другу Василю Макаревичу после того нападения. Я тоже заметил: что-то изменилось в нем. Как-то поубавилось в его характере прежней веселости и игривости, более задумчивым и печальным стал взгляд пронзительных глаз, он стал похожим на птицу, подбитую стрелой охотника. Но все же оставался, как и раньше, внешне энергичным, подвижным, нетерпеливо-задиристым, и в то же время рассудительно-серьезным, с припрятанной глубоко усмешливостью. Таким казался он на первый взгляд, а что творилось в глубине его души? Ответить на это могли только его стихи.

Голасам тужлівага адчаю
Пра свае нялёгкія правы
Сёння з самай раніцы крычалі
У сівым тумане журавы.

Крылы, як старонкі, шалясцелі.
О, каб прачытаць мы іх маглі,
То, напэўна б, расказалі цені,
Як іх цягне да сваёй зямлі.

Когда Анатоль вышел из больницы, возвращаться на Грушевку, ходить по тем улицам, где в любой момент снова могла подстеречь беда, у него не было желания. Снова начал расспрашивать друзей и знакомых: если услышат, пусть вспомнят о его просьбе. Помню, нашлась ему кровать в какой-то коммуналке, в бараке, недалеко от Дома печати, да ненадолго, вынужден был уйти. Бывало, даже в редакции ночевал.

Неизвестно, чем бы закончились поиски более-менее приличного жилья и его «хождения» по временным углам, если бы не пришла на помощь редакция. А точнее сказать — Кастусь Киреенко. Как я уже говорил, Кастусь Киреенко доброжелательно относился к своему талантливому сотруднику, был терпелив к его не столь уж редким провинностям, что часто омрачало их дружеские отношения. Правда, ненадолго. Шеф как быстро загорался, так же и остывал. Благодарный Анатоль даже посвятил ему стихотворение «На ўсходзе неба ўспыхнула экранам…» — о трудолюбивом садовнике, который знает, как надо быть бережливым и внимательным, «Каб з голых яблынь росчыркам рукі // Сукі непладаносныя — абрэзаць, // Пакінуць пладаносныя сукі». Кого не подкупят и не тронут такие строки?!

И на этот раз главный редактор очень сочувственно отнесся к Анатолю, сделал все возможное, чтобы решить проблему жилья на уровне Союза писателей Беларуси. Переговорив с руководством Союза, он обратился в Литфонд,

чтобы ему выделили квартиру, где бы молодой талантливый писатель мог спокойно жить и работать. К тому же, этому способствовали и благоприятные обстоятельства: Анатоль Сербантович находился в одном шаге от вступления в Союз писателей. И вскоре его приняли. Без особого сомнения и придирок со стороны членов Президиума. Сразу после выхода первого поэтического сборника «Азбука». Тогда еще не было тайного голосования, прием в Союз писателей проводился открыто, поэтому тот, кто «стучался в писатели», мог тут же увидеть, кто на его стороне, а кто «точил зуб» на него, проголосовав против. Последних было не так и много. Кому хотелось наживать врагов или, что также было немаловажным, лишиться приглашения на послеприемное угощение в ресторане? Но вернемся немного назад, к жилищной проблеме, которая в те дни, если оказаться на его месте, несомненно, волновала Анатоля гораздо больше и была не меньшей радостью, чем прием в Союз, который был в его биографии еще впереди…

«Сеў у лужу паняволі...»

После скитаний по чужим углам Анатолю, можно сказать, повезло: квартира нашлась недалеко от редакции. Он получил комнатку в старом кирпичном доме, который стоял за трамвайной линией, кажется, по улице Лодочной. Теперь того дома уже нет, попал под снос. А тогда… Что за апартаменты перепали Анатолю, я увидел совсем неожиданно. Встретились мы недалеко от общежития.

— Хочу купить диван. Не поможешь в поиске?

— А деньги есть? — как-то само собой вырвалось у меня.

— Да есть пока. Еще гонорар за «Азбуку» не успел спустить.

На ближайшей Юбилейной площади, как мы знали, был мебельный магазин, но после долгого топтания, ничего, что бы нам подошло по цене, по цвету, в глаза не бросилось. Зато там же, на небольшом рынке, у бабульки разжились пучком зеленого сочного лука. Начало лета, и зелень еще не успела приесться. «Закуска есть, — то ли в шутку, то ли всерьез заметил Анатоль, сунув мне в руку завернутый в газету пучок лука. — Есть сало, привез из дома, так что лучше не придумаешь. Надо же диван замочить, надеюсь, мы его купим».

В мебельном на улице Карла Либкнехта тоже ничего у нас не вышло с покупкой: то дороговато, то смотреть не на что. Конечно, мы расстроились. «А давай поедем ко мне, — вдруг предложил Анатоль. — Видишь, зеленый лук уже сок пустил. Не пропадать же ему». Ну, и находившись столько, не хотелось возвращаться порожняком. «Давай еще заглянем в мебельный на Кирова», — предложил я Анатолю.

То дощатое строение на пересечении улиц Ленина и Кирова давно уже исчезло, уступив место красивым, современным домам. Но в тот день в этом магазине нам удалось купить диван для Толиного закутка. Чтобы перевезти его на автофургоне, надо было подождать, пока тот освободится. «Можете тут подождать своей очереди, а можете отправляться домой. Неизвестно, сколько придется ждать», — предупредила нас миловидная продавщица.

Была еще одна услуга — привезти диван на тачке, так сказать, своим ходом. К тому же грузчик охотно взялся нам помочь, когда узнал адрес доставки. «Тут же близехонько, довезу вам, хлопцы, как на вороных…»

Окрыленные неожиданной удачей, мы с молодецким озорством впряглись и с грохотом покатили тачку под звон трамвая, где по асфальту, где по булыжной мостовой, и через каких-то полкилометра «пришвартовались» к нашему дому. Что касается хозяина тачки, так он не мешал и особо не упирался, доверив нам свое средство перевозки. Топая за нами, он вслух подогревал наше упорство, иногда предупреждая: «Осторожно, осторожно, а то диван на бок съедет». Без его, оплаченной Толей, «подмоги», под взглядом любопытных соседей втащили диван в комнату, где, кроме стола и низкой кровати, я тогда ничего не заметил…

Как и обещал, к нашему уже довольно подвялому луку Анатоль достал брусок сала. Правда, сначала вытянул из-под кровати обыкновенный чемоданчик. Пока он не открыл его, я даже не догадывался, что в нем могло быть. А чемодан до краев был упакован салом, душистым, обсыпанным какими-то деревенскими приправами. Анатоль сбегал в магазин, принес бутылку «Перцовки».

Я тогда был в отпуске по случаю работы над дипломом в университете, никуда особенно не спешил, а потому мое пребывание у Анатоля одним днем не обошлось. Я стал первым, кому пришлось обживать тот диван, задержавшись у гостеприимного хозяина, подкрепляясь салом и зеленым луком, который с Анатолем тайком в темноте добывали на грядках, что были аккуратно высажены и досмотрены тут же во дворе и опекались жильцами дома. Не знаю, правда ли, но Толя сказал, будто у него было разрешение от не очень сварливых соседок на такие экскурсии в их огород. Сам Анатоль в тот раз на «Перцовку» не налегал, воздерживался от лишнего. Где-то ближе к вечеру третьего или четвертого дня он сказал мне:

— Слушай, я договорился встретиться с Анфисой. Хочешь, поедем вместе со мной. Познакомлю. Здесь близко, около стадиона.

— А кто такая Анфиса? — вставая с дивана, поинтересовался я.

— Работает медсестрой в третьей клинической больнице. А потом в гастроном забежим, — весело торопил меня Анатоль.

— Нет, я уже домой поеду, — не согласился я с ним по поводу гастронома.

Тем не менее, домой мне пришлось не ехать, а идти пешком. Анатоль все же уговорил меня пойти с ним на свидание к незнакомой Анфисе. Дождавшись окончания грозы, мы пошли по направлению к стадиону, обходя лужи, что встречались нам по дороге. Уже около стадиона я, не желая обходить очередную лужу, решил перескочить ее. То ли слишком понадеялся на свою ловкость, то ли лужа оказалась не такой узкой, как мне показалось, но тут меня подстерег настоящий конфуз. Молодцевато скокнув, я вдруг почувствовал, что моя нога, опустившись на размокший песчано-глинистый край лужи, предательски поехала, словно лыжа по снегу, и я шлепнулся в грязную воду. Заходясь от смеха, Анатоль помог выбраться. Вид у меня был такой, что у кого-то мог вызвать сочувствие, но и на шутки Анатоля нечего было обижаться: сам виноват. Кто меня подбил перескакивать эту лужу.

Потом они смеялись вдвоем — Анатоль и Анфиса. Низкого роста, усмешливая, немного полноватая, она мне в тот момент показалась не очень симпатичной и привлекательной. Подумал: и чем же эта Анфиса приглянулась Анатолю? А может, она мне показалась такой из-за моего не очень веселого настроения, остуженного непредвиденным купанием в луже? А каким я сам показался ей в ту минуту?

Попрощавшись, Анатоль и Анфиса, весело переговариваясь, скрылись из виду. Переждав в кустах около стадиона, пока стечет вода и мои штаны с рубашкой немного обсохнут, я двинулся пешком через вокзал на свою Грамадскую. Гардероб мой тогда был небогатым, поэтому дома, с позволения хозяйки, пришлось воспользоваться тазиком и стиральным порошком, чтобы вначале выстирать штаны и рубашку, а потом «навести стрелки», сделать то, до чего не так скоро дошли бы руки. Утешало одно: даже в негативном можно найти хотя бы каплю положительного.

Анатоль же, когда я вышел на работу, как-то позвонил мне и то ли в шутку, то ли издеваясь поинтересовался:

— Отдышался от купания? Послушай, как тебе такая припевка:

На спатканне мчаўся Коля
З медсястрой Анфісаю.
Сеў у лужу паняволі,
Добра, што не пысаю.

И расхохотался.

— Так это же не я на свидание с Анфисой бежал, а ты. Я ее до этого ни разу в глаза не видел, — выслушав Анатоля, голосом обиженного, но понимая, что на шутку обижаться не стоит, возразил я. — К тому же здесь очень легко заменить Колю на Толю. Какая разница?

— Как какая разница? Не я же в лужу плюхнулся, аж брызги над стадионом полетели, а ты. Значит, это ты торопился на свидание с Анфисой, — снова рассмеялся в трубку.

— Хотя и грубовато у тебя, Толя, получилось, выдумал невесть что, но ничего, шутку я принимаю. Только повтори, чтобы я запомнил. А лучше давай запишу…

Больше таких приключений, таких «экстремальных» ситуаций с Анатолем у меня не было. А как подумаешь, так очень жаль…

«Жыве ў табе твая жанчына»

Возможно, кто-то, прочитав мои воспоминания о том смешном случае, который произошел во время нашего похода на свидание с Анфисой, подумает: «Ох, и отпетым же ловеласом и донжуаном был Анатоль!» Уверен, что именно так подумают зрители после просмотра телесериала, снятого по повести Аксенова «Таинственная страсть», где его молодые герои во времена «оттепели» только и делали, что бражничали, ввязывались во всевозможные разборки, а все отношения с женщинами и подружками у них нередко сводились только к «постельной лирике».

Что-то подобное о наших литературных наставниках, да и о моих друзьях, с кем выпадало быть чаще всего, я говорить не берусь. Может, не все обо всех знал, их семейная жизнь была тайной? Нет, что-то все же знал. Тем не менее, не сомневаюсь в одном: с моральной стороны, если можно так сказать, у нас все было пристойно и чисто. И отношение Анатоля к любовно-романтическим увлечениям — тоже. Тем более, судя по его лирике, довольно открытой, исповедальной, они случались, не обошли стороной его юношеские чувства, которые щедро обогащались вдохновением и влюбленностью в поэзию. Кого обойдет оно, это ощущение, в такую весеннюю пору жизни, когда чувства бьют ключом, отбирая порой покой и сон, и которые не обходятся без мук и

разочарований?! Разве что замшелый валун, а не живую, такую поэтичную, чувствительную к тайным струнам души и сердца натуру, чем выделялся Анатоль.

Вот такая «хроника» его любовных «приключений», и возможно, страданий, такое «интимное жизнеописание», засвидетельствованное в поэтических строках им самим. И с радостью влюбленного, и с приметой горечи…

Впечатлительная душа поэта не была безразличной к женской красоте и таинственности, ей не чуждо было чувство влюбленности и восхищения тем, что не лишено целомудрия, Божией ласки и нежности, того природного волшебства, что завораживает нас, особенно в пору молодости. Тем не менее, если искренне, то не могу «подловить» Анатоля ни с одной из тех, кому он признавался в своих «ухаживаниях». Я даже остаюсь при мысли, что за этим всем прячется… обычная авторская фантазия, чисто поэтический ход, прием, присущий любовной лирике. И может, действительно все было так, как в этих строках: «А я цябе прыдумаў сам, // Ні з кім, ні з кім не раіўся»?

Я знал только одну его музу, как часто любят говорить, кому он посвятил довольно большое по своим размерам стихотворение «Мая каханая — зіма», пронизанное нежными чувствами, музыкой в каждой строке, ощущением необычной любви, наполненной внутренним светом: «Мая каханая — зіма», // Любіць другую не сумею. // Я па табе іду, зямля, // Абняўшы русую завею. // Яна харошая ў мяне. // Яна — і сонца, і марозы. // Прамень каханую кране — // Мая каханая у слёзы». Эту стыдливую с виду, не жадную на чернявость глаз и едва притаенную и таинственную улыбку «Г. Ц.» я часто встречал. И тогда, когда она была еще студенткой, и когда работала в отделе писем в редакции «Бярозка» и «Піянер Беларусі». За Анатолем я не замечал (может, потому, что не очень приглядывался, не интересовался их взаимоотношениями) особенного ухаживания за ней, а Галя не прятала своей симпатии к нему, даже некой близости, стараясь лишний раз во время рабочего дня показаться ему на глаза, заглянуть в его кабинет. Может, ошибаюсь, но, как мне кажется, несмотря на «ячменнасць» характера и неуравновешенность, не такую уже броскую и притягательную внешность, Анатоль вниманием девушек и женщин не был обделен. Ни в студенческие годы, ни где-то «на стороне».

Уверен, были у него знакомства, встречи, свидания с женщинами, быть может, нередкие и случайные, но судя по всему, они оставались только встречами и свиданиями (как с теми же Анфисой и Галей), — далеко не заходили. Почему? Думаю, в каждом случае он сам, как никто другой, прекрасно понимал: его избраннице с ним будет ой как нелегко и несладко уживаться, постигать прозу семейной жизни, учиться терпению, подстраиваться под его характер и поэтическую одержимость, сохранять в доме лад и согласие, а там наверняка и отцовские заботы о себе напомнят. Так зачем лишний раз обнадеживать, может, даже обречь на несчастье. Лучше всего разойтись…

Как удалось не разминуться с будущей женой Валей, как отважился на женитьбу с ней, я не знаю. Да и не допытывался ни у него, ни у нее… потом уже Валя рассказывала мне, раз за разом поднося платок к припухшим от слез глазам: «Приняла на ночь снотворное, чтобы хоть немного поспать, не слышать Толиных страданий от боли в голове, а под утро проснулась, протянула руку к нему, притихшему, думала, что наконец-то отпустило, уснул, а он уже холодный рядом лежит. Теперь ругаю себя: ну зачем я приняла те таблетки? Может, он хотел что сказать мне, да не успел?»

Как бы там ни складывалось в его личной жизни, Анатоль Сербантович с теплотой и уважением относился к женскому образу. И в этом нет ничего уди-

вительного — в его представлении и понимании образ женщины (любимой и нелюбимой) всегда отождествлялся с образом матери. Не могу не согласиться с утверждением, высказанным Сергеем Ковалевым в предисловии к сборнику «Жаваранак у зеніце», где критик, по-моему, точно заметил: «Настоящее чувство в его поэзию принес образ матери. И именно любовь и благодарность к матери стали первыми настоящими кирпичами в здании его поэзии… Образ матери воспитал в нем поэта, как сама мать воспитала в нем человека. А потом образ сестры, например, хирургической сестры из прекрасного и доброго стихотворения «Хірургічная сястра». Интересно: глубокое уважение к человеку пришло в его поэзию только вместе с уважением к женщине, и в первую очередь к женщине-матери и женщине-сестре.

На мой взгляд, только он, Анатоль Сербантович, смог стать автором стихотворения «Жыве ў табе твая жанчына», которое можно разобрать на отдельные строки и цитаты, смело назвать гимном женской доброте и мудрости, благородству, мужеству и милосердию, верности своему призванию на земле, что даны ей природой и самим Всевышним.

Жыве ў табе твая жанчына.
Яна — залог той дабраты,
З якой упэўненасць магчыма,
Калі ідзеш па свеце ты.

Яна твая любоў і права,
Калі званы ў руках гудуць.
І ты замахваешся правай,
А левай хочаш прыгарнуць.

Не расцякаўся каб і верыў,
Што порах твой сухі яшчэ,
Яна — выток і твой жа бераг,
Дзе ты ўпэўнена цячэш.

І — помні, прагнучы свабоды,
Калі хто-небудзь з ног саб’е,
Што з двух адзін удар заўсёды
Яна прымае на сябе.

Ну, а калі без дай прычыны
Цябе захочуць апляваць,
Пачне тваёй рукой жанчына
Крышыць усё і бунтаваць!

Казалось, поэт не удержался, посчитал необходимым высказаться не просто эмоционально-возвышенно, а в чем-то даже грубовато, но это, как образность и лирическая просветленность строки, свойственно поэтической манере Анатоля Сербантовича. А разве можно иначе, если твоя душа наполнена любовью и находится в плену у женской красоты, под очарованием любви, которой еще было очень рано покидать согретое и окрыленное ими сердце поэта: «Ты мне верыш.// І нешта мне болей, // Калі любіш так, як я люблю, // І калі ты знаеш, што ніколі // Я табе благога не зраблю».

«Я табе благога не зраблю»… Он стремился держаться этого правила не только в отношениях с девчатами и женщинами, близкими его сердцу и чувствам, но и к тем, с кем дружил, кого любил искренней душой поэта, кому верил, кто мог так же искренне сказать ему в ответ: «Я табе благога не зраблю». Случались трудности, не всегда удавалось «упэўнена цячы», но я ни разу не слышал, чтобы Анатоль жаловался на кого-то, на что-то плакался.

Наоборот, делал вид, что временные неудачи и неувязки не очень заботят его, что все устроится, встанет на свое место. И все же в такие минуты он, наверное, ждал от друзей и знакомых, от людей, кто хорошо знал его, не сочувствия и утешения, а той поддержки и тех слов, действительно теплых, душевных, которые придавали бы этой временно утерянной уверенности, настойчивости в поиске и свершении задуманного, потому что тропинка, по которой (по своей жизненной наивности или нарочито) старался ступать без особой оглядки, напролом, не всегда была ровной и прямой. Но — своя! И кто скажет, что женская нежность, ласковое и участливое слово в такую пору жизни для него, творчески увлеченного человека, было лишним, ненужным, когда все случалось не так, к чему стремилась душа: «Я ўсё шукаю нешта, а знаходжу // Не тое, што павінен я знайсці»?..

«Ты думаеш, што надта рады я…»

В редакцию журнала «Бярозка» Анатоля Сербантовича взяли на работу, когда он был еще студентом третьего курса. Остался здесь работать, пройдя журналистскую практику. Ему повезло, как раз освободилось место в литературном отделе, который до этого вел Рыгор Бородулин. Он ушел, и в редакции, не раздумывая, назначили на должность литсотрудником этого отдела вчерашнего практиканта Анатоля Сербантовича. Молодой, талантливый, серьезно относится к рукописям авторов, что приходят в редакцию и отбираются к печати, чувствует слово — разве не справится, приняв отдел? Безусловно, немало способствовала такому повороту в творческой судьбе Анатоля несомненная симпатия главного редактора журнала Кастуся Киренко. Ему нравилось то, что выходило из-под пера молодого поэта, его задиристость, смелость мысли, свежесть поиска, и к тому же они были земляками, оба родом с Могилевщины. Наверное, поэтому ему часто прощались те грехи, за которые другим могли и выговор «закатать» или даже уволить без всяких разговоров. Для него же чаще всего заканчивалось все разговорами, да увещеванием, а с его стороны обещанием «штрафника» исправиться, соблюдать трудовую дисциплину. Смириться с этой дисциплиной, высиживать целый день за рабочим столом, выслушивать поучения и отбиваться от особо настырных «творцов», которым не боялся сказать в глаза, что тот графоман, чем дальше, тем больше становилось для него невыносимым. Его душа рвалась на волю, ему хотелось быть среди людей, глубже узнавать, как они живут. Только там, казалось ему, можно найти необходимые для творчества новые, а главное, правдивые темы и образы, которые может подсказать только сама жизнь. Он не хотел заниматься гладкописанием, «тянуть за уши» в свои стихи только то, что приветствовалось тогдашним порядком и нередко — критикой. И часто не обходилось без приключений, без головной боли для редакции. И все потому, что Анатоль мог, никого не предупредив, вдруг исчезнуть. Поднимался переполох, начинались звонки друзьям и знакомым: он уже который день не показывается в редакции! Куда исчез, а вдруг с ним что-то случилось? Разгневанный Кастусь Тихонович снова грозится уволить, как только появится. Однажды уехал, как выяснилось позже, в одну из районных газет на Могилевщине, где на какое-то время устроился простым литсотрудником.

Помню, немало насмешек ходило среди писателей, когда стало известно, что Толя Сербантович выкинул очередного «коника» — пошел работать вах-

тером… на ликеро-водочный завод «Крышталь». Шутили: «Пустили козла в огород». Может, и в капусту, но вот что я прочитал в эссе Василя Макаревича. Думаю, и вам это будет интересно.

«Когда Анатоль зашел ко мне и спросил, как я отнесусь к тому, что он пойдет работать на один из минских заводов, я посмотрел ему в глаза: не шутит ли? Может, это дружеский розыгрыш? За ним такое водилось. Нет, на этот раз он говорил серьезно. А что будет с работой в редакции? Возьмет на какое-то время отпуск за свой счет… Где-то через месяц я заехал к нему на работу. Он сидел на проходной Минского ликеро-водочного завода, следил за теми, кто заходит и выходит. Поговорили, пошутили. Спросил у него: употребляет или нет? Он ответил: «Ни капли! Если есть желание, то — пожалуйста». Он открыл шкафчик, а в нем с полдесятка бутылок с этикеткой «Правительственная», что отобрал у «несунов». Из разговора я понял: долго он здесь не продержится. Не его это место! Даже мне захотелось поскорее покинуть это злосчастное место. В памяти остались строки: «Ты думаеш, што надта рады я, // А ты пра гэта ці спытаў? // Я гэтай горкае «Урадавай» // Не спытаў і не паспытаў…»

Анатоль вернулся на свое прежнее место в редакцию журнала. Не знаю, что там снова случилось, но в октябре 1966 года мне на радио, где я тогда работал в редакции вещания на зарубежные страны, как-то позвонила из «Бярозкі» Елена Михайловна Мимрик, на то время редактор-стилист, а позже ответственный секретарь журнала: «Если будет время, зайди завтра к нам. С тобой хочет поговорить Кастусь Тихонович». Я уже знал, что Анатолий уволился «по собственному желанию», и видимо, в редакции хотят «посватать» меня на его место.

Я не ошибся. Через неделю, хотя было немного неудобно перед Анатолем, что, дав согласие перейти в «Бярозку», я словно подсидел его, занял место за тем столом, где вначале сидел Рыгор Бородулин, а в последние годы — он. Начал просматривать пухлые папки с произведениями писателей и начинающих, которые перешли мне в наследство…

Эта «отставка» и статус «вольного художника», по-моему, не очень огорчили Анатоля. Они действительно в какой-то степени, как говорят, развязали ему руки, дали возможность почувствовать себя более свободным и независимым от прежних обязанностей корпеть над чужими рукописями.

Теперь он мог работать над стихами всласть, не думая о том, что где-то его ждут редакционные заботы, поиск рассказов и стихов на пионерскую тему, сдача в номер необходимого количества произведений, командировки — чаще всего с целью подписки на журнал. Теперь у него появилась возможность по желанию выбирать творческие командировки, и не близкие, в Новополоцк или Солигорск, Новолукомль или к мелиораторам Полесья, где искали героев для своих романов, повестей, поэм и стихов многие белорусские прозаики, а, считай, на край света — в Сибирь, на Дальний Восток.

Правда, такие командировки выдавались с разрешения военкоматов, и их обладатели становились «военнообязанными», призывниками-стажерами. Анатоль захотел, казалось, невозможного — командировку ближе к белым медведям — на Север. Но об этом немного позже, потому что следует, как мне кажется, вспомнить «первопроходцев», с чего и кого начинались эти творческие вояжи, хождения за тридевять земель молодых белорусских искателей сюжетов и приключений.

«Сядзелі мы ўтрох…»

Все началось неожиданно, даже случайно, с фантазии дружеской тройки: Рыгора Бородулина, Владимира Короткевича и Геннадия Клевко (я уже писал об этом). Завязку этого сюжета я мог бы передать своими словами, так как довелось ее услышать от легкого на язык, острого на словцо Рыгора Бородулина. Но думаю, лучше, чем он сам рассказал в своей книге воспоминаний «Аратай, які пасвіць аблокі», я рассказать не сумею. Может, в этом и не стоит «расписываться» и смаковать, но кажется мне, что сегодняшним читателям интересно все же знать, как могут завязываться добрые дела и появляться интересные литературные сюжеты. Тем более, Рыгор Иванович не прячется за давностью времени, а признается как на духу: «Сидели мы втроем у меня в квартире, что на улице Белинского. Когда бутылки на столе можно было подставлять ветру, чтобы свистели, грустно начали рассуждать о том, что хочется поездить, мир повидать. Мне стукнуло в голову позвонить генералу Алексееву, который возглавлял военно-шефскую комиссию в Союзе писателей Беларуси. Генерал любил литературу, сам писал прозу. Очень старался выбить как можно больше значков за культурно-шефскую работу над армией. Было у этих значков, кажется, три ступени…

А позвонил я генералу Алексееву, чтобы послал он нас на стажировку в любую военную газету. Нас — это Владимира Короткевича, Клевко и меня. В хорошем настроении мы попросили, чтобы послали нас как можно дальше. Генерал сказал, что дальше Владивостока нас послать не может. Телефонная просьба была глубокой осенью. Точнее, почти в зазимок 1964 года. Шли дни. О разговоре с генералом мы забыли. Пришла весна. Владимир собрался ехать к любимому дядьке в Рогачев, где в основном и писались «Каласы пад сярпом тваім». Я собрался к маме в Ушачи. И тут приходит повестка всем троим в военкомат. Подкрепив доброй чаркой, послали в военкомат Клевко. Пусть разведает, что к чему. Там ему сообщили, что он командируется на Дальний Восток, в город Владивосток для стажировки в окружной газете. Тут же предупредили, чтобы срочно передал Короткевичу и Бородулину…

И оказались мы в августе во Владивостоке. Мы с Клевко по-журналистски старались что-нибудь словить в записные книжки — изучали жизнь, а Короткевич во время наших поездок по Приморью не выпускал изо рта сигарету, обязательно читал какую-нибудь книгу и как бы дремал. А потом мы ахнули, что он увидел и как, главное, увидел. В какой-то день с вещмешком за спиной вообще исчез. Вернувшись, рассказывал о Кедровой пади, заповеднике. Нам привез в подарок кедровых шишек…»

Будучи стажерами в газете «Боевая вахта», друзья не только «красовались» в форме морских офицеров, но и смогли открыть для себя много нового, необычного — чего никогда бы не увидели дома. След от той творческой командировки не затерялся во времени и в творчестве друзей. Кто не читал и не восторгался «Чазеніяй» Владимира Короткевича, чудесной, богатой на неожиданные образы и находки; лирикой Рыгора Бородулина, «выловленной» и привезенной с берегов Тихого океана. Помню, у нас не сходили с губ строки из стихов о владивостокских девушках (не такого и приличного, по понятиям того времени, поведения), которые встречают на причалах матросов с рыболовецких судов из далекого плаванья и с богатым «денежным» уловом»: «Не з карабля, дык топай міма, паравозам галасі. // Глядзяць зялёнымі вачыма, // Як не занятыя таксі». В то время это было сказано не только необычно, образно, но и удивительно смело, что заставляло задуматься, как такое могли напечатать? Наверное, поэтому так остро и зацепилось в памяти.

Убедившись в пользе, хотя и временного, воинского призыва, к тому же увидев результат этих командировок, вслед за ними «флотскую вахту» отслужили Владимир Павлов, Федор Черня… И как результат — циклы новых стихов, по-настоящему интересных произведений, которые достойно пополнили их творческую копилку, нашу поэзию.

«А ёсць, а ёсць туга па поўначы…»

Что касается Анатоля Сербантовича, так он тоже надеялся на хороший творческий «улов». И он был. Анатоль умел удачно и уже со сложившимся профессиональным опытом забрасывать «поэтический трал», начиная с легендарного Урала: «На беразе Урала распранаюся. // Хвіліна — і я з кручы палячу. // Ды я стаю. // Я ў хвалі углядаюся, // Нібы праз хвалі я глядзець хачу…» — везде, где бы ни ходил, ни ездил, где бы «ни причаливали» его муза и вдохновение. А побывал он с осени 1966 года во многих уголках Советского Союза: в Казахстане, Средней Азии, в Заполярье, на Дальнем Востоке.

Что случалось с ним в далеких от Беларуси краях, как проходила служба во время военных стажировок, я от него не слышал. Но по одному случаю могу предполагать, что и в таких условиях, регламентированных строгой армейской дисциплиной, субординацией и Уставом армейской жизни, Анатоль оставался «оригиналом», человеком, способным на любой необычный поступок, который не мог прийти в голову ни одному, даже самому отважному новобранцу, тем более в Морфлоте, где испокон веков существует железная дисциплина, строгая субординация от матроса до адмирала. Кому охота за нарушение «сидеть на губе» или сутками драить палубу корабля? Это что касается обыкновенного «салаги», а что, если в его роли выпало оказаться Анатолю Сербантовичу?..

Не остался забытым такой курьезный случай. Всегда улыбаюсь, когда он всплывает в памяти. Воспоминания о нем из далекого Североморска привез Василь Хомченко. Сам Василь Хомченко, военный юрист в звании майора, был переведен туда в последние годы своей военной карьеры. Наверное, с расчетом на лушую пенсию при выходе в запас. Через некоторое время, приехав на побывку в Минск, он зашел в «Бярозку» в форме морского офицера и уже с двумя звездочками на погонах — капитаном второго ранга. Зашел не просто так, а принес новый рассказ «Белы Патап». Просил напечатать к его юбилею — исполнялось пятьдесят лет. Василь Федорович рассказал, как ему живется и служится на новом месте вдали от родной Беларуси, и вдруг, наверное, чтобы развеселить нас, вспомнил тот случай, о котором ему рассказали коллеги в Североморске. И случай этот касался — кого бы вы думали? — конечно же, Анатоля Сербантовича, когда тот был там в очередной командировке и стажировался на корабле.

Кто служил, тот знает, что происходит в воинской части или на военном корабле, когда ожидается приезд высокого начальства. Все вышестоящие чины не знают покоя ни днем, ни ночью, везде наводится образцовый порядок, чистота, проверяется готовность личного состава по всем законам воинской службы. А на флоте, наверное, с еще большим рвением: в морской службе немало своих, только ей свойственных особенностей и обязанностей. Как рассказал Василь Хомченко, в тот день на корабль, на котором в робе рядового матроса стажировался Анатоль Сербантович, наведался не просто адмирал, а сам командующий эскадры. Само собой понятно, приветство-

вать начальство на палубе выстроилась вся команда. Начался обход, считай, парадная церемония. Идет адмирал вдоль шеренги матросов, всматривается в их вытянутые в струнку фигуры и сосредоточенные лица, время от времени бросает слово-другое офицерам, которые его сопровождают, и вдруг из замершей шеренги навстречу ему выходит какой-то мальчуган, одетый в матросскую форму, которая держится на нем как-то причудливо и даже с каким-то вызовом. Командира корабля от ужаса передернуло: неужели с какой-то жалобой или просьбой? А мальчуган в матросской форме, словно ничего не случилось, протянул адмиралу руку и отрекомендовался: «Стажер Сербантович! — Потом добавил: — Поэт».

Командующий эскадры шел, приложив руку к своей фуражке, от неожиданности остановился и, постояв в растерянности какое-то мгновение, протянул нахалу(по-другому и не скажешь) руку. Поздоровавшись, стажер молча вернулся в строй. А адмирал, вскинув руку к фуражке, двинулся дальше. Над палубой, над строем матросов и офицеров повисла напряженная тишина. Чем все закончится?

— Откуда на вашем корабле это огородное пугало взялось? — не скрывая раздражения, спросил адмирал после парадной церемонии.

— Из Беларуси, товарищ адмирал, стажируется у нас, — оправдывался командир корабля. — Командировка у него такая. Творческая. Изучает флотскую жизнь, как он сказал. Так и в его предписании значится.

— Немедленно списать на берег, — приказал, как отрезал, адмирал. — Нечего таким недотепам делать на военном корабле. Пусть с рыбаками в море ходит, там романтику ищет. Больше пользы будет…

Не знаю, рассказывал ли кому Анатоль об этом озорстве (а иначе такое и не назовешь) и надолго ли задержался он в той «морской командировке», но вернулся он с Севера с циклом новых стихов: «Мора», «Мыс жадання», «Марскія кулікі», «Акіянна», «Белая кніга», «Халоднае і цёплае цячэнне», «Падлодка не ўсплыла…». Как видим, улов солидный, и я бы сказал, очень серьезный!

Конечно, никто — ни суровый адмирал, ни корабельная команда, кто был свидетелем той безрассудной выходки молодого поэта в матросской робе, его стихов не читал, но наверняка надолго запомнил тот неуставной курьез. Ну а если кто и вспомнил, то не иначе как с теплой улыбкой. Да и сам Анатоль, если судить по его стихам, по искренности и глубине их, до конца дней своих оставался влюбленным в далекий северный край, который навсегда оставил след в его сердце неповторимой красотой, всем тем, что завораживает, притягивает: «А ёсць, а ёсць туга па поўначы, // Адкуль вярнуўся без рубля, // Дзе аддаваў сябе не помнячы,// Баркасам, чайкам, караблям…»

Нисколько не сомневаюсь, если бы начальство прочитало хотя бы одно-два стихотворения из его лирического «арсенала», оно бы, уверен, простило Анатолю его корабельный «грех» — нарушение уставной субординации, и никто не подумал бы отдать приказ о списании поэта, неуправляемого стажера, на берег.

Почему Анатоль пошел на такой своевольный поступок, не знаю, объяснить непросто. Он понятен был только ему, а для нас — загадка. Тем более, не такая и трагичная, а с привкусом юмора, что способствует хорошему настроению. Но можно все объяснить, зная его ершистость, неприятие парадной суеты, официоза, которые часто принижают человека, выглядят парадно-издевательскими, особенно в отношении более слабых и ниже по чину и званию. Он не любил кланяться, снимать шапку перед чиновниками высокого ранга — кто бы это ни был.

«Пяцьдзесят працэнтаў рызыкі»

Если верить преданиям греков, античный герой Одиссей очень любил далекие путешествия, был непоседливого нрава. Словно в подтверждение этому, Анатоль написал: «З нас таксама, напэўна, хлопцы, // Кожны крышачку Адысей». Сложно предположить, кого конкретно он имел в виду, но самого его неудержимо тянуло в путешествия. И путешествовал! Казалось, он постоянно был в дороге, далекой или близкой. Выбирался тихо, без отчаянного крика и рыданий, которые устраивала мифическому Одиссею его суженая Пенелопа.

Но приходит время для раздумий, желание отдохнуть от странствий, чтобы сосредоточиться, глубже осознать, дать жизнь увиденному, приобретенному среди людей и природы. Подобное случилось и с Анатолем: снова захотелось попробовать «редакторского хлеба», «повариться в котле» журналистских забот, примириться с дисциплиной и порядком, которые ожидали его там. Как раз в это время освободилось место сотрудника литературного отдела в редакции «Піянер Беларусі» (позже «Раніца»). Анатоля приняли в коллективе по-дружески, доброжелательно, тепло: его литературный талант был известен всем. Редакция находилась под одной крышей с «Бярозкай». Их разделял только коридор, поэтому мы встречались с Анатолем почти каждый день. То я заходил к нему, то он к нам. Иногда по каким-то редакционным делам, а порой просто так, чтобы поговорить, поделиться всякими новостями.

Еще в пору работы в «Бярозцы» у Анатоля были пробы в детской поэзии. Я уверен, что он мог стать автором интереснейших книг для детей и про детей. Образные и метафорические, во многом злободневные и занимательные, пронизанные теплой усмешкой и тонким юмором, его стихи легко запоминались, западали в память с первого прочтения. Это и «Звяно хуткай дапамогі», и та же «Спрэчка», которую я прочел в зимнем номере «Бярозкі», даже не подозревая, что смогу повторить некоторые строки и через пятьдесят лет:

Заспрачалася завея
З ветрам ганарыстым:
— Ты праехаць не здалееш
Па катку іскрыстым.
Адказаў ёй вецер дужы:
— Ды нашто сварыцца,
Пракаціся хоць па лужы,
Каб не паваліцца…

Анатоль, истосковавшийся по редакционной работе, по детской литературе с ее живым и понятным словом, все чаще стал предлагать на страницы «Піянера Беларусі» не только свои стихи, но и прозу. Неравнодушный к творчеству читателей, взялся постоянно делать обзоры литературной почты, тактично преподавая уроки поэтического мастерства начинающим поэтам. Напечатал также разделы из своего лучшего детского произведения — интересно задуманной поэмы «Телефон».

А в скором времени в журнале Анатоль встретил недавнего однокурсника Владимира Старченко. Оба еще со студенческой поры были увлечены книгами «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, получившими завидную «раскрутку». Книги приводили в восхищение многочисленных читателей. Казалось, с трудом можно было найти молодого человека, который

бы не цитировал отрывки из этих книг, вмиг ставшие крылатыми выражениями. Раззадоренные таким опытом, да не абы каким, а успешным, Володя и Анатоль тоже решили создать «творческую артель», свой тандем. Идея созрела, как им казалось, интересная, неизбитая, стоила того, чтобы, надолго не откладывая, взяться за ее осуществление. Задерживаясь допоздна в редакции, вместе обдумывали и составляли план будущего произведения. Разработали сюжетные линии, «дали задания» ее действующим персонажам, а заодно — самим себе. Взялись писать первые страницы дебютной для обоих детективно-приключенческой повести «Пяцьдзесят працэнтаў рызыкі». Работа давалась не так легко, как задумывалось. Поняли, что «шпионские» произведения писать гораздо сложнее, чем потом их читать, но уж если взялись… Хотя и потихоньку, но работа двигалась.

Преждевременная и неожиданная смерть Анатоля только на какое-то время обезоружила Владимира Старченко, продержала в растерянности: работать или бросить все, не тратить зря время? Посомневавшись, он все же окончил работу над повестью «Пяцьдзесят працэнтаў рызыкі», которая рассказывала о враждебных действиях иностранных агентов на нашей территории. Почему я рассказываю о ней? Да потому, что автор однажды принес эту повесть ко мне в «Бярозку», конечно же, с надеждой напечатать ее в нашем журнале. Авторство Владимир оставил только за собой, ибо, как он сказал мне, не пятьдесят процентов труда, а все девяносто ему пришлось писать самому. Анатоль Сербантович уже ничем не мог помочь. Однако, чтобы все было по справедливости, он сделал к нему посвящение. Читалась повесть легко, нескучно, заинтриговала своей сюжетной линией. Я даже поставил ее в перспективный план. Однако всегда вдумчивый Кастусь Киреенко, хотя и уважительно относился к автору, все же засомневался: «Я не уверен, что над этой повестью, если прочитают ее те, о ком в ней рассказывается, не посмеются и не дадут нам по шапке. Может, автор в ней такого навыдумывал, такого «накрутил», что ни в какие ворота не лезет. Надо послать повесть в Комитет государственной безопасности. Наверняка там есть люди, которые могут дать компетентный отклик. Будет положительный ответ, тогда и решим, что с ней делать».

Ответ не заставил себя ждать, и был он совсем не таким, каким бы хотел его видеть автор, да и мы тоже. Оказалось, что автор не знаком со спецификой этих органов, поэтому в повести много надуманного и даже наивного, что вызывает сомнение в правдивости описанных событий и поступках некоторых литературных героев. Принимая во внимание все эти замечания, было предложено воздержаться от публикации повести.

«Однажды в студеную зимнюю пору…»

В командировку в Могилев нам выпало ехать по заданию редакции в не столь уж «зимнюю пору», дело было в марте. Повод? В те годы во время весенних каникул в областном центре проводили семинары юных литераторов Могилевщины. Мне довелось побывать на подобных семинарах. Верховодили на них обычно местные писатели, хорошо знакомые всем Алексей Пысин, Василь Матеушев, Петр Шестериков, Михаил Шумов. Конечно же, с обязательным присутствием «шефов» — представителей обкома комсомола и отдела образования. Приглашали на эти литературные праздники столичных гостей из детских журналов и газет, которые из президиума

наблюдали за всем происходящим, и это помогало им находить среди молодых талантов нечто стоящее для публикации в своих изданиях, что, конечно, было престижным и для начинающих литераторов, и конечно, для организаторов такого мероприятия.

В тот раз мы ехали на очередной такой семинар. Я — от «Бярозки», Анатоль — от «Піянера Беларусі». Много чего и серьезного, и курьезного можно было услышать на этом литературном сборе. Помню, читала стихи одна девочка-десятиклассница. Когда дали ей слово, она, подглядывая в тетрадь, начала читать: «Однажды, в студеную зимнюю пору, я из дому вышла и в школу пошла…» Смотрю: Анатоль с Алексеем Пысиным переглядываются, потом опустили голову в стол, чтобы не рассмеяться вслух. Начали улыбаться и остальные участники семинара, сидевшие в зале. Чем дальше читала она свои стихи, в подражание известному стихотворению Николая Некрасова, тем громче раздавался смех… Но вот голос ее начал становиться все тише и тише. Все закончилось тем, что сконфуженная и осмеянная девочка расплакалась. Обливаясь слезами, она вернулась на свое место, собрала тетрадки и была уже готова выскочить из зала. Всем стало не до смеха: «Милая девочка, — сочувственно обратился к ней Алексей Пысин, — остановись и не плачь. Пусть плачет твоя учительница, которая послала тебя сюда, не найдя времени, чтобы прочесть то, что ты написала».

Толя тоже собрался что-то сказать, но в это время на сцену вышла и начала читать стихи Лариса Я. Он навострил уши и что-то сказал Пысину. А когда девочка закончила чтение, захлопал, подошел к ней, взял из ее рук тетрадь со стихами.

— Согласитесь, что это настоящая поэзия! Вот так всем надо стремиться писать стихи! — и махнул в зал раскрытой тетрадкой… — Я их забираю с собой, буду предлагать в какую-нибудь газету, а может, даже в журнал «Нёман».

Хотя Лариса была почти взрослой, училась в десятом классе, но в журнале «Нёман», где тогда в отделе поэзии хозяином был требовательный и неуступчивый Бронислав Спринчан, молодому автору (это не то, что сейчас) показываться было слишком рано. Я тоже засомневался: «Стихи, конечно, хорошие, но вряд ли их согласится принять Бронислав Петрович. Там маститым непросто пробиться». — «А мы еще посмотрим!» — решительно возразил Анатоль.

И он добился своего. Стихи Ларисы Я. вышли в журнале. Правда, когда она уже была студенткой журфака БГУ. Перед ее поступлением Анатоль не единожды бегал в университет, чтобы встретиться со знакомыми преподавателями, дабы «закинуть словцо» за талантливую абитуриентку. Тогда центрального тестирования не было и в помине, так что замолвить слово за знакомого или поддержать земляка, хотя и не всегда, но все же удавалось. А в этом случае ходатайство Анатоля было совсем не лишним. И на протяжении всей учебы он не переставал интересоваться, что она пишет, как она пишет, какая помощь ей нужна. Когда же не стало наставника, Лариса, провожая его в последний путь, не скрывала слез.

Лариса стала журналисткой. Но, к сожалению, семейный быт, навязывая свое мелочное, суетное, отбивает охоту дружить с вдохновением, без которого невозможно представить самоотверженного служения поэзии. Не такое ли случилось и с Ларисой Я., потому что давно не могу отыскать ее след…

Всей душой ощущаю, как бы сожалел Анатоль. Помню, как он искренне радовался, когда в руки ему попадали стихи молодых авторов, в чей талант он уверовал, на кого надеялся…

В тот послесеминарский вечер мне посчастливилось побывать неожиданно в гостях. Поезд в Минск шел в полночь, и Анатоль предложил съездить в гости к его сестре. Кажется, двоюродной, точно сказать не могу. Рассчитались в гостинице, зашли в магазин и, сев в троллейбус, поехали. Родственница, моложавая и привлекательная женщина, быстро собрала довольно приличный ужин, как это водится у нас, и пригласила за стол. Поставила на стол и бутылку. Удивилась, что Анатоль отвел ее руку, когда она хотела налить в рюмку, которую поставила перед ним. «Нет-нет-нет», — заторопился он, взяв бутылку из ее рук. — Я лучше сам вам налью. Колобок (так прозвала меня Анна Давыдовна Красноперка, когда я работал в «Піянеры Беларусі»), не стесняйся, можешь и за меня лишнюю рюмку взять», — насмешливо глянув на меня, налил себе какой-то шипучки. Хозяйка удивилась, а для меня в тот момент Толин отказ не был необычным. После того грушевского происшествия время от времени он делал такие «лирические отступления»: по нескольку месяцев даже не притрагивался к спиртному. А в дружеских застольях, которые случались в гонорарные дни (а их каждый месяц было пять: два в газетах и журналах, два на радио, один в книжном издательстве), да и просто по случаю, то с юмором, то молча подливал хлопцам в стаканы. Парни подшучивали над ним, но никто не настаивал, чтобы он «не истязал организм», не нарушал свой временный «сухой закон». Видели, его не переубедишь. Да и зачем? Каждый знает цену своему здоровью, свои возможности с таким привлекательным, но больше порочным и горьким искушением. А то, что он не был «святым» и мог неожиданно «раскрепоститься и расслабиться», как теперь часто говорят, Анатоль не скрывал, признавался сам. Со всей откровенностью и искренностью своего таланта:

Не мог я піць — таму упарціўся,
Прасіў назад чуць-чуць адліць.
Але за дружбу піў я квартамі,
Бо нельга мне было не піць.

Пасля я піў — і ў тым не каюся, —
Калі няўрадзіцы былі,
Калі сябры мае з’язджаліся
І хлопцы ў армію ішлі.
Ды я ўсё чакаю раніцы,
Даўно жадаю я адно:
Няхай хутчэй знікаюць п’яніцы,
А не гарэлка і віно…

«…і там яна канчаецца»

После женитьбы Анатоль получил двухкомнатную квартиру в микрорайне Зеленый Луг, который только-только начал застраиваться. Квартира считалась подменной, до этого в ней жил поэт Марк Смагорович. Из разговора знал, что новое место жительства ему нравилось, квартира имела пристойный вид — на двоих с женой Валей площади хватало. Это же не «коммуналка» на Лодочной, где, казалось, нельзя и шагу ступить, не ощущая на себе придирчивого взгляда соседей. Признаюсь, я ни разу не был у него в гостях в зеленолугской квартире, не знаю, как ему там работалось, на чем «замешивались» его стихи и венки сонетов, написанные в то время. Одно знаю: здесь в ночь на 21 марта 1970 года совершила последний круг трепетная, словно от какого-то

испуга, стрелка земного времени его беспокойно-торопливой жизни. Уснул и не проснулся, не увидел света нового весеннего дня. И не сердце подвело, что когда-то беспокоило хозяйку нашей съемной с ним «голубятни», а давняя травма головы. И исполнилось поэту только двадцать девять лет.

«Как он еще до этих лет дожил с такой гематомой? — удивлялся главврач поликлиники Союза писателей Нейфах, когда увидел рентгеновские снимки и прочел заключение медицинской экспертизы. — Там коронарные сосуды мозга словно кто-то посклеивал…» Старые люди обычно говорят: легкая смерть. Может, и так. А была ли она для Анатоля легкой, когда каждый день жил с чувством ее неизбежности? А что так оно и было, можно судить по стихотворению Анатоля Сербантовича «Там пачынаецца паэзія». В нем внимательному читателю можно было разглядеть намек на встречу с неземной жизнью:

Там пачынаецца паэзія
І там яна канчаецца,
Дзе ты ўсміхаешся гарэзліва
І цэлы свет гайдаецца.

Спяшай зрабіць са сцежкі крок,
Дзе цішыня густая,
Каб прачытаць адзін радок,
Які ніхто не знае.

Под ним Анатоль написал: «Серада. 11.03.70. Апошні мой верш». Неужели такую неизбежность предчувствовал поэт, когда ставил эту дату под стихотворением? А может, он руководствовался чем-то другим, может, он собирался нырнуть в водоворот новых задумок, более значимых, сложных, нежели обычные стихи, которые могут и подождать?

Думаю, есть доля правды в суждениях Василя Макаревича. Он утверждает: «В последнее время у него появилась грандиозная задумка: создать венок венков сонетов. Мне почему-то не верилось, что это можно сделать хотя бы из-за технической сложности. Но Анатоля тяжело было переубедить. Он был уверен, что должен создать это произведение, и решил заниматься только им. Поэтому написал две строфы и означил, что это его последнее стихотворение. Трудно сказать, смог бы он осуществить свою задумку, если бы его жизнь не оборвалась так трагично и внезапно, как обрывается песня жаворонка, когда не выдерживает сердце высоко взятой ноты». В рецензии на посмертные издания книжек Сербантовича писали: «Поэт предчувствовал, что преждевременно уйдет от нас, покинет этот земной мир». Не знаю, не берусь ни утверждать, ни опровергать эти рассуждения и предположения. Мне, например, он ни разу не говорил, что ему мало осталось жить. А если в стихах и писал о смерти, так это просто игра с чем-то опасным и таинственным, мол, вы боитесь говорить об этом, а я не боюсь, и ничего со мной не случится. А если что и случится, то чему быть, того не миновать. Он был энергичным, думал о жизни, у него было много планов».

Я уверен: Анатоль осуществил бы свои планы. Он был настойчивым, любил экспериментировать, не замечал и не боялся сложностей, которые могли возникнуть. А в сонетах сложностью была форма, инструментовка самого стиха, которой обязательно надо придерживаться: все же классическая, не свободная. А венок сонетов!? «Сплести» его по всем канонам, по всем правилам обычного поэтического мастерства мало. Но он уже положил начало, показал сонетом «Маўклівае трывожнае зацішша», что смог овладеть

этой формой. Теперь в нашей поэзии венки сонетов не такая уже новинка и диво. Их современные поэты создали десятки. Есть и венки венков, и не у одного автора. Вспомним только Змитрока Морозова и Софью Шах. А тогда… А тогда эти «венки» можно было пересчитать по пальцам одной руки. Как и самих поэтов: Нил Гилевич с его «Нараччу», Хфедар Жычка с «Абеліскам», и он, Анатоль Сербантович. У Анатоля на то время было написано несколько венков сонетов: «Васілёк», «Курганы», «Салдат». Правда, напечатанным он успел увидеть только один из них — «Васілёк». И то корректуру, потому что к читателям журнал «Маладосць» пришел в апреле, когда автор уже лежал в могиле на Восточном кладбище. Но не все получилось гладко, «Васілёк» принес немало забот редакции. Нет, не цензура вмешалась, как это порой бывало, а сам автор.

Помню, после похорон Анатоля ответственный секретарь журнала Владимир Михайлович Юревич, до глубины души потрясенный преждевременной кончиной поэта, с нескрываемой печалью рассказал об очередном, наверное, последнем «своеволии» Анатоля. Ему отдали на вычитку корректуру его венок сонетов: может, где со знаками препинания ошибка вышла, а корректоры могли не заметить, пропустить или какое-то слово, или строку, и автор решит поправить. В корректуре это еще не поздно сделать, разрешается. Правда, чем меньше найдено «блох» и корректура от автора возвращается более-менее чистой, тем лучше для редакции. Не надо перебирать правленые строки, меньше затрат, замечаний у издателя. Ведь за всем этим — подписка к печати, график сдачи в печатный цех, выход готового номера в свет. Выбьешься из производственного графика — жди неприятностей. Выход номера может задержаться, а это «светит» разборками в соответствующих кабинетах. Даже мизерной премии, и той могли лишить. Издательство серьезное — типография ЦК КПБ! «И что вы думаете, — рассказывал, словно жаловался, Владимир Михайлович, — приносит через два дня Анатоль корректуру, отдает мне, перевернул — и ужаснулся: а людцы вы мои, она вся исчеркана, живого места не оставил, весь венок сонетов почти переписал! Это же скандал для редакции! Я говорю: «Куда же ты смотрел раньше, когда сдавал его нам?» Оправдывается: «Так я сдавал его вам полгода назад, а за это время много чего нашлось, что надо поправить. Разве я хуже сделал? — Потом решительно добавил: — Если не хотите издавать в таком виде, то снимайте из номера. Или переносите в другой». А как это венок снимешь, если он сверстан и весь номер целиком набран? Надо сочинять письмо в типографию, оправдываться, просить, чтобы перебрали исправленную корректуру. Еще неизвестно, чем это кончится…»

«Не думайце з трывогаю пра вечнасць…»

Похоронили Анатоля на Восточном кладбище. Городские власти удовлетворили просьбу Союза писателей. На то время Анатоль Сербантович был автором двух сборников «Азбука» и «Міннае поле». Третий — «Пярсцёнак» находился в издательстве и вышел уже с посмертным предисловием Алексея Пысина. Убежден, что памятник на могиле Анатоля среди тамошнего множества гранитных и мраморных плит, статуй, барельефов известных выдающихся личностей заставлял каждого, кто проходил мимо, остановиться в полном недоумении: кто же за этой оградой похоронен. И в самом деле, памятник отличался от всех, что стояли рядом. Его проект, как

теперь бы сказали, задумывался и осуществлялся на моих глазах в редакции журнала «Бярозка». Занимался им молодой редакционный художник Петр Драчев. За два года, работая в редакции, он искренне подружился с Анатолем, они сошлись во многих суждениях в отношении творчества и общественных событий. Петру импонировали поэтический поиск и раскованность, смелость мысли и свежесть образов поэта Сербантовича, а Анатолю — стремление к поиску, оригинальность художественных приемов, тонкое ощущение природы, теплота красок, прекрасное знание исторического наследия своего края, трепетное отношение ко всему родному, белорусскому — молодого художника Драчева. Поэтому никому не доверял оформление своих книг, только Петру Драчеву. Договорился с ним об оформлении и книжки «Пярсцёнак». Вместе с фотомастером Валентином Ждановичем они нашли решение оформления обложки. Кто держал в руках этот сборник, тот согласится со мной: все получилось оригинально, содержательно и… загадочно. Изображение перстня на обложке, — фрагмент разорванной гильзы снаряда. Где Валентин нашел такую, не знаю. Может, в лесу, собирая грибы, или еще где. Он много путешествовал по Беларуси с фотоаппаратом. Помню, когда он зашел со своей находкой к Петру в редакцию и показал эту гильзу, признаюсь, было страшно взять ее в руки, чтобы не пораниться до крови о рваные зазубренные «лепестки», что, как на подсолнухе, растопырились вокруг, словно предупреждая: «Не прикасайся!» Петя (так мы чаще всего называли Драчева в редакции) болезненно воспринял преждевременную смерть Анатоля. Сдав в издательство оформление сборника Анатоля, он, когда зашел разговор у родственников об оградке и надгробьи поэту, сам взялся за разработку проекта памятника, сделал несколько вариантов. Работал не за деньги, рассчитывал, чтобы установка надгробья обошлась не слишком дорого для родственников: на гонорарную поддержку надежды не было. После долгих размышлений Петр Драчев предложил такой проект: четыре женские деревянные фигуры, склоненные в печали, между ними — натянута цепь. На самой могиле — обычный серый камень с фотопортретом и эпитафией. Нужные строки искать не пришлось, их словно сам Анатоль подготовил заранее, поместив в сборнике «Мінное поле», и назвал стихотворение «Запиской, найденной в книге»: «Не думайце з трывогаю пра вечнасць, // Забудзьце пра хвіліны забыцця: // Складаецца з трагедый чалавечых // Вялікая трагедыя жыцця».

Свою задумку Петр Драчев аргументировал так: «Я старался, чтобы во всем присутствовала символика, образность. Чтобы хотелось задуматься, порассуждать, глядя на эти статуи и цепи. Статуи печальных женщин — это образы Матери, Сестер и Муз, которые не хотят отпускать от себя Анатоля. А цепи для чего? Он все время чувствовал себя творчески скованным, ему было тесно в том окружении, в котором находился, он все время стремился вырваться из разных стереотипных цепей, которые мешали ему ощущать себя свободным и самостоятельным. К тому же Анатоль не любил излишней помпезности и забронзовелости во всем, пусть каждый, кто пройдет мимо могилы, задумается, почему здесь появились цепи и эти печальные женские фигуры. Не роскошно, но оригинально. Пройдите по кладбищу — ни у кого подобного не увидите. Толя, думаю, не обидится».

Действительно, все было так, как предсказал Петр. Люди останавливались, удивлялись, наверняка, молча сочувствовали родственникам покойного: «Наверное, бедно живут, не было за что более дорогой и лучший памятник поставить». Но разве можно прислушиваться к тому, что говорят посторон-

ние люди? Все было спокойно у могилы Толи, пока не приехала из деревни его мама. Увидев могилу сына, она в растерянности опустилась на колени и запричитала: «А за что же это моего Толечку, моего сыночка любимого, как того острожника, такими тяжелыми цепями сковали? Как он будет ходить и дышать на том свете? Кто додумался до этого? Что же он такого плохого сделал вам, люди? Неужели тебе, сыночек, вечно страдать в этих цепях, под камнем этим? Неужели ты заслужил, чтобы так не по-людски обошлись с тобой».

Не помню почему, но в тот день я не был там. Про этот материнский плач у могилы сына рассказал мне сам Петр Драчев. Напрасно он и невестка Валя старались успокоить взволнованную мать, убедить, что во всем есть символика, глубокий смысл и соответствующий подтекст, что все дело не в денежных расходах, что все подчеркивает, чем была отличительной, понятной и близкой читателям поэзия Анатоля, — все же не смогли переубедить. Мать поехала домой с неприкрытой обидой и на невестку, и на Толиных друзей, мол, сделали памятник Толе, лишь бы отцепиться. «Будем думать, — сказал тогда озабоченный Петр. — Мать хочет, чтобы ничего не выдумывали, а поставили такой памятник, как у людей. Пообещали, что переделаем все…»

«У паэтаў ёсць такое права…»

«Жывыя ідуць наперад…» Это строка из стихотворения Кастуся Киреенко военных лет. К сожалению, терять друзей и соратников, навсегда расставаться с ними приходится не только на полях сражений. Неумолимость судьбы, преждевременное расставание с жизнью. Одним — больше, другим — меньше, третьим — совсем мало. Анатоль, как ни печально это сознавать, — из числа последних. Но, однако, время земной жизни не останавливается. Живые идут вперед, чтобы пройти по родной земле «каронаю снапоў каранаванай», «ад першай да апошняй паласы» и за себя, и за тех, кто шел по ней, да не дошел, перешагнул черту, за которой Вечность и Память. Казалось, обе — как сестры родные, но вторая из них владеет невероятной способностью, не всегда утешительной, как и Слава. К одним она, эта замечательная и лучезарная Слава, приходит очень рано и — нередко случается — так же рано покидает их. К другим приходит позже, когда кто-то не просто горит желанием, а жаждет оказаться у нее на виду, из кожи вон лезет, чтобы покупаться в ее сияющих лучах, чтобы возвыситься, добиться с ее помощью того, чего еще не смог добиться. Третьих находит, когда они уже не могут ни услышать, ни ощутить ее. Хотя бы на мгновение, да погреться в ней, укрытые землей и вечностью. Такое почему-то случается чаще. Это зависит уже от людей, от того, какое у них сердце, какая у них память…

Не пытаюсь утверждать категорично, но, подумав, все же соглашусь с мыслью, что ему, Анатолю Сербантовичу, было подарено судьбой и фортуной занять парнасскую очередь к ранней и прижизненной Славе, даже в какой-то степени прочувствовать, пожить в ладу от близкого соседства с ней, погреться под ее лучистым крылом, хотя бы немного почувствовать, какая она «на вкус».

Хотя сам Анатоль, в чем-то повторяя Владимира Маяковского: («Мне наплевать на бронзы многопудье…»), в молодом запале заявил: «У паэтаў ёсць такое права, // І яго нам нельга забываць: // Напляваць на грошы і на Славу. // І на вечнасць нават напляваць», и тем не менее он все же чувствовал,

что Славой не обижен. Ну, если не Славой, так читательским вниманием и признанием, даже любовью — это бесспорно. А что важнее — неуловимая, капризная Слава или людское признание? Он сам пытался разобраться в этом хитросплетении призрачного и неуловимого, реального и живого. Хотя и немного наивно, по-мальчишески, как это мог себе позволить, словно играя в прятки с ней, и все же домогался разговора с молчаливой Славой, ждал ответа.

Дабрыдзень, Слава!
Што ж маўчыш?
Ці ў мяне не тыя песні,
Ці мне той груз не па плячы,
Які раней паэты неслі?..

Няўжо, скажы, і я не той,
Няўжо я з тых, якіх так многа?..
Ківае Слава галавой
І не гаворыць мне нічога.

Я не крыўдую.
Будзь, як дым!
І хоць вянок прасіць твой — сорам,
Чаго ж нам сорамна дваім,
І ні аб чым мы не гаворым?

Не надолго ли затянулось это молчание?.. И все же, как бы ни складывалась жизнь, как бы ни менялись взгляды и отношения людей к творческим личностям, к их наследию, есть еще одна выверенная столетиями истина: не все, что было создано талантливо, было его жизнью и призванием, теряется во времени. Повезло ли Анатолю, не стала ли длинной дорога к нему и его поэзии для нас, современников, которые живут в сегодняшней суетливой действительности? Однозначно утверждать не берусь. Но к размышлениям и выводам все же прийти можно.

«І вясной узыду…»

Помню, кажется, это было в мае, ко мне в редакцию пришел молодой человек. С виду — вчерашний школьник. Назвался Сергеем Ковалевым. Сказал, что учится на белорусском отделении филфака. Заканчивает первый курс.

— Меня прислала наша преподавательница Ольга Васильевна Козлова. Хотим пригласить вас на литературный вечер, посвященный памяти Анатоля Сербантовича. В этом году исполняется сорок лет со дня его рождения. Ольга Васильевна сказала, что вы учились с ним какое-то время, часто встречались, дружили. И вам, конечно, есть что рассказать нашим студентам. Вечер будет вести Ольга Васильевна. Она расскажет студентам о творчестве Анатоля Сербантовича, прочитает его стихи, которые ей очень нравятся, потом я прочитаю доклад… Ну, не доклад, а мои заметки о творчестве Анатоля Сербантовича. С интересом послушаем ваши воспоминания. Студенты прочитают стихи поэта, они нравятся многим. Если придете, увидите, как мы подготовились.

Как я мог отказаться?

Студенческая аудитория по улице Красноармейской, где тогда находился филфак, куда и сам когда-то вечерами торопился на лекции, в тот раз была

тесноватой. Стульев и столов, что обычно стояли в ней, оказалось мало, поэтому с полдесятка заняли их в соседних аудиториях. Стоял небольшой стенд с книжками и журнальными публикациями Анатоля Сербантовича. Привлекал внимание наклеенный на картонку портрет. Скромно, но довольно пристойно, наглядно, с уважением к памяти поэта, который так мало пожил, но успел оставить след в нашей литературе.

Все было так, как рассказывал мне Сергей Ковалев, приглашая на встречу. Открыла вечер приветливая, любимая студентами Ольга Васильевна. Свои заметки прочитал Сергей, и не просто заметки, а курсовую работу по творчеству поэта. Поделился воспоминаниями и я. Старался не кривить душой, а рассказал обо всем, что раскрывало образ поэта, позволяло увидеть его таким, каким он был в жизни.

Конечно, стихи читали в основном девушки, поэтому в их декламации перевешивала в основном лирика, наиболее близкая их чувствам и настроению, которая, как мне казалось, трогала слушателей, словно разговаривала с нами голосом и сердцем живого поэта, голосом красоты и молодости, романтической возвышенности и влюбленности. Казалось, не они, а он сам проговаривал строки, стоя перед аудиторией, словно ученик перед классом, волнуясь и взвешивая каждое слово, наполняя верой в силу жизни каждую строку.

Упаду,
Упаду
На лугу ці палетку
І вясной узыду
Самай простаю кветкай.

Будуць зоры цвісці,
Будуць пець за гарою,
Будуць людзі ісці
Ля мяне,
Нада мною…

Меня очень удивил и впечатлил доклад Сергея Ковалева. Слушал его, и не верилось, что вышел он из-под пера «зеленого» первокурсника: так обстоятельно, глубоко, заинтересованно, а главное — с какой-то внутренней любовью и теплотой он сумел раскрыть в своем, можно сказать, литературоведческом исследовании страницы жизни и творчества Анатоля Сербантовича, что взволновало в те минуты не только меня одного. И я подумал, что у этого студента, Сергея Ковалева, талант филолога, будущего ученого. Он может вырасти в интересного исследователя белорусской литературы.

И я не ошибся. После учебы в БГУ Сергей окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Но это еще не все, что стало его увлечением и творчеством. Он не ограничился литературоведением и критикой. Плодотворно дебютировав в печати стихами, со временем стал писать прозу — сказки для детей, которые издал сборником «Мэва». Потом вполне зрело перешел в драматургию. Кто не встречал его имя на афишах наших театров, в которых с успехом ставятся спектакли по пьесам Сергея Ковалева? А мне приятнее вдвойне, что я в свое время поверил в его талант, не отказал, когда Сергей обратился ко мне за рекомендацией для вступления в Союз писателей Беларуси. Первое юношеское увлечение творчеством Анатоля Сербантовича у Сергея не было случайным и временным. Он не один год продолжал собирать факты из его жизни, изучал наследие поэта, встречался с

мамой Анатоля, беседовал с друзьями и знакомыми, с наставниками и односельчанами, которые хорошо знали Анатоля. Он и меня просил несколько раз написать воспоминания, но к моему стыду, обещая, я откладывал это от встречи к встрече, но так и не собрался. Может, этими страницами как-то оправдаюсь перед ним.

Следует быть благодарными Сергею Ковалеву за его поиски и находки. В 1989 году в издательстве «Мастацкая літаратура» (только через восемнадцать лет после издания первого сборника поэта!) вышла книга Анатоля Сербантовича «Жаваранак у зеніце». В ней стихи, баллады, поэмы, венки сонетов, что печатались в прежних сборниках, а также многое из неопубликованного, из семейного архива. Составителем книги, автором предисловия стал Сергей Ковалев. Перелистывая страницы сборника, вчитываясь в знакомые строки, через временное расстояние я увидел много нового для себя, того, что позволило заново понять и постичь самобытный талант поэта Анатоля Сербантовича, понять, что способствовало формированию его поэтического вкуса, характера, мастерства, жизненных принципов и гражданской позиции. Откуда в нем ершистость и дерзость, непримиримость с тем, что он видел, что считалось правильным, нормальным, что воспитывало его характер, помогало оставаться самим собой…

Признаюсь, я немало удивился такому, например, открытию: школьником поэт Сербантович «стихи не любил и избегал их аж до старших классов, — подчеркивал автор в предисловии, — но то, что родилось, что горело и билось в сердце Поэта, — никогда не погаснет, не уйдет в небытие». Как хочется в это верить и надеяться! Однако после сборника «Жаваранак у зеніце» больше ничего не издавалось. Так какая у нас память?

Но радует, что это издание не потерялось. Анатоля читают. И не только читают, а кое-кто пытается замахнуться на его авторство и на то, что им больше всего понравилось из его наследия, тихонечко позаимствовать, не удержавшись от искушения плагиаторства. За десятки лет работы в журналах «Бярозка» и «Вясёлка», принимая участие во многих конкурсах и слетах, работая с юными литераторами в кружках, мне не раз приходилось «выводить на чистую воду» искателей удачи такого рода, сражаться с тем, чего не мог терпеть сам Анатоль. Может, он втайне и порадовался бы, что «крадут» именно у него, но я уверен, вряд ли удержался бы от желания серьезно приструнить «штрафника» за такое незначительное и безобидное, казалось бы, «злодейство».

Чтобы никто не подумал, что занимаюсь пустословием, расскажу об одном только случае.

Как-то на очередное занятие литературного товарищества «Купалінка», которым я тогда руководил, приехал из Боровлян ученик местной школы, десятиклассник Юрка С. В этой школе уже не один год работал литературный кружок, десятки юных авторов прошли в нем учебу, и несколько стихов, которые прочел нам юный автор, были встречены бурными аплодисментами. Посыпались вопросы: «Почему ты, Юрка, раньше не приезжал на наши заседания «Купалінкі»? У тебя же такие прекрасные стихи!»

Поддавшись настроению друзей «Купалінкі», подкупленный зрелостью и поэтической свежестью услышанных строк, я предложил окрыленному автору отдать мне все, что он принес с собой. И он охотно передал мне тетрадь, а в ней стихотворений пятнадцать, если не больше. Уже дома, когда я стал внимательно их читать, у меня начало закрадываться подозрение: может, это не его стихи? Уж больно не по возрасту совершенны!

Прогнав сомнения, я включил несколько стихотворений Юрки С. в радиопередачу «Першыя сцяжынкі», которую в то время готовил и вел на Республиканском радио. Чтобы еще больше поддержать молодого автора, уже намеревался отдать их в газету «Чырвоная змена». Это я делал уже не раз. Алесь Бадак, в то время консультант, был не против такого моего покровительства молодым авторам. Но чем дальше, тем больше продолжал подтачивать внутреннее чувство червячок сомнения, с каждым новым прочтением стихов начал осознавать: я же их где-то читал! Но у кого? Не у Сербантовича ли? Не совсем обычная рифмовка и это «У»… Анатоль часто, почти в каждом стихотворении, делал такие «грамматические» нарушения: для сохранения ритмики строки не сокращал «У» после гласных букв. И в стихах Юрки С. такой же рисунок. Неужели так приглянулись ему стихи Анатоля, что он решил стать литературным вором! И как они попали к нему, из какого сборника? Сомневался, что через пятнадцать лет мог найти в библиотеке, скажем, сборник лирики «Жаваранак у зеніце», не говоря уже о книжках более раннего периода. «Жаваранка» долго искать не пришлось: как и «Мінная поле» — с автографом автора я хранил под рукой.

Листая сборник, поначалу не мог зацепиться ни за одну строку, которая могла бы меня вывести на плагиат. Стало подкрадываться сомнение: может, я ошибся, может, зря обвиняю юношу в греховном поступке? Когда же дочитал до стихов в сборнике «Пярсцёнак» и «З неапублікаванага», сомнения мои окончательно рассеялись: именно из этой книжки переписал Юрка С. стихи, с которыми дебютировал на заседании нашей «Купалінкі», и успел получить радийно-эфирные, но все же «дивиденды». Успел прославиться! Не одно и не пять, а все стихи, которые он тогда передал мне, были «позаимствованы» из книги Анатоля Сербантовича.

Чтобы особенно не ранить неудачливого искателя поэтической славы, посоветовавшись с руководителем школьного кружка, я решил не выносить этот поступок Юрки С. на обсуждение очередного заседания «Купалінкі». Договорились, что преподавательница поговорит с ним с глазу на глаз. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, обо всем каким-то образом стало известно «купалинцам». И они с недоумением спрашивали меня: «Неужели Юрка мог пойти на такое?» Только сам Юрка этого не слышал, мы больше его не видели на своих заседаниях. Правда, через учительницу он попросил у меня прощения.

Одно порадовало в этом происшествии: видно, сильно тронули его сердце стихи поэта, если молодой парень, еще школьник, захотел выдать их за свои. А я, благодаря Анатолю, смог остановить его в начале пути, который, возможно, мог бы привести к большим неприятностям самого Юрки С., а также сотрудников редакций, которые по неопытности могли пропустить «его» стихи в печать…

Сколько на моем пути случалось подобного…

«Чаму ў нас паэтаў — як бяроз…»

Кажется, было только вчера: стоим над подбитым песком холмиком, покрытым живыми цветами и венками, не пряча слез, прощаемся с Анатолем, а минуло уже сорок пять лет! Непросто в памяти восстановить тот мартовский день, было ли небо в тучах, или солнце светило ярко, одно осталось в сердце незаживающей раной — тоска и печаль, которые не давали пробиться в те минуты в душу каждого из нас проблеску теплой ранней весны.

Жменькі жвіру пірунамі
Б’юць у дамавіны дах.
Пачала расці між намі
І табою розніца ў гадах.

Горка нам — былым тваім суседзям
І сябрам тваім усім.
Ці пазнаеш, як прыедзем
Да цябе праз многа зім?

У жалобных соснах бачым,
Ручаёк, другі прабег, —
Гэта пацямнеў і плача
Твой апошні снег…

Микола Малявко написал эти строки и вплел их в венок памяти нашего друга после прощания с ним. Я не ожидал, что он, собираясь со мной к Анатолю пасмурным ноябрьским днем, как раз на Дзяды, прихватит страничку из школьной тетради (словно знал его привычку доверять свои мысли и строки школьной тетрадке), воспроизведя на ней строки своего давнего посвящения, чтобы передать мне: «А вдруг пригодится!»

Не ошибся, еще как пригодилось! Там, на кладбище, я мысленно их прочитал… Может, он не заметил, а мне сразу бросилось в глаза, как легкое облачко упало, казалось бы, на беззаботные лица моей дочки Насти и зятя Вячеслава, когда этот рукописный листок побывал в их руках. В тот день они захотели присоединиться к нашей поездке на Восточное кладбище, на могилу поэта, о котором услышали впервые.

Прикупив в магазинчике довольно симпатичный букет искусственных цветов, мало отличающийся от живых, которыми заранее запасся Микола, опередив моих семейников, медленно ступаем, словно сквозь гранитный лес, присматриваясь к могильным плитам и памятникам, встречаем знакомые нам имена тех, кто также здесь нашел свой последний покой: Пимен Панченко, Кастусь Кириенко, Владимир Короткевич, Евгения Янищиц, Анатоль Гречаников, Алесь Бачило, Евдокия Лось…

К могиле Анатоля Сербантовича асфальтированная дорожка, изрядно выбитая, привела нас совсем неожиданно. Думали, что увидим ее еще издали по знакомым мне деревянным статуям и цепям, — такую могилу видели еще совсем недавно, тут — ни статуй, ни цепей… Может, такое необычное «украшение» на краю дорожки рядом с добротными памятниками кого-то отпугивало или смущало, и поэтому соответствующие службы решили убрать их? А может, они от неумолимого времени утратили прежний вид, подгнили, а цепи изъела ржавчина, все стало действительно неприглядным? А может, кто из родных распорядился — жена Валентина, сестры?..

Открытая со всех сторон, какой-то беззащитно-скромной, даже сиротливой показалась нам могила Анатоля в тот момент. Нет, нет! Не забытой и заброшенной, заросшей густой травой. Чувствовалось, что кто-то время от времени ухаживает за ней, даже побывал незадолго до нашего прихода: около плиты с портретом Анатоля стоят лампадки с запасом свечей, вот и коробок спичек среди них. Кто-то продумал все до мелочей. Еще не успели утратить своей привлекательности искусственные цветы. Зелеными свечками тянутся вверх посаженные кем-то туйки. Дай Бог им выжить, и тогда они подарят поэту ласку земной жизни и голос раннего жаворонка. Но… Чувство вины затрепетало в груди, застучало, словно молоточком, в висках: «Прости, Ана-

толь, за такую забывчивость, за долгий путь к твоей печали, покинув тебя наедине с ней, в этой сосново-хвойной тишине».

Над нами, в кронах сосен чувствуется дыхание ветра, таинственно шумят мохнатые ветки, словно делятся с небесами говорливой радостью высоты, а внизу, на земле, все окутала трепетная тишина, даже слышно, как сильно стучит сердце.

Мы молча кладем цветы на серый камень, вчитываясь в слова, выбитые на нем: «Не думайце з трывогаю пра вечнасць…» Их Анатоль написал еще при жизни, когда об этой вечности в его мыслях-намерениях даже намека не было. А случилось же, случилось…

Заметив россыпь желто-красных березовых листьев, что, как мотыльки, припали к влажной плите, оглядываюсь вокруг, ищу глазами березы. Удивительно: только две или три замечаю вдали от этого уголка, среди зеленохохластых высоких сосен-старожилов, которые взяли под надежную охрану покой этого почетного столичного кладбища. Порывистый ветер, который осмеливается нарушать их покой, своевольно срывает эти листья с позолоченных осенних веток, чтобы занести сюда, словно знает, что Анатоль очень любил березы и во многих стихотворениях не прятал своей влюбленности в них. Березы были для него «як сімвал нашай чысціні», он сравнивал их с девчатами из балета, с градусниками леса и свечами.

Мы вернулись с Миколой Малявкой на остановку, а в головах у нас снова ожили строки, которые когда-то приводили в восторг не просто глубиной поэтического вдохновения, но и серьезным философским содержанием. Оно очаровывает, его хочется повторять и повторять, как песню…

Чаму у нас паэтаў — як бяроз,
Чаму у нас бяроз — нібы паэтаў,
І цёпла сэрцу ў студзеньскі мароз,
І нават самай цёмнай ноччу светла.
І вецер мне шапнуў тады: «Бяроз
У нас так многа ў вёсках і на полі
Таму, што імі асвятлялі лёс
І цёмную цяжкую долю».

А лес трывожнай бронзай празвінеў:
«Таму так многа ў нас было паэтаў,
Каб за ўсіх, хто гаварыць не ўмеў,
Яны пра край наш расказалі свету».
Таму у нас паэтаў — як бяроз,
Таму у нас бяроз — нібы паэтаў,
І цёпла сэрцу ў студзеньскі мароз,
І нават самай цёмнай ноччу светла.

Только до боли жаль, что никто и ничто в этой жизни не может защититься, спастись от неизбежности судьбы: у берез прежде времени забирают красоту и жизнь безжалостные пилы и топоры, а у поэтов — неумолимая косилка-смерть и сырая земля. Своя земля, с детства родная, словно домашний порог, но все равно сырая…

Но будем благодарны судьбе: людям остаются память и песни. Как и о тебе, Анатоль, как и твоя щемяще-проникновенная песня.

«Гэта песня плыве над зямлёй, // Праплывае праз зімы і леты. // Гэта песня, якая табой // На прадвесні была недапета». Чтобы ты знал и услышал, чтобы сказать тебе эти слова, наш друг Федор Черня также мартовским утром ушел вслед за тобой через тринадцать лет (какое совпадение, какой поворот

судьбы!), не сказав нам своего последнего «Прощайте!». Встретились ли там? С ответом, Толя, не спеши…

Не хотелось верить в случайность твоих выстраданных слов, да, вероятно, была твоя правда, когда ты пророчески сказал: «Тых, з кім дзеліцца неба сакрэтам, // Маладым забірае зямля».

И еще в одном хочу согласиться с тобой, с твоим предвиденьем: «Фіміям курыць цяпер не ў модзе. // Можа, можа потым праз гады // Хтосьці назаве нас у народзе // Як паэтаў шчасця і бяды». Это все же — о себе самом, о тебе!..

«И весною взойду…»

Когда работал над этой повестью, закрадывалась в подсознание мысль: помнят ли земляки своего знаменитого поэта, что сделали они, чтобы увековечить его имя? Может, подсказать им, напомнить, какого мастера поэзии родила их земля, настоящего творца, которым можно гордиться. Тем более — накануне юбилея: 13 мая 2016 года Анатолю Сербантовичу исполнилось бы 75!

Своими мыслями я поделился с Казимиром Камейшей и Миколой Малявко. «А почему бы и не попытаться? — поддержали они мои намерения. — Разве Анатоль не достоин того, чтобы его знали и помнили, хотя бы на родине». Зашел к первому секретарю Союза писателей Беларуси Геннадию Пашкову, который хорошо знал Анатоля, рассказал о своих мыслях, надеясь заручиться его поддержкой.

— Я согласен с вами, предложение дельное, и его стоит обсудить на ближайшем заседании секретариата. Оформите свою идею в письменном виде. Кто-кто, а Толя достоин чести быть увековеченным в памяти своих земляков. Надо поинтересоваться мнением и Владимира Дуктова, председателя областной Могилевской организации…

Но ни нам, ни Пашкову не пришлось беспокоить руководство областной писательской организации. Василь Макаревич, развернув как-то очередной номер газеты «Літаратура і мастацтва», увидел новую подборку стихов, а в ней — стихотворение «Вуліца Анатоля Сербантовіча». Не веря своим глазам, начал читать. Словно заново листал страницы Толиной биографии и возвращался в нашу молодость, в ту пору, когда даже во сне слагались стихи.

Ці думаў,
Як у вёсцы тузаў лейцамі,
Ці крочыў дзесьці ў мітусні людской,
Што прозвішча даверліва прылепіцца
Да пабудоў, з акрасай
Гарадской?

З капрызнай музай,
Быццам з маці хроснаю,
Віхрасты і няўседлівы, як драч,
Умела кросны ты снаваў за кроснамі
І ткаў палотны вершаў,
Нібы ткач.

Ты за радок
І гузіка не выменяў,
Хоць гэты свет — таргаш і Галівуд.
А вуліца, з тваім уласным іменем, —
Нібыта ўлетку снег —
На галаву!

На клёнах
Раскашуюць птушкі пеўчыя,
Сярод галля ім у цяпле — лацвей!
Былі гады, калі не меў капейчыны,
Цяпер ты — з багацеяў
Багацей!

Ад гэтай весткі
Можна і расчуліцца.
Ды напаслед скажу я пару слоў,
Што на тваёй перанячую вуліцы,
Калі паеду ў горад
Магілёў.

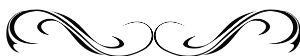
В тот же день позвонил Василю Макаревичу: откуда узнал, что в Могилеве есть такая улица?

— Не помню уже, в какой газете, но попала мне на глаза информация, что в Могилеве появился микрорайон, где улицы названы именами писателей, которые родом с Могилевщины. Как видишь, не забыли и Толю.

А меня не покидала мысль: как бы самому прочесть, убедиться в правильности информации, которая подтолкнула Василя написать это стихотворение. Подтверждение я нашел в беседе корреспондента газеты «Літаратура і мастацтва» с Владимиром Дуктовым. Рассказывая о творческих достижениях областной организации, он заметил: «Могилевский городской совет поддержал наше предложение и назвал улицы и переулки нового жилого микрорайона именами белорусских писателей, которые судьбой и творчеством были связаны с Могилевщиной. Есть среди них улица Платона Головача, Янки Журбы, Василя Коваля, Анатоля Сербантовича, Эдуарда Валасевича, Миколы Лукьянова»…

Значит, правда! Значит, есть такая улица, которая позовет однажды меня в дорогу, чтобы поздороваться с другом далекой молодости, как с живым: «Добрый день, Анатоль! Ты вернулся, ты с нами!»

Перевод с белорусского Нины ЧАЙКИ.





Микола МЕТЛИЦКИЙ

Искринки негасимого огня

* * *

Приветил я весну в лесном надречье,
Еще совсем озябшая, она
Сказала мне при первой нашей встрече
Неслышным влажным веяньем: — Весна!

Потом вошла и в силу по закону —
Шумливою листвою и травой,
Распахнутою высью небосклона,
Зарей пунцово-ясной, огневой.

И желтых одуванчиков очами,
И цветом бело-розовых садов,
И клекотом буслиным над полями,
И трелью вдохновенных соловьев.

И радугой, что тучи прорезала,
И говором криничного ручья,
И звонким птичьим пением сказала,
Всей сущностью живою: это — я!

Окинувши глазами окоемы,
Утешился красой ее сполна
И рад был по-земному упоенно,
Что это и моя еще весна!

Что оклик журавлиный все сильнее
И шире свод небесный голубой
Что временным присутствием мы с нею
Здесь, на земле, повязаны судьбой.

* * *

В знакомой хате над рекой
Уже давно живет покой,

С десяток лет, и каждый год
Дичает в травах огород.
Все больше в нем кротовых нор,
Ободран хлев, подгнил забор.

Сад одичал, буйна сирень.
И в тучах небо, ночь и день.
И трое братьев уж взяты
Объятьем вечной немоты,
Родной оставили порог,
Избравши долю выпивох.

И дикий кот, обживший двор,
Порою вспрыгнет на забор,
На солнце жмурится, как плут.
И скорбный, грустный бег минут
Впадает в дней печальный рой
И просит: хату мне открой!

Ступаю в сенцы… Хлам, погром.
И сердце обожгло огнем.
Стол перевернутый… Кувшин…
Один ты с прошлым на один.
Вот ватник брошенный лежит.
Эх, парни, вам бы жить да жить!

* * *

Старушечьи чоботы-кирзачи,
Мной встреченные на родовом подворье,
Притопали тяжко тропою в ночи
На уцелевшую околицу из бездомья.

Словно обула их ночь сама,
Ставши сутулой, горбатою Степою,
И она оттуда, где безлюдная тьма,
Свидетельницей живой притопала.

Я услышал эти шаги в ночи,
Сидя у печки недвижно на стуле,
Старушечьи чоботы-кирзачи
Песок на пороге моем отряхнули.

И только в жилище рассвет проник,
Разгоняя печальных дум вереницу,
Как призрак старушки, с печалью лик,
Растаяли в заревой багрянице.

Разминеры

Памяти 112 подростков, которые погибли во время разминирования территории Беларуси в 1944—1945 годах

Еще на фронте были все саперы —
И по весне, когда теплы деньки,
К работе приступили разминеры,
Нескладные подростки-пареньки.

С инструкторами шли полями смерти
По двое-трое. Кто их остерег?
Прощупывали прутьями в усердье
Любую тропку, каждый бугорок.

Начинку смерти, что в земле осела,
Без должной осторожности порой
Некрепкими руками брали смело,
Как будто были заняты игрой.

И сколько полегло их в домовины,
Не осознавших, что такое страх!
Бывало, что откопанные мины
Взрывались в торопливых их руках.

Глядят на нас сквозь дым взрывной ребята,
И в их глазах читаем мы укор.
Идет по Беларуси сорок пятый,
Как молодой бесстрашный разминер.

* * *

Над межой с кустами хилыми —
Дуб, закрывший небосклон,
Молний острыми секирами
Весь до долу посечен.

Да, силач, порой в обиде жил,
Но осилил вихрь невзгод.
Так и ты все бури выдюжил,
Белорусский мой народ.

* * *

Весна моя, дай мне полет свободы,
Живой красою жизни утоли!

Еще мои не гаснут небосводы,
Еще мои не кружат журавли.

Душе моей дай света полной мерой,
В хрустальных росах стежку разверни,
С небес высоких ты звездой Венерой
В потемки чувств и мыслей загляни!

И, стоя на обочине прогресса
И временем в запас до срока сдан,
Вбираю я зеленый шепот леса
И пью рассвета птичьего туман.

Туман над речкой детства заклубится,
Ольха из детства взглянет сквозь года.
Душой и сердцем, знаю, скоро слиться
Мне предстоит с природой навсегда.

И поплывет опавший лепесточек
Рекою жизни вдаль… И от меня
Останется, быть может, горстка строчек —
Искринок негасимого огня.

Перевод с белорусского
Георгия КИСЕЛЕВА.





Лиза БИРГ

Кукольница

Рассказ

Сквозь дыры зонтика
Страницы детства вижу.
То свет мелькнет в них, то туман,
То мамин голос вдруг услышу,
То проплывает черных танков караван.

Она вошла в мою жизнь так же естественно, как вошли в нее мои родители, братья и сестры, и заполнила собой лучшие страницы моей короткой, но счастливой довоенной жизни.

Сколько ей было лет, не знал никто. Она из того десятка людей, которые не менялись с возрастом. Внешность ее, как и возраст, была тоже неопределенной: трудно было с первого взгляда отнести ее к одному из человеческих полов. Она была рыжая вся — лицо, тело; волосы — такие редкие, что, сливаясь с кожей головы, подчеркивали ее округлость. Рыжие глаза, немного косившие, смеялись и грустили одновременно. Она была высокого роста, стыдясь которого, сгибалась до горбатости и потому всегда смотрела вниз, на ноги. Ноги ее, длинные, с большими ступнями, шагали удивительно осторожно и тихо: казалось, она выбирает место для каждого следующего шага, боясь ступить в чужую пядь земли. Глядя, как она ходит, казалось, что специально для нее кто-то расчертил землю на невидимые для окружающих квадраты, пометив те, по которым пройдет ее путь. А если к тому же учесть, что она несколько пружинила при ходьбе, воображение дорисовывало детские классики, из которых она так и не вышла. Клетка-класс, клетка-класс — и никакой страты не предусматривалось ее осторожной расчетливостью. Судьба ей не помогла выйти из расчерченной в клеточку тетради жизни.

С жизнью, которая ей не улыбалась, у нее была полная взаимность, ибо никто никогда не видел ее улыбки. Сжатый в дудочку рот напоминал рот ребенка, сосредоточенного в каком-то мастеровом усилии. И неудивительно, она действительно была большой мастерицей. Мастерицей кукол. Это была ее профессия, ее жизнь. Каждая выходящая из ее рук кукла была произведением искусства и отождествлялась, вероятно, с ребенком, которого у нее никогда не было.

Кукольницей ее звал весь двор. Примечательны были руки Кукольницы. Длинные, красивые, проворные и ловкие ее руки были всегда в движении. Они всегда что-либо вязали, завязывали или развязывали, шили, штопали, пришивали; кроили, расчесывали, рисовали, разглаживали, клеили, резали, соединяли или измеряли. Это были красивые руки, знающие себе цену и не стесняющиеся при возможности, демонстрировать свою гордую принадлежность к мастеровому люду. Руки эти за нее общались, привлекая к себе внимание, находя общий язык с такими же мастеровыми вокруг себя. Руки были ее крыльями, ее душой, ее характером одинокого труженика, довольного собой и своей судьбой.

С этих рук и началось мое знакомство с Кукольницей. Она сидела во дворе, никого не замечая вокруг, и делала куклу. Я, завороженная движением ее рук, остановилась и стала наблюдать за этим трудом. На моих глазах рождалась кукла. Появлялись конечности, голова в результате едва уловимого движения вдруг заулыбалась пуговицами-глазками. Волосы из торчавших щетинок превратились в чудные золотистые локоны. Розовое платьице, аккуратно продетое через великолепную головку, завершило облик красавицы куклы. Незаметным движением сжатых губ Кукольница удовлетворенно отметила конец своей работы, причмокнула и хотела уйти, как вдруг заметила меня — розовощекую живую девочку в черных кудряшках. Она смущенно улыбнулась мне глазами, грустно вздохнула и протянула мне только что вышедшую из ее рук куклу.

Я покачала головой и, спрятав руки за спину, виновато улыбнулась Кукольнице. Она тоже покачала головой и положила куклу мне на колени. Молча я придержала ее руками и неожиданно для себя самой прижала куклу к себе в знак принятия ее и благодарности. Тогда Кукольница облегченно вздохнула, вынула из своего кармана крохотные розовые туфельки и надела их сама на куклины ножки. Затем она встала, погладила меня по головке и молча ушла, оставив меня наедине с произведением ее искусства. Кукла была моей! Я ее гладила, обнимала, целовала; я ей улыбалась, лаская ее молча, как это делала Кукольница.

С тех пор я выходила во двор только тогда, когда видела Кукольницу, работающую во дворе. Мне никогда не надоедало сидеть молча напротив нее и наблюдать рождение новых кукол.

Ее труд был бесконечным, фантазия неиссякаемой, терпение и кропотливость редкими. Она никогда не разговаривала. Ее молчаливость передалась мне, и я из веселой хохотушки превращалась в эти часы общения с мастерицей в серьезную, задумчивую молчушку. Я так привыкла к нашему взаимному молчанию, что даже не замечала этого. Иногда мы переглядывались, и тогда она дарила мне тепло своих неулыбающихся глаз и невысказанную ласку сжатых в трубочку губ. В эти минуты она теряла в моих глазах свою рыжесть, косость, нескладность и превращалась в чудесную фею, сидящую на подушках облаков и спускающую на разноцветных ленточках на землю свои куклы. Куклы, которыми населялся мой мир, которыми заполнялись все полки в квартире; которых я кормила, учила читать, баюкала, одевала и переодевала, рассказывая им сказки о чудесной Кукольнице. Кукол у меня было столько, сколько было бы достаточно для всех девочек моего родного города. Несмотря на их множество, я отличала кукол по именам, по облику, по характеру, которыми их наделяли Кукольница и я. Кукольница щедро награждала меня за мою привязанность к ней, которая становилась глубоко взаимной. Я скучала по своей Кукольнице, когда в дни болезни лишалась возможности бывать на улице.

Как же я была однажды вознаграждена, когда увидела в проеме распахнутых настежь дверей свою Кукольницу, смущенно спрашивавшую разрешения войти, чтобы проведать меня. Все понимающая моя мама кивнула ей приветливо, ввела ее в наш дом, усадила за стол и принялась хлопотать на кухне, чтобы напоить гостью чаем. Кукольница пила чай и поглядывала на меня, потом ступила в квадрат моей комнаты, расширила этот квадрат своим присутствием и, в свою очередь, угостила меня своей новой куклой — необычайно маленькой, крохотной. Эта куколка пряталась в моем кулачке, щекотала мне пальцы и мое воображение. У нее были мои волосы-кудряшки, мои смеющиеся глаза, мои ямочки на щеках и мое пушистое белое платьице с голубой ленточкой на талии. С этой куклой в кулачке я никогда не расставалась. Это был уменьшенный вариант меня, вероятно, на этой голубой ленточке когда-то спущенный с неба

и доставшийся моей маме в момент, когда она ждала восьмого ребенка. Эта голубая ленточка — моя вторая пуповина, способствовавшая моему выживанию в последующие годы войны и хранившая меня в равновесии в различных жизненных бурях и вулканических душевных взрывах. Любовь Кукольницы ко мне и моя привязанность к ней могли соревноваться по накалу чувств только с материнской привязанностью, что не могло не пройти незамеченным для моей мамы. Однажды, когда я возвратилась с прогулки с моим старшим братом, я увидела их двоих, беседующих у нас в зале, на диване. Глаза у обеих женщин были влажными. Я кинулась к ним, остановилась в замешательстве, затем бросилась в мамины колени и тоже стала плакать. Кукольница встала и направилась к выходу. Тогда я догнала ее и поцеловала ее прекрасные руки, вмиг перемещенные на мою голову и застывшие там, как будто достигнув своей цели. Я положила на них свои руки и почувствовала, что на них капают слезы Кукольницы. Я долго не отнимала рук, боясь спугнуть Кукольницу-фею, способную уйти назад в свои пушистые облака-подушки. В этот момент я почувствовала себя маленькой девочкой-куклой, которую Кукольница захотела забрать у мамы в свой дом. Я поняла тревогу моей дорогой мамы.

С этого времени мои свидания с Кукольницей резко сократились. Больше она не заходила к нам. Наступила зима. Она работала дома, и мне не разрешали к ней ходить. Помню только, как однажды моя мама нарядила меня и сказала, что мы пойдем к Кукольнице, чтобы поздравить ее с днем рождения. Мама испекла пирог, я нарисовала куклу, и мы пошли. Она приняла нас ласково, но очень сдержанно смотрела на меня. Ее глаза были печальнее, чем всегда, и только губы трубочкой выдавали ко мне притяжение. Мы сидели недолго. На прощание мама пожелала ей счастья и сказала: «Пусть Бог даст и тебе детей, и тогда ты поймешь меня».

Бог не дал ей детей. Началась война. Наш дом разрушился от бомбежки. Куклы навсегда погребены под его развалинами. Мы ушли от войны, а Кукольница осталась. Она добровольно ушла в гетто, выбрав себе национальность, соответствующую ей зону смерти и вид смерти.

Она и в гетто шила куклы уходящим из жизни детям. Шила молча, раздавала их плача и осторожно шагала своими большими ногами по этой расчерченной на квадраты-зоны ненавистной земле, боясь ступить в свой последний квадрат раньше, чем в гетто останется хотя бы один живой ребенок. А когда вовсе не стало в гетто детей, она взяла за руку свою последнюю тряпичную куклу и шагнула осторожно, как всегда, без страты, в свою последнюю клетку, клетку газовой камеры.

Куклу она все-таки успела в последний миг выбросить за железную дверь, на снежный простор мертвой зоны.

А вдруг она еще кому-нибудь пригодится, эта последняя кукла последней на земле Кукольницы?

Никогда больше в моей жизни я не имела кукол, не знала кукольниц, не видела спускающихся с облаков на ярких лентах фей; это все осталось атрибутами детства, ушедшего от меня навсегда.

Судьба продолжила мое детство без детства отрывочно, разместив его все в те же квадратики расчерченной в клетку тетради, где эпизоды моего детства по сей день сидят за перегородками клеток, как в калейдоскопе, и не могут соединиться и составить единое целое. Вот почему мои воспоминания отрывочны и составляют лоскутки сшитого из лат одеяла моей жизни, призванного согреть меня в момент последнего вздоха.

Во много таких клеток мне еще не удалось заглянуть и вытащить эти воспоминания на свет моей памяти.



Елизавета ПОЛЕЕС

Быть женщиной

Настроение

1

Просто смотреть на бегущую воду
День или два, или месяц, иль годы.
Просто смотреть и не думать о том,
Что было раньше, что будет потом —

Через секунду, минуту, столетье:
Песню ли счастья нашепчет мне ветер,
Злая ли туча прольется дождем,
Аист ли в небе помашет крылом?..

Что будет завтра — да кто угадает?
Тихо вода, словно жизнь, убегает…

2

Помолчи, луна-разлучница,
И о том не говори,
Как устало сердце мучиться
От заката до зари.

Помолчи, луна-печальница.
Диск твой — плаха иль костер?
Это ж надо — так отчаяться,
Чтобы душу — под топор!

Помолчи, а утром ясное
Снова солнышко взойдет.
Жизнь — она всегда прекрасная.
Лишь порой наоборот.

3

За это прекрасное лето,
За лето прекрасное

Плачу неразменной монетой
И бывшею сказкою.

За этот ручей и каналы,
За белое облако
Я душу слегка растоптала
И спрятала в войлоке.

Пускай отдохнет и наплачется
В покое таинственном.
Жизнь — слезы, любовь и чудачества.
И выбор — единственный.

Просто прощание…

1

Ну и что? Была любовь? —
было, было…
А теперь — прошла любовь,
стала былью.

Ждать не надо вновь и вновь
новой встречи...
Помнит бешеная кровь,
помнят плечи,

помнит каждый нерв больной,
сердце, голос,
помнит ветер шебутной,
взбивший волос,

прядь взметнувший к облакам,
к небосводу, —
как струились по губам
капли меда,

как зари вечерней сок
плыл по венам…
Ну, прощай, мой голубок —
самый верный…

2

Просто прощание. Просто разлука.
Трачены молью и чувства, и звуки.

Просто не созданы мы друг для друга:
чуточку нежности, капля испуга,

разности разной намешана горка…
Было вдвоем нам и сладко, и горько.

Было тепло. Только самую малость.
Ах, не случилось и не состоялось

вместе прожить нам недолгую вечность.
Вот остановка. Сойдем на конечной.

3

Нет, мы не повинны, конечно, с тобою:
Так звезды сложились и солнце с луною,
Так встали планеты в шеренгу беспечно.
А мы — не планеты, а мы — человечки.

И там, среди звезд, на места наши — вето.
Мы бродим в потемках по белому свету,
По разным углам — мы уже не знакомы,
И ветер гуляет в заброшенном доме.

* * *

На каком-то этапе, каком-то этапе заклятом,
Мы сплелись,
 словно два обожженных веками пространства.
Но я слышала голос, ко мне доходящий сквозь вату,
О своем, о земном назначении — непостоянстве.

На какой-то волне, на какой-то волне укачало,
И приснилось, что все — и легко, и светло, и хранимо.
Но качнулась волна — и смешались концы и начала,
И опять пронеслось мимо счастье житейское,
                                        мимо.

Разве ведает жизнь, что заставит ее повернуться
И куда ей придется идти, и путями какими?
А была ли любовь, если вправду назад оглянуться?
О, у слова «любовь»
                    бесконечно коварное имя…

Банальное

А впрочем, не пиши совсем
Ни писем, ни стихов.
Мы попрощались ровно в семь.
Ушел — и был таков!

Растаял не во тьме веков —
В дней дымке голубой.
И — ни цепей, и ни оков,
Связующих с тобой.

Ты счастлив?.. Нет?..
Но чем-то жив —
Хотя и без огня…
Последней капелькою лжи,
Мой враг, согрей меня...

* * *

Любовью раненый —
Хоть слишком позднею…
Глаза — не странно ли? —
Читаешь звездные.

Глаза любимые —
В них столько бедствия!
И годы зимние,
И боль — наследство их.

О нет, не спрашивай,
Про беды разные,
И было ль страшно им,
Когда опаздывал?

Как дни тасуются!
Как жизнь смешала все!
Что было суетным,
Ушло… не жалуйся,

Прими как должное,
Без осторожности,
Любовь возможную.
И — невозможную…

Быть женщиной

Быть женщиной — и значит, быть актрисой,
В любой момент идти на компромиссы,
Играть — и страстно, и самозабвенно.
И жить в плену.
                    И воспарить над пленом.

Игрушкой быть и игроком — все вместе.
Задорно врать и много сеять лести…

Иначе —
ей не выжить в битвах грозных…
Такая вот, увы, у жизни проза…

По русским пословицам

Во пиру чужом похмеляться, пить —
Все равно для всех нелюбимым быть.

Ибо пир — не твой и расклад не тот.
Да и на пирог зря раскроешь рот,

Если крошек горсть иль собачья кость —
Все врагов твоих вызывает злость

Или зависть, что, впрочем, все равно…
Нелюбви не пей горькое вино.

Новогоднее

Этой любви драгоценное чудо
В наших сердцах появилось откуда?

Может, из нежности? Может, из взгляда?
Может быть, просто — из снегопада?

Не разобраться в причудах природы:
Только вчера так хотелось свободы,

Только вчера были тесными клетки.
Но… зашептали волшебные ветры,

Кто-то гирлянды на елке развесил,
Где-то проснулась негромкая песня…

Впрочем, для радости надо так мало:
Глупое слово да сказки начало.





Екатерина КАРПОВИЧ

Марсель

Рассказ

— Сегодня юго-восточный ветер, — тихо произнес старик и, повернув голову, попытался заглянуть в лицо Аннет, но она шла позади него, и он лишь спиной чувствовал ее медленные шаги. — Оставь меня посидеть здесь, на холме. Прошу тебя.

Аннет замедлила шаг и в замешательстве остановилась, все еще держась за ручки коляски, затем отпустила и произнесла:

— Хорошо. Я скоро вернусь.

Старик, все так же глядя в сторону, слушал ее шаги, пока они не растворились в утреннем шепоте деревьев.

Он сидел на вершине холма, и позади него был лиственный лес, где обычно сиделки гуляли с постояльцами пансионата. Стояло прохладное летнее утро, наполненное шелковым светом, и Марсель сделал осторожный вдох.

— Корица, апельсиновая цедра, анис, — зашептал он, прикрыв глаза. — Должно быть, в таверне сегодня затеяли делать анисовое печенье, да вот только переборщили с корицей, это я даже отсюда чую. — Старик удовлетворенно улыбнулся. — А здесь чего? — Он с любопытством повернул голову влево и сделал медленный вдох. — Boef bourgignon?..[1] Похоже на то, судя по сладковатому запаху говядины. Кхм, хороший выбор бургундского вина, должно быть, сегодня к кому-то едут долгожданные гости.

Старик на несколько мгновений затих, словно погрузился в далекие воспоминания. Затем фыркнул, подавшись вперед:

— Луковый суп! И как он им не наскучил?..

Несмотря на ворчание, на лице его играла улыбка, словно он очутился дома после долгого путешествия.

Однако минуту спустя вздохнул.

— Кофе, настоящий итальянский эспрессо с привкусом миланских улиц! Чудный напиток...

Старик открыл глаза и откинулся на спинку коляски. Из-под седых бровей смотрели его бледно-голубые глаза; впрочем, все, кто знал его в молодости, утверждали, что цвет его глаз менялся в зависимости от настроения. Черты лица его могли бы показаться мягкими, если бы не крупный орлиный нос, с которым удивительно сочетались приподнятые домиком брови.

Сейчас он глядел вперед: перед ним открывался незамысловатый пейзаж нормандского городка с его традиционными невысокими домишками, увитыми плющом и виноградом, извилистыми улочками и цветниками. Утреннее солнце отражалось в полупрозрачной дымке, зависшей в низине, и окрашивало ее в тон… Старик на мгновение задумался, затем воскликнул:

---

[1] Бифбургиньон, или говядина по-бургундски — мясо, запеченное в бургундском вине.

— Крем-брюле!

Довольный своим гастрономическим эпитетом, он вдохнул прохладу полной грудью и прикрыл глаза. Среди шороха листвы снова послышались шаги: это приближалась Аннет.

— Дорогая Аннет! — оживился старик. Я знаю почти наверняка, что ты мне скажешь, mais onnerisquerien à essayer[1]. Не будешь ли ты так добра принести чашку эспрессо из кафе «Милано»?

Аннет, молодая француженка лет двадцати пяти, лишь со вздохом покачала головой.

— Марсель, вы же знаете, что это запрещено правилами пансиона. Я не могу. — Виновато взглянув на старика, она добавила: — Нам пора возвращаться.

Взявшись за ручки коляски, она развернула ее и покатила по тропинке в сторону леса. Постепенно их силуэты скрылись за деревьями, и доносился только веселый голос старика:

— Да брось! Для меня ведь этот кофе как глоток средиземноморского бриза!..

Постепенно голоса растворились, а дымка цвета крем-брюле начала потихоньку таять под лучами восходящего над городком солнца.

* * *

Жюльен, высокий долговязый студент из Сорбонны, уже отъехал от Парижа километров на пятьдесят к западу, и дорога казалась ему утомительной. Бесконечные банлье[2] закончились, и потянулась вереница деревень, напоминавших ему о том месте, где он вырос: крохотный городок близ Нанси, окруженный лесами и полями. Кому угодно могло быть скучно в нем, только не Жюльену: он обожал природу и ее дары. Летом он не мог дождаться, когда родители возьмут его с собой в лес или на рыбалку. Втайне от взрослых он разговаривал с ягодами и грибами, словно они все понимали; впрочем, тогда он верил, что именно так оно и было. Но особенное волшебство Жюльен ощущал во всем, что касалось приготовления запасов на зиму: зачарованный, он наблюдал за тем, как сушат грибы, перебирают краснощекую землянику, отжимают виноград… В такие дни из кухни доносились безумные ароматы грибов и ягод, которые у него на глазах превращались в излюбленные зимние лакомства. Насколько мог, Жюльен старался участвовать в этом процессе, несмотря на насмешки сестер. И так же, как он втайне разговаривал с ягодами в лесу, он мог подолгу просиживать в кладовой и, словно завороженный, разглядывать банки с соленьями и вареньями. Ему казалось, что каждая из них мерцает по-своему, словно в них заключены маленькие живые огоньки…

С тех пор прошло много времени, и в лесные сказки он не верил, но и жизнь в столице становилась для него все более невыносимой. Особенно тяжело далась ему последняя неделя: погода стояла пасмурная, хоть и теплая. Дожди шли редко, и Париж погрузился в душное серое облако пыли. Усталые горожане по утрам спешили попасть в кондиционированные офисы, а вечером — в свои тесные дорогостоящие квартирки.

---

[1] Попытка не пытка (*франц.*).

[2] Banlieue (*франц.*) — пригород.

Аудитории университета Пари Декарт V[1], где учился Жюльен, были наполнены прохладой и запахом старого дерева, и это — как и то, что он наконец, сдал все экзамены первого года обучения, — приносило ему иллюзию успокоения. В том, что это было лишь иллюзией, он не сомневался: здесь можно было спрятаться от городского шума и пыли, но его собственное отчаяние только усиливалось. Международное право разочаровало его еще в первом семестре: то, что со школьной скамьи казалось Жюльену сердцем справедливости, в стенах университета обернулось чередой скучных занятий с бесконечными перечнями пунктов и подпунктов в законодательстве. Поначалу молодой человек, как и многие студенты Сорбонны, уповал на то, что ему сложно привыкнуть к столичной жизни, столь отличавшейся от его детства, проведенного у берегов речушки Мозель[2]. Эти трудности действительно были: поначалу Париж пугал его, но Жюльен не стеснялся ни своего лотарингского выговора, ни простодушного характера, и со временем у него появились приятели.

Но со временем он начал сомневаться в своем выборе университета. Право казалось ему все менее интересным, и вскоре он не мог без мучений садиться за учебники. В последнее время он постоянно ощущал себя «не на своем месте», но где то самое свое место, он не знал.

Чтобы отвлечься от мыслей, он окинул взглядом других пассажиров автобуса. Их было немного: несколько мужчин читали газеты, две пожилые дамы болтали о политике, а неподалеку от него сидела молодая женщина с детьми. По правде сказать, Жюльен был рад тому, что не встретил здесь других студентов: ему хотелось отключиться от всего, что связано с университетской жизнью. Он не ждал, что предстоящая работа будет легкой, но это был хороший шанс отдохнуть от городской суеты, родительской критики и заработать немного денег на обучение в следующем году.

Пансионат «Тихий берег» находился в 120 км от Парижа. Из того, что узнал Жюльен в университетской службе занятости, были ясны две вещи. Во-первых, в пансионате в основном проживали старики, у которых были проблемы с памятью, что значительно затрудняло их самообслуживание. Во-вторых, студентам были всегда рады, правда, платили совсем мало, но предоставляли хорошие условия для жизни: одну из комнат пансионата и питание. Сам пансионат располагался в живописном городке на берегу Сены в Верхней Нормандии, и в своем воображении Жюльен уже рисовал лесные прогулки, по которым он так соскучился…

Незаметно для себя он задремал и открыл глаза, только когда ощутил, что автобус остановился. Встрепенувшись, Жюльен схватил свой рюкзак, дорожную сумку и поспешил покинуть автобус.

* * *

Пансионат стоял на холме, и чтобы взобраться туда со своими вещами, Жюльену пришлось попотеть. Наконец, остановившись у широкого каменного крыльца, он с облегчением поставил сумку на скамью и позвонил в дверь.

---

[1] Один из тринадцати современных университетов Сорбонны. Основным факультетом является медицинский, но также имеются и факультеты права, гуманитарных наук, математики и др.

[2] Река во Франции, Люксембурге и Германии, левый приток Рейна.

Его вышла встретить хозяйка пансионата — строгая мадам лет пятидесяти, подтянутая и жилистая, в надетом поверх черного платья белом халате.

— Меня зовут доктор Байу, — она пожала молодому человеку руку. — Мы вас ждали, проходите. — Она посторонилась, позволяя ему войти, после чего указала на лестницу в дальнем конце коридора: — Нам сюда.

Жюльен поспешил за ней. Доктор Байу отвела его на третий этаж и остановилась у двери в комнату возле лестницы.

— Здесь вы будете жить, — коротко проговорила она, отворяя дверь ключом. — Оставьте свои вещи и проходите в столовую — у нас сейчас обед. Сразу после него я жду вас в своем кабинете на втором этаже.

С этими словами она развернулась на каблуках и удалилась.

Жюльен оглядел комнату: она была маленькой, но довольно уютной. Справа от окна стояла кровать, а слева, напротив нее, небольшой письменный стол, еще левее от него — шкаф темного дерева. Обстановка была скромной, но Жюльен не стал обращать на это внимания — он смотрел в окно. Пансионат стоял на холме, и из окна открывался чарующий вид: в самом городке было не больше десятка улиц, и домики казались отсюда кукольными; в центре, на площади, стояла каменная церковь, а совсем вдалеке, у горизонта, серебряной змеей вилась река.

Жюльен мгновенно позабыл о душных столичных кварталах, насвистывая веселую песенку, он бросил вещи в комнате и помчался вниз, в столовую, едва сдерживаясь, чтобы не прокатиться по перилам.

Столовая представляла собой светлый зал с застекленной верандой и несколькими картинами местных пейзажей. Там размещалось несколько столиков, часть из которых сейчас была занята постояльцами. В большинстве своем это люди старше шестидесяти, нескольких из них кормили сиделки, остальные обедали самостоятельно. Жюльен удивился, заметив, что большинство из них выглядят довольно здоровыми пожилыми людьми.

Пока он осматривался, к нему подошла одна из сиделок, высокая молодая брюнетка с приветливым взглядом.

— Bonjour, je suis Annet[1], — она едва уловимо улыбнулась. — Вы, должно быть, студент из Сорбонны?

Жюльен кивнул. Он был приятно обескуражен, заметив в ее речи легкий лотарингский акцент.

— Пройдемте, я покажу вам, где обедает персонал, — сказала Аннет, а затем проводила его на веранду, где за столиками сидели еще несколько женщин. Они коротко поздоровались с ним и вскоре ушли.

Когда Жюльен заканчивал трапезу, к нему подошел, тяжело опираясь на трость, один из стариков-постояльцев с густой седой шевелюрой и выдающимся горбатым носом. Он внимательно оглядел Жюльена, крякнул и неспешно опустился на соседний стул.

— Знаешь, парень, что за вкус у этой еды? — помолчав, спросил он у Жюльена.

Тот вопросительно поднял брови:

— Простите, месье?..

— Вкус пансионата «Тихий берег», — совершенно серьезно продолжил старик. Кивнув в сторону тарелки юноши, он добавил: — Сколько ее ни ешь, все равно остаешься здесь.

---

[1] Добрый день, я Аннет (*франц.*).

Жюльен недоуменно посмотрел на свой суп, который выглядел вполне обычно. На какое-то время он замешкался, затем, наконец, спросил старика:

— А вы, вероятно, не хотели бы здесь оставаться?

Тот немного погодя ответил:

— Видишь ли, парень, дело вовсе не в том, что мне не нравится это место — нет, оно не хуже других, даже лучше: одна только утренняя дымка над городом чего стоит!.. Но, видишь ли, здесь какая-то заколдованная еда: она не оставляет никаких впечатлений.

Жюльен прислушался к своим ощущениям от рыбного супа.

— И правда, как-то пресно, — согласился он.

Старик хлопнул себя по коленке, расхохотался, а отсмеявшись, протянул юноше руку.

— Марсель, — улыбаясь, сказал он.

— Жюльен, — парень ответил на приветствие.

Старик снова засмеялся:

— Ну что ж, Жюльен — это немного лучше, чем Оливье, по крайней мере, русские не называют твоим именем фарш из гороха и колбасы, заправленный майонезом!

Теперь рассмеялся Жюльен.

Марсель еще раз окинул его взглядом своих светло-голубых глаз.

— Ты, парень, должно быть, решил, что я ляпнул какую-то несуразицу по поводу еды, у которой вкус пансионата, а?

Жюльен немного смутился.

— Честно говоря, месье, я просто не совсем понял, о чем вы.

— Я так и подумал, — произнес старик и вдруг заговорщицки понизил голос до шепота: — Я мог бы рассказать тебе историю о тех временах, когда каждый день отправлялся в разные города и страны, да еще и с собой кого-нибудь прихватывал в путешествие. Интересно?

Жюльен кивнул.

— Но, — старик приподнял указательный палец, — такие истории лучше всего рассказывать за чашкой настоящего кофе, а не тех помоев, что подают здесь. — Он кивнул на поднос, где стояли стаканы с напитком из корня цикория, который в пансионате заменял кофе. — Согласен?

Жюльен помедлил, но потом все же кивнул.

— Здесь, в городке, есть кафе «Милано», но если ты думаешь, что я попрошу тебя меня туда сводить, нет, об этом я даже не мечтаю. — Старик вздохнул. — Хотя иногда, знаешь ли, хочется скатиться с этого холма ко всем чертям. — Он поморщился, одновременно сверкнув озорной улыбкой. — В общем, парень, когда захочешь услышать от меня дюжину интересных историй, принеси две чашки ароматного эспрессо оттуда, да так, чтобы он не успел остыть, и заходи ко мне в комнату 204. Идет?

Жюльен согласился. В конце концов, что такого в чашке кофе?

— Parfait![1] — удовлетворенно крякнул старик и поднялся со стула, опираясь на свою трость. Через несколько мгновений к нему подошла Аннет, чтобы помочь добраться до лифта. Помогая старику опереться, она бросила через плечо встревоженный взгляд на Жюльена. Тот приветливо и немного смущенно улыбнулся, как бы давая понять — старик, конечно, чудаковат, но все в порядке.

---

[1] Отлично *(франц.)*.

Покончив с обедом, Жюльен, следуя указаниям мадам Байу, поднялся в ее кабинет. Когда парень вошел, она сидела за большим столом и внимательно вглядывалась в широкий монитор.

— Ах, вот и вы, — отрывисто произнесла она. — Как пообедали?

Жюльен чуть было не хихикнул, вспомнив свой диалог со стариком.

— Спасибо, мадам, хорошо.

— Прекрасно. Тогда я хотела бы рассказать о ваших обязанностях, к которым вы приступите с завтрашнего утра.

И она в своей строгой и содержательной манере описала все, что он будет делать: прогулки с постояльцами пансионата, помощь в уборке комнат, уход за садом и выполнение «посыльных» поручений по доставке мелочей из ближайшего города в пансионат.

— Поскольку пансионат работает семь дней в неделю, вам придется немного подстроится под этот распорядок: будете работать с понедельника по пятницу по шесть часов в день, в субботу пять[1], а в воскресенье отдыхать. Идет?

Жюльен кивнул. Мадам Байу протянула ему несколько бумаг:

— Заполните вот это.

Когда он закончил с документами, директор просмотрела их своим сосредоточенным взглядом и отложила. Вздохнув, она вдруг сняла очки и некоторое время вертела их в руках, о чем-то размышляя. Затем подняла глаза на Жюльена — они показались ему большими, почти совиными, и немного уставшими.

— Вот что, Жюльен, — сказала она более мягко. — Все эти старики в большинстве своем либо страдают от болезни Альцгеймера, либо от последствий других неврологических заболеваний, вызвавших у них трудности с памятью. Эти расстройства порой принимают самые причудливые формы: некоторые начинают страдать забывчивостью и с каждым днем становятся все более рассеянными, пока, наконец, не перестают быть способными ухаживать за собой. Другие помнят свою жизнь в деталях до какого-то момента, а после напрочь утрачивают способность запоминать — так что приготовьтесь к тому, что вам придется десятки раз объяснять им, кто вы такой. Третьи помнят что-то урывками, а недостающие факты порой додумывают, пребывая в полной уверенности, что так оно и было. Поэтому, — она снова вздохнула, — относитесь к ним, как к детям, даже если некоторые будут создавать у вас впечатление практически здоровых взрослых людей. Всем им нужна помощь, без которой они не могут обходиться. Иначе бы они здесь не оказались.

Жюльен снова кивнул:

— Да, мадам Байу.

Она еще немного помолчала, рассматривая свои очки, затем надела их и, блеснув стеклами, коротко сказала:

— Ну что ж, в рабочее время вы сможете найти меня здесь, если вдруг возникнут вопросы. А пока можете идти.

Жюльен попрощался с ней и, прикрыв за собой дверь, некоторое время постоял, а затем осознал — mon Dieu, у него еще целых полдня! — и помчался наверх, в свою комнату: ему не терпелось переодеться и выбраться в город.

[1] Во Франции рабочая неделя составляет 35 часов.

* * *

Одна из улочек, ведущих от пансионата, ширилась и обрастала домиками и магазинчиками по мере того как Жюльен приближался к центральной площади. Стояла прохладная и немного сырая летняя погода, солнце светило тускло, словно сквозь дымчатый витраж лотарингской церквушки, в которую его водила мать в детстве. Жюльен был доволен: он предвкушал лето, полное простых, незамысловатых действий, прогулок, наблюдений за жизнью… Ему так не хватало этого в потоке парижской суеты, где он целыми днями носился между общежитием и университетом.

Сейчас он шел, ощущая каждый свой шаг, испытывая удовольствие от возможности разглядывать улицы этого маленького нормандского городка. Здесь было много старых домиков из деревянных балок с белой штукатуркой, которые немцы называют «фахверк»[1]. Почти все домики имели при себе небольшой садовый участок со множеством деревьев и цветников. На некоторых домах имелись вывески, приглашающие горожан заглянуть в магазин домашнего сыра или вина: очевидно, хозяева таких домов вели семейный бизнес.

Наконец Жюльен очутился в самом сердце городка, на центральной площади, посреди которой стояла церковь — простая, из серого камня, с ухоженным двориком вокруг нее. Жюльен, немного помедлив, поднялся по ступеням паперти.

До тех пор, пока он жил с родителями, они регулярно ходили в церковь по воскресеньям, но после того, как он поступил в Сорбонну, у него не оставалось на это времени: до обеда в воскресенье он отсыпался, а после обеда начинал готовиться к занятиям в понедельник. Вдруг его осенило: в Париже, в городе сотен церквей, он побывал лишь в Нотр-Дам и Сакр-Кер, куда попал вместе со студенческими экскурсиями. Он вспомнил свои впечатления: ему понравились тяжелые башни Нотр-Дам и светлый простор Сакр-Кер, но в обеих церквях было столько людей, что ощущение ярмарочной толчеи заглушало любые религиозные чувства.

Небольшая нормандская церковь, что стояла сейчас перед ним, имела одну остроконечную часовню, как принято строить скорее в Швейцарии. В то же время парадную стену центрального нефа украшала огромная витражная розетка со вставками из цветного стекла, так что Жюльену сразу же захотелось взглянуть, как свет проникает в церковь сквозь нее.

С трудом потянув на себя массивную деревянную дверь, он вошел. Когда дверь закрылась за ним, отрезав дневной свет с улицы, Жюльену показалось, что церковь погружена в полумрак; но спустя минуту его глаза привыкли, и он увидел, что, несмотря на пасмурную погоду, здесь светло, как будто церковь наполнена внутренним светом. Жюльен медленно прошел по центральному нефу, и его шаги гулко отзывались в тишине. В церкви никого не было. Он оглянулся, чтобы полюбоваться мягким светом, струившимся сквозь розетку. Лучи, проходя через стеклышки витража, окрашивались в зеленоватые и синеватые оттенки; приглядевшись, Жюльен даже смог заметить пылинки, что кружились высоко над его головой.

Жюльен присел на скамью, чтобы немного поразмышлять в тишине.

---

[1] Fachwerk (*нем.*) — немецкий дом из брусьев со множеством характерных перекладин и белой штукатуркой стен. Фахверковые дома распространены не только в Германии, но и в ряде других европейских стран.

Ему вспомнился старик, который просил у него чашку кофе. Это воспоминание тронуло Жюльена: в конце концов, жителям пансионата запрещали те немногие удовольствия, которые все еще оставались для них доступными. Он вспомнил наказ мадам Байу, и ему стало неприятно при мысли, что час назад, сидя в ее кабинете, он согласно кивал, когда она просила относиться к старикам, как к детям. В то же время он не видел ничего предосудительного в чашке ароматного эспрессо — наоборот, ему казалось, что это было едва ли не его первой обязанностью.

Жюльен вслушался в мягкую, войлочную тишину церкви, пытаясь найти в ней ответ, но церковь молчала.

* * *

Всю следующую неделю Жюльен провел в заботах, осваивая новые обязанности. Они не были сложными: уборка, помощь садовнику, неспешные прогулки с пациентами… Его куратором стала Аннет, с которой он познакомился в свой первый день в столовой пансионата. Выяснилось, что она выросла в небольшом пригороде близ Мец[1] и так же, как и Жюльен, провела детство на берегах Мозели.

В один из вечеров Жюльен застал ее в саду, где Аннет сидела на скамье, держа на руках трехцветную кошку. Та, не переставая мурлыкать, приоткрыла свой желтый глаз.

— Аннет, — окликнул Жюльен девушку, — откуда здесь кошка?

Приблизившись, он сел на скамью и осторожно протянул руку, чтобы тоже погладить пеструю красотку.

— О, ее прикармливает наш Марсель, — ответила Аннет. — Она часто приходит в сад. Ты знаешь Марселя, старика с горбатым носом?..

— Да, да, — сказал Жюльен. — Он показался мне очень дружелюбным. И попросил меня принести ему чашку кофе.

Аннет вздохнула и покачала головой.

— Меня он тоже постоянно просит.

Жюльен не удержался:

— Похоже, что здесь этого нельзя сделать?

— У него болезнь Паркинсона. Мадам Байу говорит, что кофеин может плохо сочетаться с лекарствами, которые он принимает. — Девушка на минуту замолчала, потом добавила: — На самом деле кофе ему не повредит и даже улучшит его самочувствие. Просто в нашем пансионате есть пациенты, которым нельзя кофе, и если кому-то одному разрешать, другие начнут возмущаться. Так это объяснила нам мадам Байу.

— Мадам Байу показалась мне достаточно здравомыслящей и компетентной, — сказал Жюльен.

— Это так, — согласилась Аннет, — но по части дисциплины у нее есть свои «пунктики», которые порой сложно понять.

Несколько минут они молчали, слушая пение птиц и вибрирующее мурлыканье кошки, напоминающее далекий рокот океана.

— Как ее зовут? — Жюльен кивнул в сторону кошки.

— Венеция, — ответила Аннет, и они оба рассмеялись.

---

[1] Мец — официальный административный центр Лотарингии.

* * *

Спустя неделю настала очередь Жюльена сопровождать Марселя во время прогулки. Парень помог старику спуститься с крыльца, усадил его в коляску и медленно покатил в сторону холмов позади пансионата.

Они двигались молча, и только слышно было, как хрустит галька под их ногами и ветер играет в кронах деревьев. Спустя какое-то время Жюльен спросил:

— Я узнал от Аннет, что к нам в сад приходит трехцветная кошка, которую вы кормите. Почему вы назвали ее Венецией?

Старик крякнул в своем кресле и некоторое время молча постукивал себя по носу, словно его самого заинтересовал этот вопрос.

— Много лет назад, парень, когда мне еще не было тридцати, я впервые побывал в Венеции. В самый первый вечер я, словно зачарованный, шагал по набережной Кастелло и не отрывал взгляда от лилового заката, что разливался над городом. Надо сказать, такие закаты никогда не повторялись. Гм, так вот, когда уже начало темнеть, я вдруг увидел следующую картину: из-за угла вынырнула фигура грузной старой итальянки, бранясь, она швырнула что-то в канал и быстро исчезла за тем же углом. Не раздумывая, я бросился к воде, плюхнулся на живот и, испачкав свою выходную рубашку, вытащил полотняный пакет, брошенный старухой. Как я и ожидал, из пакета донесся тоненький, захлебывающийся писк. Позабыв про свою офицерскую форму — в то время я служил в армии ВВС, — я, стоя на коленях посреди набережной, достал трех несчастных котят — это, мой друг, были три котенка не более двух месяцев от роду.

Старик надолго умолк, погрузившись в воспоминания.

— А что стало с ними потом? — не удержался Жюльен.

— О, — откликнулся Марсель, — я был довольно упрямым малым, и несмотря на то, что летчики надо мной изрядно посмеялись, выкармливал котят в течение трех месяцев, пока наши боевые подруги не забрали двух из них. Что стало с третьим котенком — а это была трехцветная кошечка, — я так и не узнал, так как нам пришлось срочно сняться с места и вернутся в Прованс, где локализовалась наша база… — Марсель снова замолчал, потом попросил Жюльена: — Остановись тут.

Они остановились на покатом холме. Сад пансионата остался позади, впереди по тропинке начинался лиственный лес, спускавшийся к самой Сене. Из-за этого леса не было видно реки, и только у линии горизонта ее серебристая широкая лента проступала из-под зеленого покрова.

Марсель откинулся в кресле и запрокинул голову, глядя в небо. Оно было затянуто облаками, но кое-где все же сквозь них пробивались солнечные лучи, отчего воздух казался мягким.

— Вы говорили, что много путешествовали, — осторожно произнес Жюльен.

— О да, — приободрился Марсель. — Как видишь, я служил в летных войсках, а военные всегда много переезжают. И это, если подумать, совсем не то, что путешествовать. Путешествие похоже на приключение, в конце которого ты всегда возвращаешься домой. Я же успел прожить не меньше пятнадцати жизней — по крайней мере, по долгу службы я сменил пятнадцать дислокаций в разных странах. Знаешь, на что похожи эти переезды?.. — Старик втянул носом воздух. — На замки из песка, — наконец сказал он. —

Вот ты приплываешь к новому берегу, и у тебя нет ничего, кроме твоих чемоданов. Ни дома, ни друзей, ни любимой скамейки в парке. Есть только песок, из которого ты все это должен будешь построить. И есть время до следующей волны, которая придет на этот берег и смоет все обратно в море. И тогда ты начинаешь эту новую жизнь: вешаешь на стены свои фотографии, расставляешь книги на полках, знакомишься с соседями, влюбляешься в тенистые аллели, по которым ходишь каждый день на службу… В общем, возводишь башню за башней, делаешь ров, песчаные сады, все как полагается. И ровно в тот миг, когда ты успеешь поверить, что это твоя реальная жизнь, и успеешь привязаться ко всему этому, придет волна и смоет все в океан. И тебе не останется ничего, кроме как собирать старые чемоданы и плыть к другому берегу.

Они помолчали, продолжая углубляться в рощу. Деревья здесь росли ближе, и их шепот стал густым, словно свежий гречишный мед.

— Прокати немного в сторону вон того орешника, — сказал старик, и Жюльен снова начал толкать коляску перед собой.

— Получать новое назначение всегда было для меня словно удар обухом по голове, — пояснил Марсель, когда они поравнялись с зарослями кустарника. — В Бельгии я прожил всего три месяца, а в Буэнос-Айресе — полтора года. И никогда не знал, куда и когда меня отправят в следующий раз.

Жюльен вспомнил лесистые берега Мозели, у которых он вырос.

— Я бы так не смог, — сказал он.

— Почему? — старик с любопытством наклонил голову. Он, конечно, мог предположить, что парень ответит на этот вопрос, но был слишком любопытным, чтобы промолчать.

Жюльен усмехнулся. Он думал об этом в те вечера в Париже, когда крупицы смысла его жизни утекали, словно ртутные шарики из старого градусника, который он разбил, когда ему было четыре.

— Знать, что в любой момент придет волна, и при этом строить замки, *как будто* она никогда не придет — разве это не глупо?..

— Не как будто, а именно поэтому! — резко воскликнул старик. — Что бы ты делал, если бы вдруг оказался на берегу, где нет волн? Где стоит штиль? *Вечный* штиль?..

Жюльен с минуту молчал, затем ответил:

— Наверное, однажды я бы устал. Или мне бы смертельно наскучило строить замки.

Седая шевелюра впереди кивнула.

— А возможно, ты бы разозлился и сам стал волной, — произнес он уже спокойно. — Останови здесь. Недалеко от этого места водятся малиновки, и я люблю за ними наблюдать. Видишь, вон там?..

Жюльен вгляделся в ветви орешника. Две рыжегрудые птички ловко прыгали с ветки на ветку. Деревья плавно качали своими кронами над орешником, медленно дирижируя невидимым оркестром, в музыке которого каждый такт длился не меньше минуты.

— После третьего переезда это проходит, — чуть погодя сказал старик. — Да и в конечном счете я ни капли не жалею о том, что мне приходилось пятнадцать раз кряду начинать жизнь с чистого листа. Я действительно это делал и каждый раз проживал ее по-другому. И да, я встречал тех, кто не начинал жить, потому что в любой момент могла прийти смерть. Мне всегда было жаль этих людей.

Что-то глубоко внутри Жюльена дрогнуло, и он подумал, что именно такой жизни он всегда и боялся.

— А что было после пятнадцатого назначения? — спросил он.

— Новая жизнь, — ответил Марсель. В отражении его глаз мелькнули огоньки: это пламенногрудые малиновки, о чем-то договорившись, вспорхнули и полетели в сторону реки. — Давай-ка прокатимся в сторону города. У нас еще есть час.

* * *

Спустившись с холма, они выехали на одну из улиц-лучей, идущих от центральной площади.

— До «Милано» мы, конечно, не успеем добраться, но здесь рядом есть лавка месье Лаверна, у него можно купить свежайшего молока.

— Молока? — переспросил Жюльен. Позже он многократно прокручивал в памяти воспоминания о Марселе и решил про себя, что реальность начала раздваиваться именно с этого момента.

— Да-да, молока. Молока со вкусом Верхней Нормандии. Повернешь возле той кривой туи.

Гравий зашуршал у них под ногами.

— Итак, после возвращения из Венгрии — это было мое пятнадцатое назначение — я решил открыть собственный ресторан. Мне исполнилось сорок пять, и я решил уйти на пенсию. Мой ресторанчик работал почти двадцать лет! До тех пор, пока эта зловредная болезнь не превратила меня в шаркающего квазимодо, роняющего каждую вторую тарелку из-за тремора. — Он вытянул вперед руки и театрально затряс ими. — И как ты думаешь, где я открыл его?..

— В Марселе? — попробовал угадать Жюльен.

— Ха, слишком просто, — старик взмахнул рукой. — К тому же, в Марселе слишком много туристов, а они вечно портят все своими *сравнениями*. Вот, к примеру, я подаю им *Шарошпатак…*

— Шарошпатак, венгерский город недалеко от границы со Словакией и Украиной. Так вот, я подаю им Шарошпатак, а они начинают сравнивать: дескать, в Северной Италии им понравилось больше, нужно было, на худой конец, заказать черногорский Никшич…

— Стоп, — не выдержал Жюльен. — Что все это…

— Ты прав, пора остановится! Мы пришли. Останови у этой беседки и возьми нам по стаканчику молока, Лаверн знает меня, он поймет.

Месье Лаверн, похожий на небольшой бочонок француз, действительно все понял, налил два стакана молока и наотрез отказался брать деньги. Он вернулся, поставил молоко на стол беседки и помог Марселю пересесть на скамью.

— Вижу, парень, ты привык к определенному положению вещей, — усмехнулся он. — А знаешь, иногда очень полезно допускать, что положение этих самых вещей может быть вполне неопределенным, — старик коварно подмигнул своим голубым глазом и отхлебнул молока из стакана. На минуту он замер, прикрыв глаза и с наслаждением смакуя молоко.

— Так вот, — продолжил он, — ресторан, который я открыл в Авиньоне[1]. В моем меню не было ни одного названия блюда. Супы, салаты, горячие блюда — все шло к черту! Там были только списки городов, в которых я жил

---

[1]Город в Провансе на левом берегу Роны, известен большим количеством церквей и монастырей, а также проведением Всемирного театрального фестиваля.

и в которых мне довелось отведать то или иное блюдо, — а я всегда учился готовить то, что пробовал. Итак, что вы хотите на ужин, месье? Париж или, быть может, Палермо? Как насчет Пуэрто-Рико на десерт?..

Конечно, я подавал им вполне реальные блюда, а не просто булыжники с римских мостовых. Например, для Палермо я чаще всего готовил свежих мидий в томатном соусе, а лучшим десертом Мессины были канолли — божественные трубочки с кремом. Шарошпатак, о котором я говорил, подразумевал под собой венгерский суп бограч.

Жюльен не удержался от вопроса:

— Но почему бы вам было не написать в меню что-то вроде: «каноллипо-мессински»?

Старик фыркнул и расхохотался.

— Потому что это было бы неправдой! Я продавал в своем ресторане отнюдь не трубочки с кремом! Пойми меня правильно, клиенты покупали путешествие в Мессину, в которой они никогда не бывали, а может быть, и не побывают!..

Внезапно он умолк, вглядываясь куда-то вдаль. Жюльен посматривал на него исподтишка: ему нравилось то, с каким пылом Марсель отстаивал свои убеждения, какими бы сказочными они ни казались на самом деле. «Впрочем, кто его знает, какое оно, это *самое дело*?..» — мелькнуло у Жюльена в голове.

— Ты отличный парень, Жюльен, — серьезно заговорил Марсель, по-прежнему не отрываясь от какой-то точки вдали, позабыв про молоко на грубо сколоченном столе. — Ты даже не представляешь, на какие чудеса способен человек, если он в них сначала поверит сам. А я чувствую, что по-настоящему ты мне не веришь. — Старик умолк. — Вот если бы я только мог что-нибудь тебе приготовить…

Жюльену вовсе не хотелось расстраивать старика, но доказывать ему, что на самом деле он верит в волшебные транспортные способности трубочек с кремом, было бессмысленно. По крайней мере, на словах. А вот на деле…

— Кофе, — проговорил Жюльен. — Вы могли самостоятельно приготовить кофе, которое перенесет нас в какой-нибудь город. Нам запрещают приносить сюда готовый кофе, но никто ведь не запрещает приносить ингредиенты?..

Брови Марселя сошлись домиком большие обычного. Некоторое время старик напряженно что-то прикидывал у себя в голове, а затем воскликнул:

— Да ты молоток, Жюльен! Видимо, электричество по моим нейронам бегает уже не так быстро. — И тут же посерьезнел: — Правда, с тебя будут не только ингредиенты, но и джезва со спиртовой горелкой. Сможешь организовать?

Жюльен на некоторое время призадумался, а потом решительно кивнул.

— Ну что ж, — Марсель засучил рукава и энергично потер руки, — тогда за дело!

* * *

Найти медную джезву, как ни странно, оказалось сложнее всего. Спиртовую горелку ему одолжил Лаверн: тот оказался старым другом Марселя, хотя их общение чаще всего сводилось к совместной сосредоточенной молчаливой дегустации горячего молока. Кофейные зерна Жюльену удалось купить в том самом кафе «Милано», о котором столько раз упоминал старик. Впрочем, это

заведение действительно было достойно отдельного посещения: за барной стойкой орудовал бойкий пожилой усатый итальянец, который через фразу со страшным раскатистым акцентом поминал «клятую французскую сырость».

— Чего тебе, парень? — громко спросил он, когда Жюльен вошел.

— Кофе, — начал Жюльен, но прежде чем он успел объяснить, что ему нужны зерна, на барной стойке уже стояла дымящаяся чашка.

— Твоя правда, гарсон, только хороший итальянский кофе победит эту клятую нормандскую сырость! — воскликнул он, отчаянно размахивая рукой с полотенцем — в другой была чашка. — С тебя один евро!

Жюльен взял чашку и попробовал кофе. Тот ему понравился, хоть Жюльен и не был знатоком в кофейном вопросе. Итальянец в это время отвлекся на разговор с официанткой, втолковывая ей что-то на итальянском с такой скоростью, что, казалось, он десять минут вел сплошной обстрел согласными буквами.

Наконец Жюльену удалось воспользоваться паузой.

— Мне очень понравился ваш кофе, — сказал он. — Я могу купить у вас зерен, чтобы приготовить его дома?

— Si, si, si! — восторженно вскричал итальянец. — Ну хоть кому-то тоже не нравится эта клятая французская сырость!..

Итак, джезва по-прежнему оставалась проблемой. Кофе в пансионате был запрещен, а городок был настолько маленьким, что в главном «Каррфуре»[1] можно было разве что обнаружить набор обычных кастрюль и парочку чашек.

После некоторых колебаний Жюльен решил в ближайшее воскресенье отправиться в Руан[2], который находился примерно в двадцати километрах от пансионата. Когда он сказал об этом Марселю, тот сделал вид, что и думать забыл об их уговоре.

— Езжай, тебе виднее, — только и пожал плечами он, глядя куда-то вдаль и продолжая гладить Венецию, которая мурлыкала у него на коленях.

В воскресенье Жюльена ждал сюрприз: на автобусной остановке он встретил Аннет, которая тоже ехала в Руан. В итоге они отправились в путь вместе, и хотя Жюльену вовсе не хотелось рассказывать об истинной цели поездки, он был рад, что у них есть возможность пообщаться вдали от пансионата.

— Я езжу в Руан каждое воскресенье, — призналась Аннет. — Училась там в колледже, и все мои друзья остались в городе.

— А почему уехала ты? — спросил Жюльен.

Аннет молчала. Тот же вопрос она многократно задавала сама себе.

— Впервые я попала в «Тихий берег» два года назад, сразу после практики в колледже. И ты знаешь, мне здесь понравилось. В городе мне пять лет кряду приходилось много работать параллельно с учебой, чтобы себя содержать. В пансионате я работаю меньше, мне не нужно заботиться о жилье и практически ничего не приходится тратить.

— Но, наверное, у тебя остались родственники в Лотарингии?..

Аннет отрицательно покачала головой.

— Тетя, у которой я росла, умерла несколько лет назад, незадолго до моего окончания колледжа. Это к ней я переехала из Мец, когда потеряла родителей.

---

[1] Carrefour (*франц.* — перекресток) — французская сеть розничных магазинов.

[2] Руан — город на северо-западе Франции, историческая столица Нормандии. Известен тем, что 30 мая 1431 года там была сожжена Жанна д’Арк.

— Мне жаль, — Жюльен дотронулся до ее руки. — Теперь я понимаю, почему ты здесь…

Она взглянула на него с недоумением.

— Я и сам быстро устаю от большого города, а ведь мне не приходится работать во время учебы. И я часто вспоминаю Мозель, ее зеленые берега, леса, в которые мы ходили…

Аннет была удивлена и внезапно ухватилась за нить воспоминаний:

— А рислинг? В вашей семье делали вино?..

И всю недолгую дорогу они говорили о детстве, о мягких лесных коврах с бусинками ягод, об утреннем тумане над рекой и запахе мокрого песка, о терпком аромате давленого винограда и прозрачных бутылках рислинга, пока автобус, наконец, не привез их в столицу Нормандии.

Стояло раннее утро. Набережная Сены была безлюдна, и они остановились у моста Жанны д'Арк, чтобы полюбоваться городом. Солнце только начинало свой путь по небосводу, и спокойные воды реки отливали розовым румянцем. Воскресный город сонно, медленно заливался мягкой золотистой дымкой, а солнечный свет отражался от игрушечных окон фахверковых домиков, как от леденцов. Жюльену нравилось думать о том, как этот свет проникает в дома, неровными полосками сквозь шторы и тюль падает на паркет, делая его теплым, неспешно переползает на простыни и, в конце концов, будит спящих руанцев.

Он оторвал взгляд от реки и увидел, что Аннет улыбается, глядя на реку.

— Этот город не похож на Мец, но я люблю его, — сказала она, поймав его взгляд. — Сказать по правде, я бы сюда вернулась.

Они помолчали, слушая крики чаек и шум разгоравшегося дня.

— Прогуляемся? — предложил он. — Я бы хотел увидеть Руанский собор.

Аннет кивнула, и они ступили на мост.

* * *

После поездки в Руан Жюльен спал без задних ног и едва поднялся по звонку будильника в понедельник. Аннет была прекрасным гидом, и они исходили город вдоль и поперек, заглянув в самые неожиданные его уголки. Потом она убежала обедать к своей подруге, а Жюльен потратил оставшееся время на поиски джезвы и специй.

С утра было жарко, и хотя многие постояльцы предпочли вместо прогулки остаться в саду, Марсель, завидев Жюльена, приветственно взмахнул рукой и кивнул в сторону своей коляски:

— Прокати-ка меня, парень, что-то я засиделся на этом тихом берегу!

Жюльен хоть и ждал минуты, когда они смогут поговорить, но все же надеялся, что старик не станет варить кофе прямо сейчас, заставив его разводить костер где-нибудь в роще. Кроме того, он мысленно то и дело возвращался к Аннет: та взяла выходной и осталась еще на день в Руане, а почему — Жюльен не успел у нее узнать.

Гравий по обыкновению шуршал под колесами коляски. Когда они отъехали от пансионата метров на двести в сторону рощи, Марсель сказал:

— По глазам вижу, что все готово. Я прав?

Жюльен кивнул, а потом, спохватившись, что старик сидит к нему спиной, сказал:

— Да, месье.

— Что, не терпится попробовать?

Жюльен немного замешкался.

— Конечно, хотя я пока не знаю, где и когда лучше это сделать.

Марсель поднял ладонь, словно пытаясь предупредить какие-либо сомнения:

— Парень, ты свое дело сделал — разыскал все что надо. Представляю, как это было непросто, особенно с джезвой, — в этот момент старик плутовато улыбнулся, но потом снова посерьезнел. — Предлагаю тебе вместе со всем необходимым прийти ко мне в комнату сегодня за час до полуночи. Все уже будут спать, и нас никто не «засечет», как это говорите вы, юные безумцы.

Жюльен на секунду задумался над значением слова «безумец» накануне испытания транспортных возможностей кофе, но вслух лишь спросил:

— А вы уверены, что чашка кофе перед сном — именно то, что нужно?

Старик звонко рассмеялся, а потом, все еще посмеиваясь, ответил:

— И кто из нас пенсионер в инвалидной коляске?..

Жюльен, конечно, не нашел возражений.

* * *

В половине одиннадцатого Жюльен сидел на кровати в своей комнате и вглядывался в темноту. Где-то вдалеке пророкотал гром. Ветер с силой хлестнул березовыми ветвями по стеклу, и Жюльен поежился.

«Почему мне страшно? — подумал он. — Может, потому, что уехала Аннет? Я до сих пор ее не видел. Mon dieu[1], я уже готов ей все об этом рассказать. А может, я боюсь, что нас поймает мадам Байу и меня лишат жалованья?..»

Он на некоторое время представил эту картинку и поймал себя на том, что она кажется ему какой-то комической: его, взрослого парня, «застукали» за чашкой кофе и с позором лишили жалованья. Ну и дела!

Снова раздался удар грома, на этот раз ближе. Жюльен тряхнул головой, положил в рюкзак заранее подготовленные джезву, горелку и кофе со специями, наконец подошел к двери, как вдруг заметил мечущийся луч света в щели между полом и дверью.

Отложив рюкзак в сторону, он распахнул дверь, и тут же нос к носу столкнулся с мадам Байу. В одной руке она держала фонарь, а в другой — ящичек с инструментами.

Жюльен оторопел — вообще-то мадам Байу жила в Руане и каждое утро около семи часов въезжала в ворота пансионата на своем черном ситроене, а не позднее пяти вечера покидала пансионат.

— Хорошо, что ты не спишь, Жюльен, — спокойно сказала она, не обращая внимания на его замешательство. — Я узнала, что сегодня будет гроза, и решила остаться в пансионате, чтобы помочь санитаркам проверить состояние проводки, а заодно проследить, чтобы пансионат не загорелся. У нас тут уже пару раз начинался пожар, вечно кто-нибудь уронит свечу… Поможешь мне?

Жюльен оторопело кивнул — а что ему оставалось?

Они двинулись по коридору. По левой стороне тянулась вереница окон, и Жюльен лишь сейчас обратил внимание на то, как их много. Время от вре-

[1] Бог ты мой (*франц.*).

мени со стороны реки вспыхивала молния и коридор озарялся всполохами холодного света. Наконец они добрались до электрощита на третьем этаже и выключили нужные тумблеры. Мадам Байу педантично осмотрела электрощит и удовлетворенно кивнула:

— А теперь на второй этаж.

Следующие пятнадцать минут, пока они повторили то же самое на втором и первом этажах, Жюльен едва ли не подпрыгивал от напряжения. Ему все время казалось, что мадам Байу вот-вот повернется на каблуках, поправит очки на носу и скажет: «Итак, мой дорогой Жюльен, не хотите ли угостить меня кофе, приготовленным в медной джезве в этот ненастный час?..»

Жюльен несколько раз моргнул, прогоняя навязчивый образ. Проверив последний щит, мадам Байу повернулась к нему и хотела что-то сказать, но раскатистый удар грома заглушил ее слова. Она терпеливо подождала пару секунд, плотно сжав губы, а потом сказала:

— Ну вот и все, Жюльен, благодарю за помощь. Надеюсь, мы никого не потеряем этой ночью.

В этот момент вспыхнула молния и осветила обескураженное последней фразой выражение лица Жюльена.

— О, — поспешила добавить мадам Байу, — не волнуйтесь, это просто статистика: в нашем пансионате значительная доля сердечных приступов почему-то приходится на ненастную погоду.

Жюльен кивнул и поспешил ретироваться.

«Пока не познакомился с еще какой-нибудь интересной статистикой», — добавил он про себя.

Захватив рюкзак из своей комнаты, он аккуратно спустился на этаж ниже и неслышно толкнул дверь комнаты, в которой проживал Марсель.

* * *

Старик сидел на кровати, похожий на призрак, но даже в синеватой наэлектризованной темноте было видно, что он, улыбаясь, гладит трехцветную кошку, сидящую у него на коленях. Когда Жюльен вошел, старик и кошка одновременно повернулись к нему.

— Закрой дверь изнутри, — сказал Марсель.

— Что здесь делает Венеция?

— Любуется грозой, — серьезно произнес старик. В этот момент кошка зевнула, выражая свое отношение к процессу созерцания.

Внезапно Марсель схватил его за локоть.

— Дальше я сам, — спокойно и уверенно произнес он. — Просто пересади меня к столу так, чтобы я мог до всего дотянуться.

— Но я могу сам заварить, вы только скажите, сколько…

— Нет, — твердо прервал его Марсель, — я понимаю, ты думаешь, это всего лишь чашка кофе, но я должен сделать ее сам.

Жюльен встал слева от старика и помог ему на себя опереться. В темноте они сделали три тяжелых шага к столу, и парень усадил старика на стул.

— Зажги горелку.

Жюльен поправил сухой спирт в горелке и поджег его. Огонь заплясал неровными голубыми язычками.

Марсель кивнул и принялся засыпать зерна в ручную мельницу.

— Откуда она у вас? — удивился Жюльен.

— Храню у себя, чтобы иногда смолоть десяток зерен и просто вдохнуть их запах, — ответил тот.

Две молнии друг за дружкой, словно лезвием, рассекли небо. Буквально через секунду последовал сильный и долгий удар грома.

Дрожь в руках мешала старику пересыпать молотый кофе в джезву, но он упорно не принимал помощь Жюльена. Расплескал добрый стакан воды, пока наливал ее из кувшина, затем начал перебирать зернышки кардамона. Те не хотели его слушаться, но старик упрямо подбирал зернышки по одному, ронял их, снова подбирал и бросал в джезву.

Все было готово, и оставалось только ждать, когда кофе начнет закипать.

Втроем, включая кошку, они сосредоточенно следили за темной жидкостью в медном сосуде. Наконец пена начала потихоньку подниматься к узкому горлышку джезвы. Тогда Марсель поспешно снял ее, выждал полминуты, пока пена осядет, а затем снова дал ей подняться и снова снял до того, как кофе успел закипеть.

Старик волновался, его тремор усилился, и он чуть не опрокинул джезву. Жюльен едва сдержался, чтобы не выхватить ее, опасаясь, что старик обожжется. Но тот, не обращая на него внимания, склонился над напитком и вдыхал его аромат. Небо снова полоснула молния, но когда Марсель поднял глаза на Жюльена, тому показалось, что в них танцуют какие-то свои огоньки.

— Разливай по чашкам, — тихо сказал старик, когда отгремел очередной раскат.

Жюльен послушно взял две чашки с прикроватной тумбочки, поставил их на стол и налил напиток. В этот же момент на улице хлынул дождь, шумно разбиваясь тяжелыми каплями о землю, и запах кофе в комнате смешался с влажным ароматом грозы. С минуту Жюльен просто вдыхал и выдыхал этот острый запах.

— Ну что ж, время пришло, — лукаво улыбнувшись, сказал старик, взяв чашку в руки. — Рекомендую прикрыть глаза, но не слишком спешить их открывать. Венеция, нам пора!

Кофе был вкусным, и парень действительно зажмурился — не то от удовольствия, не то из-за ослепившей его молнии.

Что-то неуловимо изменилось, и когда он открыл глаза, то понял — все.

* * *

Под ногами была каменная кладка, а всего в нескольких шагах начинался канал. Запах грозы все еще чувствовался, и Жюльен оглянулся в поисках грозовых облаков: их не было. Закатное солнце погружалось в город, окрашивая все вокруг в нежно-розовые тона. Слышался тихий плеск волн о набережную.

В его руках по-прежнему находилась чашка кофе.

— Гроза закончилась, — произнес знакомый голос позади него. Жюльен обернулся.

На него с улыбкой смотрел мужчина в военной форме. Уже немолодой, но еще и далеко не старик. Ярко-голубые глаза и орлиный нос подтвердили догадку Жюльена.

— Но как?..

— Погоди, — твердо остановил его мужчина. — Сейчас важно не это. Просто наслаждайся моментом. Можешь потрогать мостовую или искупаться в канале, если хочешь проверить, настоящая ли это Венеция. И не забывай пить кофе.

Жюльен тут же глотнул из чашки, опасаясь, что наваждение исчезнет.

Но оно и не думало исчезать. По набережной прошлась пара пожилых итальянцев, и до изумленного Жюльена донесся их певучий говор. Несколько толстых чаек лениво пролетели над самой водой, пару раз хлопнув крылом по самой ее поверхности. Из ресторана неподалеку послышались звяканье посуды и чей-то заразительный смех. Жюльен медленно, словно пьяный, повернулся вокруг себя и взглянул прямо в глаза Марселю.

— Марсель, — сказал он.

— Да, — отозвался мужчина.

— Мы и правда в Венеции.

— Конечно.

Они оба замолчали, наблюдая за тем, как косые лучи солнца касаются куполов церквей. Где-то вдалеке зазвучал аккордеон, а потом начала лаять собака. Стайка загорелых мальчишек промчалась мимо на велосипедах. На один из балконов вышла пара, закутанная в простыни.

Набережная дышала мерным ритмом тишины и спокойствием старого города.

Жюльен заметил, что Марсель выпил свой кофе.

— Я бы ни за что не поверил, если бы не… — начал он.

— Если бы какая-то частичка тебя уже не верила в это.

— Но ведь я просто хотел сделать вам приятное.

— Скрасить жизнь больному старику, да? — улыбнулся Марсель. — Ты больше убеждаешь себя, чем меня.

Жюльен помолчал, а затем неуверенно прошептал:

— Это невозможно.

Марсель подошел на шаг ближе.

— Невозможно ровно настолько, насколько ты позволяешь, — сказал он.

— Сейчас я допью кофе, и все закончится, да?..

Марсель демонстративно перевернул свою чашку вверх дном, и несколько густых капель упало на мостовую.

— Закончится твоя чашка кофе.

Жюльен заметил трехцветного котенка, который выбежал к ним откуда-то из переулка.

— А, вот и она, — мягко шагнув, Марсель подхватил котенка на руки и принялся его гладить.

Жюльен подошел и почесал котенка за ухом.

— Почему она стала такой маленькой?

— А почему я стал моложе?..

Жюльен пожал плечами.

— Это просто ваше воспоминание, да?

Марсель посадил кошку себе на плечо и снова усмехнулся:

— Потрогай булыжники еще раз.

Жюльен едва не взвыл — вопросов было слишком много, а этот чертов город казался, нет, он *был* самым настоящим!

— Ну хорошо, парень, я попробую кое-что прояснить, но не обещаю, что у меня получится, — смилостивился Марсель, усаживаясь прямо на мостовую. — Присядь и ты.

Жюльен послушно сел.

— Видишь ли, у всего есть воля, — продолжал Марсель. — Воля — это когда ты делаешь что-то, чтобы изменить мир при помощи своей веры во что-то. Причем вера должна быть очень сильная, но в то же время спокойная — ты просто не сомневаешься, что будет именно так. Понимаешь, о чем я?

— Пока да, — неуверенно кивнул Жюльен.

— Так вот, я очень верил в то, что вернусь в Венецию. И кроме всего прочего, последние двадцать пять лет только тем и занимался, что искал способ сюда попасть. Но не только я этого хотел — посмотри на этого маленького бесенка! Ты же не думаешь, что египтяне были идиотами? Очень сильного желания одной-единственной кошки достаточно, чтобы кое-что изменить в порядке вещей.

— Допустим, — согласился Жюльен. — Но что сейчас происходит в пансионате «Тихий берег»?

— Попробую объяснить, хотя это сейчас меня волнует меньше всего, — серьезно сказал Марсель и немного погодя продолжил: — Понимаешь, у реальности существует не одна версия. В той, где мы находимся сейчас, все обстоит именно так, как ты видишь. Возможно, во Франции даже не существует пансионата с названием «Тихий берег». А возможно, существует, но меня там нет, потому что вот он я — здесь.

— Но тогда… — начал Жюльен.

— Но тогда в том пансионате, из которого мы пришли, наше с тобой путешествие закончится в соответствии с тем, во что поверят большинство его обитателей. — Немного погодя он добавил: — А у жителей дома престарелых, знаешь ли, совсем немного вариантов объяснений.

Снова повисло молчание, нарушаемое лишь криком чаек и музыкой из ресторана. Жюльен вдруг почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы… Он спросил:

— А ты хочешь здесь остаться, да?

В глазах Марселя снова блеснули маленькие голубые молнии.

— Скорее, я не верю в необходимость возвращаться.

Котенок тихо замурлыкал, заполняя тягучую паузу.

— Мальчик, я думаю, ты успел заметить, что такое болезнь Паркинсона на поздней стадии.

Жюльен кивнул. Чайки вскрикнули и захлопали крыльями, сорвавшись с бордюра канала и медленно набирая высоту.

Марсель показался собраннее, чем когда-либо. Глядя на Жюльена, он твердо произнес:

— Я хочу, чтобы ты понимал: я остаюсь здесь действительно по своей воле и я безмерно благодарен тебе за помощь. А твоя вера в то, что все закончится вместе с чашкой кофе, поможет тебе вернуться.

В чашке Жюльена действительно осталось кофе только на один глоток. Марсель покачал головой:

— Допивай, холодный он совсем невкусный.

Но Жюльен медлил. По правде говоря, он никогда не был в Венеции.

Так что они еще с полминуты посидели, вдыхая и выдыхая венецианский воздух, начавший наполняться ночной прохладой. Затем Марсель повернулся к Жюльену и сказал:

— Думаю, у вас с Аннет все хорошо сложится. И не пытайся мне возразить, — проговорил он строго. — То, что она старше тебя на пять лет, — ерунда. Ты ответственный и старательный парень из большой семьи, у тебя несколько старших сестер, и общаться с ними ты умеешь. Так что желаю вам счастья. И вот еще: в левом ящике моего письменного стола ты найдешь толстую тетрадь с рецептами, пусть это будет мой тебе подарок. А теперь — тебе пора!

И он с силой толкнул Жюльена в воду.

Тот полетел прямо в канал, почему-то продолжая сжимать в руках чашку, и уже готов был начать отчаянно барахтаться, как вдруг все исчезло.

* * *

Жюльен очнулся в своей комнате утром от настойчивого стука в дверь.

— Жюльен, открой! — Это был голос Аннет. — Ты там? Открой!

Жюльен вскочил с кровати и едва не упал: голова раскалывалась. События минувшей ночи пролетели перед глазами, и что-то ему подсказывало, что они все-таки не были сном.

Прежде чем открыть Аннет, он успел заметить, что его рюкзак брошен на полу. Парень заглянул в него: все кофейные атрибуты были на месте, как будто бы он вчера и не доставал их.

Наконец он открыл дверь и посторонился, впуская ее в комнату.

Аннет вошла и повернулась к Жюльену. Она выглядела крайне встревоженной, а черные выразительные глаза покраснели от слез.

— Что случилось?

Ее губы задрожали, и она заплакала.

— Марсель впал в кому, — выдохнула она. — Рано утром на «скорой» его увезли в Руан.

Жюльен почувствовал, как его тело словно бы застывает. Вдруг все звуки показались очень громкими: отчетливо было слышно тиканье часов в коридоре, шум ветра за окном и тревожные голоса где-то внизу. Даже собственное дыхание обрело странную плотность.

И все же какая-то часть его сознания знала: молодец старик, ему удалось остаться…

Он шагнул к Аннет, обнял ее и, сделав глубокий вдох, произнес:

— Я должен тебе кое-что рассказать.

* * *

В туманный августовский день они сидели во внутреннем дворике больницы Университета Руан, оба безмолвные и печальные. Мимо прошла стайка интернов, шумно что-то обсуждая. Аннет вздохнула и положила руку Жюльену на плечо.

— Ты не виноват. Они ведь сказали, что кофеина в его крови было такое ничтожное количество, что это никак не могло повлиять на его состояние.

Он молчал.

— Я поступила бы так же, — повторила она. — Пожалуйста, не вини себя.

Он поднял голову и внимательно посмотрел ей в глаза. Как далеки были сейчас Сорбонна, чопорные юристы с их затхлыми законами!

— Спасибо, — произнес он.

Она смущенно улыбнулась и спрятала лицо за ворот легкой куртки. Затем сказала:

— Я решила вернуться в Руан. Нашла здесь работу. К тому же, оставаться в пансионате мне сейчас невыносимо, — с этими словами она с тревогой взглянула на него, опасаясь, что ранит его еще больше в эту непростую минуту.

Усилился ветер, и деревья шумно закачались. Туман, поднимавшийся от реки, сбился клочьями, пытаясь удержаться, но ветер был беспощаден. Очертания города стали более контрастными.

— Я тоже хочу здесь остаться, — сказал Жюльен и с воодушевлением добавил: — К черту Сорбонну и этот душный Париж, где люди не замечают, по каким улицам ходят каждый день, не улыбаются друг другу, не ценят простых вещей вроде запаха кофе или легкости собственных шагов. К черту! —

он выдохнул, боясь взглянуть на онемевшую от удивления Аннет. — Переведусь на дистанционное обучение и начну работать в каком-нибудь местном кафе или магазине. Что скажешь?

Она потрясенно смотрела на него, а потом, вдруг опомнившись, обняла и прижала к себе, тихо прошептав:

— Я так рада…

Из тумана несмело, неловко касаясь дрожащими лучами их лиц, выглянуло белое нормандское солнце.

Вместо эпилога

Спустя пять лет

В Венеции стоит середина апреля, в котором запахи накануне ухода весны становятся настолько густыми, что их можно намазывать толстым слоем на хрустящую брускетту и запивать бокалом звенящей утренней прохлады, что струится по венам каналов.

Высокий пожилой мужчина неспешно шагает от церкви Сан-Марино по направлению к Рио де ла Плета, заложив руки за спину и уверенно глядя вперед. На нем белая рубашка и светло-серая шляпа, из-под коротких полей которой с любопытством смотрят ярко-голубые глаза. Он не похож на итальянца, хотя и выглядит загорелым. Он что-то ищет глазами, но из-за облака выглядывает солнце и на миг ослепляет его, прерывая поиски.

Он останавливается и медленно достает из одного кармана солнечные очки в золотистой оправе, из другого — белый платок и начинает тщательно их протирать.

«Такое солнышко, как сегодня, хорошо бы добавлять в… карамельное суфле? Или вафли с кленовым сиропом?.. Нет, ну…»

Он слышит обрывки разговора, доносящегося с террасы кафе на углу улицы. Под зонтиком сидит молодая пара: долговязый мужчина, в простой футболке и джинсах, напротив него женщина в белом просторном платье.

Мужчина в светло-серой шляпе надевает очки и, замедлив шаг, достает из-за пазухи газету, раскрывает и исподтишка наблюдает за ними.

— Ну что ж, мы пьем кофе в Венеции, хоть варил его и не ты, — произносит женщина.

— Да, в конце концов нам удалось сюда добраться на самом обычном поезде, — смеясь, отвечает ей мужчина.

Некоторое время они молчат.

— Мне кажется, все изменилось, когда мы открыли «Марсель», — говорит она.

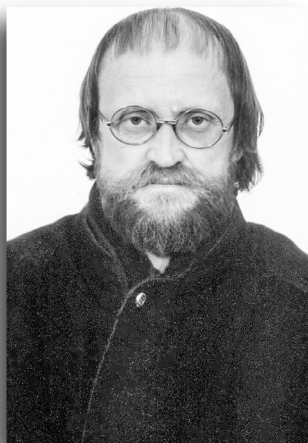
Он улыбаясь кивает, ставит чашку кофе и касается ее руки.

— Открою тебе секрет, — мужчина понижает голос, — я не всегда готовлю по его тетради.

Она смеется, накрывая его ладонь своей.

— Я знаю.

Мужчина в светло-серой шляпе переворачивает несколько страниц, внимательно их просматривает, затем сворачивает газету и ускоряет шаг, постепенно растворяясь в прозрачной дымке утренней Венеции.



Александр ЧУБАРОВ

И незримы Божии пути…

* * *

А бывало и так у меня:
Впереди — ни пути, ни огня,
Позади — ни пути, ни следа,
Неизвестно — откуда... куда...

И тогда
Загоралась
Звезда!

* * *

Открой с китайского старинный перевод,
Прочтешь о дне сегодняшнем, о том,
Как облако прекрасное плывет
В просторе золотисто-голубом.

Не предсказать его дальнейший путь —
Движенье вне границ и вне времен...
...И через сотни лет, быть может, кто-нибудь
С печальной нежностью напишет вновь о нем.

* * *

Под мостом — железная дорога,
Электричка воет, как беда...
Может быть, искал он в небе Бога,
Падая с моста на провода.

Для чего уходят столь поспешно?
Так ли обезбожен мир земной,
Чтоб не видеть в нашей жизни грешной
Возвращенье — долгое — домой.

* * *

Слово «жить» похоже на слово «жать»
И еще немного на слово «жуть»,
А когда «сожнут», предстоит лежать
И торить не земной — но небесный путь.

В слове «смерть» есть «мера», «смирение» есть,
Есть и то, что зовется — «сметь»,
Смерть — о жизни иная весть,
В смерти многое надо суметь.

* * *

Родился Он «неправильно»,
Жил на Земле «неправильно»,
Спасал людей «неправильно»
И умер Он «неправильно»,
Но Он — воскрес.
Воистину воскрес!

Мир говорит:
«Неправильно...»

* * *

Бытие разделив на вражду и любовь,
От вражды не избавишься даже любовью.

Если мир воспринять как единое целое,
То достигнешь ли Неба,
Которого нет изначально?

Мир пытаясь сознаньем понять,
Ты добьешься обратного,
Расщепленная мысль
Уничтожит тебя:
Ты — не Бог.

* * *

Рядом жизни другие,
Там — погибель своя...
Вижу лица людские,
В них — болезнь бытия.

Непохожий отчасти
И похожий вполне,

Рядом с счастьем — несчастье
Обитает во мне.

Между Богом и бездной,
Между Светом и тьмой,
Кружит Ангел Небесный,
Провожатый домой.

* * *

Сон развеян ветром жизни...
Смотришь в темный коридор:
Есть ли там надежды признак?
Тьма глядит в тебя в упор.

Пахнет сыростью, карболкой,
Свежеструганой доской
И еловою иголкой,
Подземельною тоской.

Кто твои закроет вежды?
По тебе ль вздохнут в тоске?
Как последняя надежда —
Белый крестик на шнурке.

* * *

Ни один листок на дереве не лишний,
Ни одна душа на свете не напрасна,
Хоть порою, кажется, Всевышний
Смотрит на страданья безучастно.

Отболит... Излечит тело тленье,
И не вспомнишь про свои страданья,
Поплывет душа в простор забвенья,
В центр Мира, в душу Мирозданья.

* * *

На земле не может быть иного,
Такова извечная судьба:
Человек рождается, и снова
С миром предстоит ему борьба.

Человек сражается за Бога,
Он в сражении, как в поле, одинок,
А у мира воинов так много...
Но в борьбе за человека — Бог.

* * *

Не ищи значения, но — будь,
И тогда приобретешь значенье...
Самый верный путь — незримый путь,
Путь духовного преображенья.

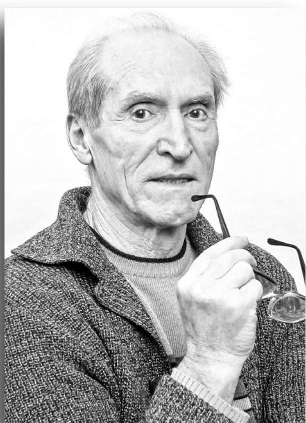
Время есть возможность стать другим,
Дух не подчиняется закону.
Нищий и убогий Серафим
На тебя глядит в упор с иконы.

* * *

Хорошо, что жизнь неуловима
И незримы Божии пути...
От кадила вьется стружка дыма —
Господи, помилуй и прости.

Высоко молитва улетает,
Над Землею грешною летит...
Может, и дойдет к Отцу, кто знает,
И Господь — услышит и простит.





Олег ЖДАН-ПУШКИН

С гордостью и печалью

Очерк

Мы видимся с ним редко: раз в году, на встречах земляков-мстиславцев в ресторане «Рандеву». Молодежь и на меня, и на него поглядывает с интересом, точнее, с любопытством: мы старше всех. Жизнь наша в основном прошла в иные времена. В советские. Мы тоже с интересом поглядываем на них: посмотрим, как вы распорядитесь временем, отпущенным вам. А если реально — не мы, придет время — вы сами оглянетесь на свою жизнь…

Вот, к примеру, как оглядывается на нее — порой с гордостью, порой с печалью, Петр Михайлович Катушкин, бывший деревенский паренек, бывший солдат, студент, председатель колхоза, председатель райисполкома, секретарь райкома, зампредседателя облисполкома, депутат Верховного Совета БССР 11-го и 12-го созывов… Такой вот неслабый послужной список. А за каждым шагом — труды и дни.

Что запомнилось…

О детстве у меня воспоминания отрывочные и случайные. И непонятно, почему то или иное запечатлелось в памяти, а другие, может быть, более важные — не сохранились. Вот, к примеру, воспоминание о печенье, точнее — об одной-единственной печенинке, которой после освобождения от немецких войск меня угостил красноармеец. Есть эту печенинку я не стал, а побежал к маме: что это? Мама сказала — ладочка с дырочками… То есть, и она не знала, не видела такого лакомства. Мстиславский район освободили от немцев в сорок третьем, было мне три года, а вот запомнилось…

Или походы с мамой в Мстиславль на воскресные базары. К школе — кажется, я должен был пойти в четвертый класс — надо было купить штаны и рубашку, что-то на ноги, но денег в семье не было. Мать собирала яйца, брала кувшин топленого масла — и с этим богатством мы отправлялись на базар. Однажды, помнится, понесли в корзине и живую курицу на продажу. Почему-то запомнилось, что подошла покупательница, стала привередливо щупать и сильно дуть в перья курицы… Долго торговалась, прежде чем достать из узелка деньги. А штаны и рубашки были нужны и старшим моим братьям — их было четверо.

До Мстиславля от деревни чуть ли не двадцать километров, но мне такие походы нравились, город казался огромным, красивым.

В тот день жара стояла невыносимая, очень хотелось пить. В Мстиславле с водой было трудно, носили ее из Кагального колодца, что находился у подножия города, и местные женщины и пацаны-подростки носили по базару ведра с кружкой — за пять копеек давали напиться. И когда мы рас-

продались, мама купила мне бутылочку «ситра» и булочку — ничего более вкусного я в жизни не пил, не ел. Когда возвращались в деревню, шли через небольшую лощину с высокой травой, мама сказала — присядем, отдохнем. Сели, мама прилегла, и вдруг я увидел, что она спит. Я сидел как мышка, боялся разбудить мать. Спала она, наверно, час, проснулась, и мы пошагали дальше. На середине пути стояла довольно крутая горка — Михайловская ее называли. А известна она была тем, что здесь, в овраге, частенько хоронились бандиты — их хватало в первые годы после войны. Высматривали одиноких путников, возвращавшихся из Мстиславля, — далеко не всегда и не всем удавалось донести домой свой малый заработок.

Но — пронесло…

В комсомол я вступил в 8-м классе. Было нас десять-пятнадцать парней, райком — в Мстиславле. Рано утром, на зорьке мы выправились… Шли весело, хотя и немного волновались. Примут ли? Не отправят ли обратно? Засмеют в деревне, если вернемся ни с чем. Там есть такие насмешники… Но — приняли! И, конечно, опять пешком — назад. Между прочим, ни кусочка хлеба, ни маковой росинки во рту не было. Шли — погода хорошая, весна цветет — шли и любовались красотой. Не было в те времена такого понятия, как три раза в день поесть. Как-то проще переносился голод. Вспомнишь, что теперь ты комсомолец, пощупаешь корочки билета в кармане — и сыт!

Закончив школу, мы с другом решили ехать поступать в медицинский институт в Ленинград. Очень высокий престиж был в нашей деревне у врача. Поехали. И, конечно, провалились… Ого, медицинский, Ленинград! И оба загремели в армию. Но мечта закончить высшее учебное заведение теперь не оставляла меня. Служил я на территории Венгрии, была возможность готовиться к поступлению: командование устроило курсы для желающих, занятия вели педагоги — жены офицеров. Но теперь я намеревался поступать в Белорусскую сельскохозяйственную академию. Подготовился к экзаменам основательно — поступил…

Жил в общежитии, в комнате — восемь парней. Из Рогачева, из Климовичского района, из Смоленской области… Мой дом ближе всех, и я раз в две-три недели ездил чем-нибудь поживиться. Сперва на поезде, потом километров 14 пешком — в дождь, снег… По грязи, по сугробам. Дырявые ботинки на один носок. Переночую, отогреюсь и назад. Мама собирала мне в чемодан яйца, топленое масло, кусочек сала, а когда-нибудь и кусочек колбаски... Однажды я уронил чемодан, половина яиц разбились. Что делать? Жалко! Стал загребать руками и пить… Но много ли выпьешь? Пришлось выбросить.

Ну а в общежитии чемодан сразу на стол. Хлопцы мои тотчас в магазин за водкой — по бутылке на двоих. Меня от такого взноса освобождали — моя закуска! Да и вообще я деньги на водку не тратил. Мама перед прощанием давала мне дрожащими руками десять рублей. Она уже получала пенсию — 12 руб. 50 копеек. Смешная сумма! И только 2.50 оставляла себе. До сих пор помню ее вздрагивающие руки… А мы за два вечера съедали все, что привез.

Первые два курса я особенно не выделялся в учебе, а с третьего курса уже получал повышенную стипендию.

Ну а летом, закончив третий курс, я женился на своей сокурснице Жене. О, какая была свадьба!.. Председатель колхоза дал нам грузовик, и мы с песнями под гармошку и бубен помчались из деревни в Шклов, где жила Женя. А там уже столы ломятся от закусок и самогона… И невеста ждет. Истратили массу денег. Теперь кажется — зачем? А тогда — а как же? Надо!

На четвертом курсе у нас родился ребенок, дочь Инга.


На совещании в райкоме партии.

Откуда он взялся?..

После окончания Академии пару лет Петр Катушкин работал в «Сельхозтехнике» Шкловского района. Чем-то приглянулся молодой специалист руководству района: «для пробы» предложили поработать председателем небольшого, вконец запущенного колхоза «Заветы Ленина». Урожайность — 16 центнеров с гектара. Мясо — 60 на сто гектаров сельхозугодий. Свинарники были — смотреть страшно. Грязь, сырость, холод. Поросята гибли… Нужно было что-то срочно предпринимать. Взломали старые полы, бульдозером выбросили навоз, положили щелевые полы. Молодой председатель, разузнав, что во Львове есть завод по производству сельскохозяйственного оборудования, помчался на Украину, и скоро в колхозе «Заветы Ленина» появились станки и теплогенераторы — установка микроклимата с пультом управления. Кормить стали в соответствии с современными рекомендациями… И через два года производство мяса увеличилось в два с половиной раза — вместо 300—400 голов — 3,5 тысячи, 188 центнеров на сто гектаров сельхозугодий… Как говорится, кто понимает, тот оценит… Кроме того, производство зерна выросло с 16 до 32,6 центнеров с гектара. Все, казалось бы, просто: семена, агротехника, удобрения. И, конечно, механизаторы. Но — за два года! Кто такой этот Катушкин? Откуда он взялся?

По итогам года колхозу «Заветы Ленина» было вручено переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совмина и ВЦСПС с важной формулировкой: за темпы роста. Знамя вручалось с памятным знаком — навечно. Таких наград на Могилевщину выделили одиннадцать — одна попала в колхоз «Заветы Ленина»… И в самом деле, кто такой этот молодой председатель? Откуда взялся?

Наш земляк, был ответ. С Мстиславщины. Простой деревенский парень. Служил, учился… В общем, как все.

Но не единственно поля и фермы должны интересовать председателя колхоза, если он не равнодушный помещик. Как было запущенным хозяйство, так и деревня центральной усадьбы Кучарино. Не было даже колодца, воду брали в реке, носили издалека.

Пробурили глубокую скважину, проложили трубы, поставили водоразборные колонки. Интересно, что поначалу не все жители одобряли идею водопровода. «А зачем он нам? — говорили. — Жили до сих пор без него и дальше не пропадем». Но — понравилось…

Что ж, такие кадры на одном месте недолго задерживаются. Положил глаз на Петра Катушкина райком КПБ. И стал он вторым секретарем. А затем председателем районного исполнительного комитета.

Наверно, что-то было в его личности такое, что заставляло людей идти навстречу. Вот, к примеру, история с минеральными удобрениями. 55 000 тонн он, как говорилось в те годы, *выбил* для Шкловского района. И *кто* пошел навстречу молодому секретарю? А член Политбрюро ЦК КПСС Министр сельского хозяйства СССР… Полянский! Тут даже цековские чиновники заревновали. Как так, без заявок, без согласований, без влиятельных телефонных звонков, вполне самостоятельно — раз и 55 000 тонн. Черт знает что происходит!

Но если откровенно — попасть к Полянскому на прием помог референт Председателя Совета Министров СССР (тогда — А. Н. Косыгин) Иван Иванович Морозов — по происхождению белорус. Он поселил Петра Катушкина в гостиницу и наказал: жди! 11 суток ждал он приема и — дождался. Ну а дальше — что ж, было в его личности такое, что расположило министра…

Утренний звонок

…Звонок не предвещал ничего необычного: секретарь областного комитета партии Виталий Викторович Прищепчик любил лично поговорить с хозяйственниками.

— Приедь-ка ты ко мне. Поговорить надо.

— Когда?

— Сегодня.

О причине неожиданного вызова Петр Михайлович гадать не стал: надо значит надо. Не первый раз. Большое начальство не любит долго ждать. И через пару часов он был в обкоме.

Нет, что-то загадочное, судя по улыбке, по выражению глаз в приглашении было. Далее, как обычно, несколько слов о работе, о настроении, и вдруг Прищепчик сказал:

— Пора тебе менять жизнь. Поезжай первым на родину, в Мстиславль. Район запущенный, но перспективный. Надо поднимать.

Мстиславль Катушкин, конечно, не забывал, в деревне Заньковщина жила мать, но предложение оказалось на тот момент неожиданным. Уже сформировалось много планов на Шкловщине. Но и отказываться вот так, с ходу, в кабинетах обкома не принято.

— Надо подумать, Виталий Викторович, — сказал. — Дайте неделю.

На что секретарь обкома возмутился:

— Какая неделя? Сейчас поедешь в Минск, завтра в десять тебя Машеров ждет!

А в общем, абсолютно нового во всем этом не было: Прищепчик любил огорошить посетителя.

— Надо заехать домой переодеться, — колебался Катушкин.

— Не надо переодеваться! Машерову твой галстук не нужен! И смотри, не выдай там что-нибудь вроде «надо подумать»…

Автомобиль уже стоял у подъезда.

К назначенному времени его уже ждали у тяжелой государственной двери. Никаких звонков, согласований, документов. Вперед!

Бесшумные ковры, тишина в коридорах. Вот и кабинет.

Петр Миронович уже его ждал. Поднялся навстречу из-за стола, подошел и сильно хлопнул ладонью в его ладонь.

— Значит — в Мстиславль?

— Если будет доверено…

— Будет!

В принципе, они были знакомы. Люди старшего возраста помнят, что во время страды Петр Миронович часто вылетал на поля республики на вертолете. Однажды приземлился и на территории колхоза «Заветы Ленина», на берегу Днепра. Пригласил в вертолет Петра Катушкина.

(С интересом он поднялся в вертолет. Сиденья по сторонам, в центре небольшой рабочий стол, ваза с яблоками на столе. Машеров взял яблоко, отер салфеткой, протянул Петру: «Кушай!» Угостил и секретаря райкома, Сергея Николаевича Дикуна, который тоже был здесь, и сам взял яблоко. Район был на неплохом счету, и настроение у Петра Мироновича было соответствующее.)

Усадил к столу, а сам стал ходить по кабинету, размышляя о проблемах, которые ждут нового секретаря райкома. Как бы между прочим, сказал, что в Мстиславле он бывал — в сорок седьмом году, когда баллотировался в депутаты Верховного Совета БССР от Могилевской области. На автомобиле добрался до Кричева, но дороги были такие, что дальше не проехать, и в Мстиславль он добирался на гусеничном тракторе. То есть, к трактору прицепили огромный лист железа, на него въехал автомобиль — и так помчались в Мстиславль… Несколько часов мчались — 35 километров. И таким же образом потом ехал в Горки… Так что дороги — важная задача в будущей деятельности секретаря райкома. Но главное — хлеб… «Хлеб есть — ты руководитель,— сказал он, — хлеба нет — ты не руководитель». Земля на Мстиславщине хорошая, влаги небесной достаточно, а это для хлебороба главное. И о других проблемах того времени.

Тридцать, а то и сорок минут, размышляя вслух, ходил Петр Миронович по ковру…

В общем, через день-другой Петр Катушкин оказался в Мстиславле на заседании бюро райкома. Как и было принято в те времена.

С чего начать?

Каждый руководитель, получив новое назначение, задумывается — что первоочередное, что может подождать. У Петра Катушкина ясность была: дороги, и конечно, улицы города. Необходимо было упростить связь Мстиславля с другими городами области, чтобы и в распутицу не приходилось, как Петру Машерову, ездить на железном листе. А в этой задаче была и своя, частная: какую из дорог строить первой. Ну и конечно, откуда возить щебенку, где устроить карьер для песка, чтобы не особенно раздражать защитников природы, где брать битум и что делать, если на пути болотистый участок и необходима мелиорация… Все это задачи именно для секретаря райкома. (Случались и другие задачи — именно для Первого секретаря… *«Вечером после работы сажусь в машину и еду по хозяйствам. Иногда беру с собой председателя райисполкома Александра Позюмко. Как-то приезжаем в совхоз «Заболотье», слышим — коровы ревут на ферме. Спрашиваю у сторожа: что случилось? «А доярки напились допьяна и пошли по домам», — говорит. Что делать? «Закасывай, Саша, рукава, бери вилы. Будем работать». А на ферме 400 голов… Два часа разносили сено, солому, бураки»).*

«...Тут самое время сказать об Александре Позюмко. Как-то вызывают меня в Могилев и сообщают, что пришлют в Мстиславль на долж-



Игорь Лученок и «Песняры» на Мстиславщине.

ность председателя, райисполкома нового человека — Позюмко Александра Ивановича. Дескать, скоро вас познакомим.

— Вот только знакомить нас не надо! — чуть не закричал я.

Дело в том, что мы были давно знакомы: вместе поступали в академию. Я был сержант, и он сержант. Я служил на территории Венгрии, Саша — Германской Демократической Республики. Оба мы получили отпуска на экзамены, спали, бросив матрацы на пол в ленуголке общежития, в один день узнали, что поступили, вместе понеслись в военкомат сообщить об этом… После окончания академии мы не виделись лет двадцать и вот — снова свела судьба…»

«Были, конечно, иные случаи.

Как-то глубокой осенью, почти ночью, приехали в колхоз «Советская Россия», в деревню Каськово. Дождь, ветер… Вижу — работает на ферме кормокухня, и возле печи женщина. «Что вы делаете?» — спрашиваю. «А кулеш теляткам варю. Малые еще, жалко…» (Но это — к слову. О том, как поразному люди и работают, и живут.)

Строительство дорог — дело трудоемкое, дорогостоящее. Первым участком была дорога на Горки, затем на Чаусы, Кричев, Дрибин… От основных магистралей пошли ветви к деревням и хозяйствам. Постепенно территория района стала покрываться сетью дорог. Нельзя было забыть и об улицах города. Весной и осенью Мстиславль утопал в грязи, зимой заносило сугробами. Через несколько лет улицы покрылись асфальтом. Теперь уже странно, что когда-то приходилось надевать болотные сапоги.

Следует заметить, что руководство области эти идеи поддерживало.

Однако ждали своего разрешения и иные вопросы. Правильнее — проблемы.

Давно уже и морально, и физически устарела районная, еще земских времен, больница. Одно кирпичное одноэтажное здание и несколько деревянных построек. Соответственно устарело и лечебное оборудование. Это же относилось к амбулатории: толпы изнывающих посетителей, истомленные врачи. К примеру, бормашина в стоматологическом кабинете приводилась в движение ногой, как когда-то швейная машина «Зингер»…

С чего начать? Где и у кого просить понимания и помощи? Решил начать с самого правительственного «верха», обратиться к Нине Леоновне Снежковой — заместителю председателя Совета Министров республики. Подготовился, нарисовал картину, обосновал. Пробился в кабинет. Все, что наметил, сказал. Кажется, убедил, но… Эта же проблема ждала, вопияла разрешения и в других малых городах. Непонятно, где важнее начинать строить. На всех денег не хватит.

И тогда Петр Катушкин обратился к секретарю ЦК КПБ Александру Трифоновичу Кузьмину, с которым был знаком. Опять повторил причины и доводы. Впрочем, Кузьмин бывал в Мстиславле, тамошняя ситуация ему была известна — поддержал секретаря райкома.

Однако решение и даже открытие счета в банке — лишь начало начал. Понять это может только хозяйственник и еще — строитель, работавший в те времена. Это нынче мы видим специализированные автомобили с бетономешалками, для которых равны и зима, и лето. В том незабываемым году цементный раствор везли за тридцать пять километров из Кричева, а здесь, на строительстве, к их приезду должны были вскипятить воду: морозы стояли такие, что раствор мог схватиться за час… Но и это — одна из задач. Все не назовешь в газетной статье. Скажем только, что весь современный больничный комплекс — один из лучших в республике — был построен, остается таковым и теперь.

Ну а другие объекты, без которых невозможна нормальная жизнь города — аптека, гостиница с рестораном, узел связи… Далеко не все можно было построить своими силами, на свои средства. Очень многое приходилось *добывать*.

Или — такой пример. В городе несколько православных церквей — когда-то гордость и утешение верующих. Однако за много лет государственного атеизма мерзость запустения поселилась в их стенах. Когда-то красивые купола стали пристанищем воронья. Надо было, не ожидая в идеологии перемен, хотя бы накрыть жестью. И Петр Михайлович смог приобрести, благодаря зампреду Госплана БССР Заворотному Михаилу Федоровичу, 10 тонн оцинкованной жести. Накрыли и церкви, и пожарную каланчу, и просторное здание школы (в далекие времена — мужской гимназии).

Опять же, не перечислить все сделанное в городе (и городом) за девять лет, которые Петр Катушкин возглавлял райком.

Счастье — в характере: умел и требовать, и просить.

На уровне Госплана

Система была такова, что почти все фонды распределяла Москва. Нужно было ездить, просить, или, как тогда выражались, выбивать. Решались чаще всего такие вопросы на уровне Госплана СССР. Теперь мы постоянно слышим об «откатах» и взятках за помощь в добывании средств и фондов, но в те времена взяток столь открыто не давали и не брали. Но все же чем-то порой надо было расположить к себе влиятельного московского чиновника… «Чего греха таить: был у меня чемоданчик, в котором помещались четыре бутылки коньяка, водки и коробка конфет…»

Однажды, собираясь в Москву, даже у жены забрал последние деньги, чтобы купить дорогого французского коньяка в подарок… В другой раз привез хороший окорок белорусского вепря… Отнюдь не исключительным было такое явление. Посланцы всех республик везли чем богаты: вина, дыни, гранаты, изделия национальных промыслов. Победить их можно было только настойчивостью. И убедительным словом.

Но были проблемы, когда ни коньяк, ни свежина белорусского вепря не могли помочь. Тогда ГДР поставляли в СССР самоходные сенажные комплексы. А чтобы заполучить их, надо было попасть на прием к Зия Нуриевичу Нуриеву, который был заместителем Председателя Совета Министров по



*Петр Михайлович Катушкин —
почетный гражданин Мстиславского района.*

вопросам агропромышленного комплекса. И опять по-землячески помог Иван Иванович Морозов… Огромное значение и влияние во властных кругах имеет референт!

«...Я оказался в огромном кабинете. Зия Нуриевич встал навстречу, усадил за посетительский стол.

Как приступить к делу? Коньяк заместителю Председателя Совета Министров не подаришь… Но все же подарок я приготовил: хорошо изданный альбом «Беловежская пуща». Он принял такой подарок с удовольствием, тут же стал рассматривать, а я, как мог, комментировал. Затем внятно изложил проблему и положил на стол бумагу с просьбой выделить на район семь самоходных сенажных комплексов. И Зия Нуриевич наложил резолюцию — решить вопрос!

Были и такие руководители на государственном уровне, о которых не хочется вспоминать. Один из них отшвырнул альбом «Беловежская пуща» и отвернулся от незначительного посетителя. Но Катушкин человек не робкий и повидал разных начальников. «Вы меня выслушаете или нет? Если нет, я уйду». Тот сперва удивился смелости посетителя. И недовольно произнес: «Выслушаю... Выслушаю, если уж ты добрался до Кремля!»

В Москве он бывал довольно часто и, конечно, не развлечения и удовольствия ради. Каждая поездка имела конкретную рабочую цель. Даже поездка в Звездный городок, где он познакомился со многими космонавтами, имела свою цель: надо было попасть на прием к легендарному летчику, Герою Советского Союза Алексею Петровичу Маресьеву, который в то время был первым заместителем председателя Совета ветеранов России. Познакомил их первый секретарь Шкловского райкома партии Герой Социалистического Труда и тоже боевой летчик Сергей Николаевич Дикун. Маресьев, узнав о проблеме Катушкина, сказал: «Ладно. Приходи завтра». Алексей Петрович был человек-легенда, позвонить любому министру ему было просто. «Ну ты и ходок! — сказал один из московских чиновников Петру Катушкину. — Даже в ЦК КПСС побывал!»

«Надеяться, что твой вопрос решится сам собой, — пустое, — говорит Петр Михайлович. — Надо *хотеть* его решить!»

Сохранилось в памяти и воспоминание не рабочего характера: в зале Звездного городка он сидел в одном ряду с главным конструктором Валентином Петровичем Глушко, рядом — жена Юрия Гагарина и мать, космонавты Береговой, Климук, другие знаменитости космонавтики…

Между прочим: в те времена в Москве во властных кругах было немало белорусов. Ну а белорус белорусу друг. Министром станкостроения СССР

тоже был наш, дрибинский человек, Паничев Николай Александрович. К нему и обратился Петр Катушкин с просьбой выделить 500 тонн металла. Конечно, большая цифра даже для министра, но — родина! «Решим вопрос», — популярная фраза в те времена.

На восьмом году работы в Мстиславле Петра Катушкина пригласили в Москву, инструктором в аппарат ЦК КПСС. Но трудно представить этого человека с его энергией кабинетным работником. О чем он и заявил в ЦК.

Тем не менее, пришлось поменять образ жизни, когда его пригласили в Могилев на должность заместителя председателя облисполкома, на руководство планово-экономическим управлением. То было время, когда Беларусь начала постепенно приходить в себя после Чернобыльской катастрофы. Снова пришлось ездить в Москву добывать ресурсы: пиломатериалы, стройматериалы, технику да и просто деньги. Надо сказать, что все — от рядовых чиновников до министров — принимали его внимательно, вопросы решали быстро. Все понимали масштаб катастрофы и ситуацию в Беларуси.

Между прочим, будучи депутатом Верховного Совета 12-го созыва, Петр Михайлович жил в той же гостинице, что и депутат Александр Лукашенко. Знакомы они были давно, некоторое время общались на ты. «Каким был в те времена наш Президент?» — спросил я. «Строгий человек», — такой лаконичный получил ответ. А в разговоре о сегодняшних днях добавил: «Конечно, у Машерова была масса проблем, но касались они в основном внутренней жизни республики. У Президента независимой Беларуси несравнимо шире задачи: тут и политика, и экономика, и люди, и многое другое… Я свидетель».

«В прошлом году, как обычно, пригласили на дожинки... Какой стал город! Завидно. Я о такой красоте и мечтать не мог. Что ж, пришли другие времена, теперь можно подумать и о красоте. Но ведь труд и моего поколения в этой красоте есть. Он, может быть, теперь не так виден, как не виден фундамент здания, но именно на нем стоит большой дом».

Как известно, в конце февраля все районы Беларуси подводят итоги минувшего года. Как правило, мстиславцы приглашают и своего бывшего секретаря, Почетного гражданина, так много сделавшего для города и района.

На склоне лет мы все мыслями обращаемся в прошлое: правильно ли жил? Где и когда ошибался? Была ли польза в твоем личном существовании? Конечно, нынче многие задаются иными вопросами: много ли приобрел добра, сколько накопил денег, хорошо ли покутил за жизнь? Но Петр Михайлович другого поколения, воспитания, другой веры. Он относится к людям, которые больше сделали для Родины, чем для себя, а оглянувшись на прожитые годы, видят нескончаемый честный труд и только в этом ищут и находят утешение.

Впрочем, не только в этом. Главное сегодня утешение в семье: жена Евгения Сергеевна, дочки Инга и Алла, внучка Катя. Да и сама быстротекущая жизнь.

Фото Александра САПЕРОВА.





Надежда ДМИТРИЕВА

Цветок заморский

* * *

Ветки-обрезки
Почки дружно раскрыли:
О, сила жизни!

* * *

Цветок танцует,
Оторвавшись от стебля, —
Боярышница.

* * *

Ландыш сорванный
Аромат свой подарил.
Великодушный!

* * *

Первый подснежник
Зазеленел на снегу.
Отважный воин.

* * *

Колодец в полдень
Дождался своей звезды.
Верь и ты в свою.

* * *

На самой тропе
Ветреница расцвела.
Обойду цветок.

* * *

Не смотри в речку:
Луна высоко — не здесь.
Обманны мечты.

* * *

Цветок заморский
Листья свои опустил:
Горька чужбина.

Официальное чествование Адама и Максима Богдановичей в 1923 году

1920-е годы в истории Беларуси связаны с активным национальным и государственным строительством, интеллектуальным подъемом. В 1921-м открылся Белорусский государственный университет, в 1922-м — Институт белорусской культуры (Инбелкульт), прообраз Академии наук БССР.

Новое время требовало новых героев, неоспоримых кандидатов в формировавшийся пантеон не только политических вождей, но и тех, кого традиционно принято называть совестью нации, ее гордостью. Среди первейших претендентов был Максим Богданович, безвременно ушедший из жизни в Ялте в 1917 году, личность, к тому времени уже воспринимаемая в ореоле легенды и всеобщего уважения к творчеству.

Именно этот поэт был удостоен первого академического издания. Двухтомник «Творы М. Багдановіча» был подготовлен в Институте белорусской культуры и вышел в 1927—1928 годах под редакцией профессора Ивана Замотина. Выход наследия «певца чистой красы» (А. Луцкевич) стал возможным благодаря переданному Адамом Богдановичем, отцом поэта, его архива, чудом уцелевшего во время пожара в Ярославле — в 1918 году в городе, последнем и окончательном пристанище семьи Богдановичей, когда произошло антибольшевистское восстание.

Адам Богданович приехал в Минск и находился некоторое время в столице БССР в июне 1923 года. Прием был организован на правительственном уровне, отца поэта окружала научная и творческая элита республики. Впервые с высоких трибун признавались заслуги перед Беларусью самого А. Богдановича как ученого и общественного деятеля.

Официальные встречи проходили в обстановке особой торжественности и эмоционального воодушевления. Это потом в СССР и других странах прочно укоренилась практика громких чествований партийных деятелей, нарочитых славословий, «аплодисментов, переходящих в овации». В начале 1920-х годов еще наблюдался подлинный энтузиазм национального культурного строительства, пример тому — демонстрация любви и уважения к недавно ушедшему поэту и его отцу.

Обстоятельства пребывания А. Богдановича в Минске подробно изложены в газете «Савецкая Беларусь» от 16 июня 1923 года, где были представлены отчетные публикации с официальных встреч и торжественных чествований, принадлежащие перу Адама Бабареки, Язэпа Дылы (он же Н. Byваевский), Змитрока Бядули. В журнале «Полымя» (№ 3/4) была напечатана статья Михайлы Громыки «Певец снов и волшебства», посвященная творчеству М. Богдановича.

В современной гуманитаристике при освещении прошлого все более востребованной становится так называемая история повседневности, позволяющая рассматривать события и людей более детально, многогранно и жизненно. Так, еще на этапе становления Литературного музея М. Богдановича в



Адам Богданович
с сотрудницами журнала «Полымя». Минск, 1923 год.

Минске, формирования фондовых коллекций, создания экспозиции сотрудники этого культурно-просветительского учреждения в поисках новых материалов обращались с запросами к родственникам близких к поэту людей, в том числе к Анне Дыло, дочери белорусского писателя, жившей в Саратове. В письме от 1 марта 1991 года, вспоминая события 1923 года, она писала: «На празднике отцу Максима вручили книгу сына. Все это было очень торжественно. Адам Егорович был очень тронут таким вниманием и торжественностью. В благодарность за все он на нашей книге сделал надпись. Папа имел с ним разговор, встречался еще несколько раз. Но о чем они беседовали, я не помню, я была еще маленькой. Я только помню, что папа был взволнован этой встречей. Много рассказывал маме и мне показывал эту книгу».

Опыт научной поисковой работы показывает, насколько сложно сегодня найти новые документальные свидетельства, особенно принимая во внимание катастрофические для интеллигенции последствия репрессивных 1930-х годов, губительный для национального наследия период Второй мировой войны.

Тем более ценной в этой связи видится нам в год 100-летия ухода классика белорусской литературы публикация неизвестных для широкой общественности писем Адама Богдановича к его сыну Павлу, хранящихся в настоящее время в фондах Литературного музея М. Богдановича, описывающих свежие впечатления отца поэта от торжественных приемов в Минске в 1923 году.

В послереволюционной обстановке формирования основ нового общественного строя А. Богданович после многолетней работы в банковской сфере переключился на музейную и преподавательскую деятельность, что в новых реалиях было востребовано не только в Ярославле, но и в столице БССР, куда Адама Егоровича официально и настойчиво приглашали.

Современного читателя и профессионального исследователя не может не заинтересовать переданная в письмах жизненная обаятельность событий, атмосфера всеобщего воодушевления; повествование А. Богдановича изобилует многими по-семейному представленными деталями, которые были невозможны в официальной печати. Вместе с тем, с позиций существенной временной удаленности невозможно не осознать весь эпохальный драматизм смены периода национального оптимизма 1920-х годов на период крушения иллюзий 1930-х, трагизм человеческих судеб траурно-юбилейного 1937-го, времени ухода из жизни упомянутых в письмах выдающихся белорусских общественных и культурных деятелей.

Микола ТРУС

Из Минска в Ярославль: письма Адама Богдановича к сыну Павлу

4/VI 23 г. Минск

Дорогой Павлуша![1] Я уже 5 день в Минске. Встреча была и торжественная, и трогательная. На вокзале меня встретили б.<ывший> председатель белорусск.<ого> правительства и поэт Цишка Гартны[2], председат.<ель> Института белорусской культуры[3] Некрашевич[4] и член этого института О. Л. Дыло[5]. Был подан автомобиль председателя ЦИКа т.<оварища> Червякова,[6] и меня доставили на квартиру Дыло, где отвели отдельную комнату, где я и теперь живу и кормлюсь.

В день приезда я был приглашен на заседание института. Приветственная речь. Я от волнения долго не мог отвечать. Тут же была избрана Комиссия для приема рукописей, которая уже один день работала по их предварительному разбору. Завтра опять будет разбор и приведение в порядок для описи.

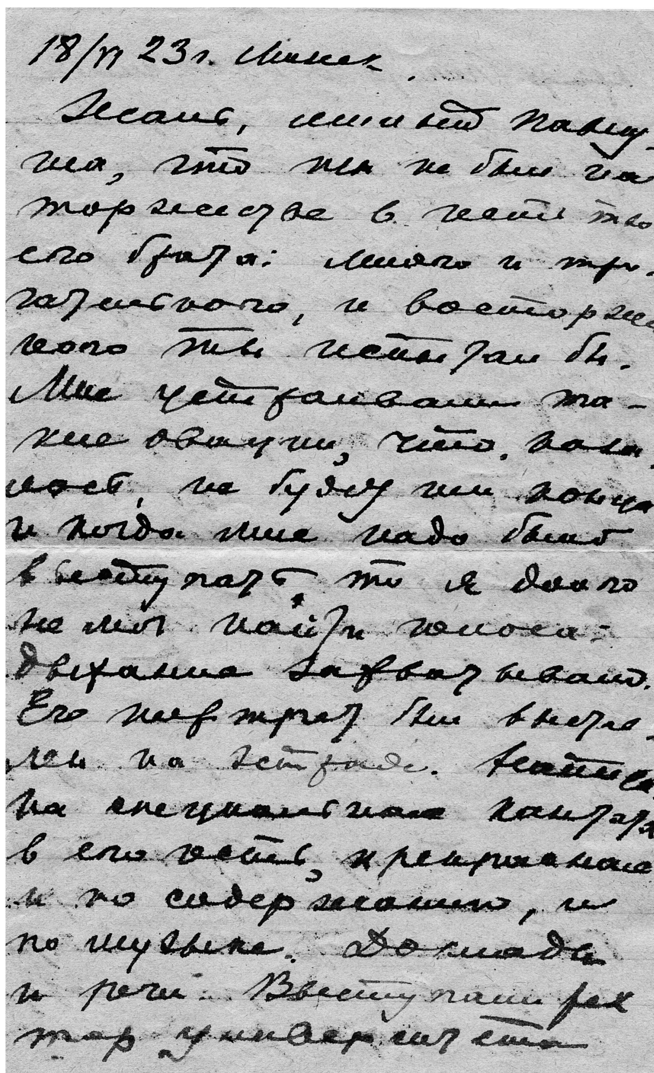
Вечером повели меня в детский дом имени Червякова, где говорили детям о Максиме и его стихах. Мальчик ответил мне приветствием, а затем пели песни на Максимовы стихи и даже изобразили маленький балет на его стихотворение «Астры»[7]. Дети и подростки облепили меня и поднесли букет.

Затем я делал визиты председателю ЦИКа, наркомпросу и другим. Осмотрел библиотеку, музей и пр. В субботу вечером был на детском спектакле по случаю годовщины Детского народн.<ого> дома, где ребята сыграли одну белорусскую пьесу, пели и плясали.

Побывал с визитом у некоторых выдающихся поэтов, нашел одного знакомого, но других разыскать так-таки пока не удалось.

Сделано мне предложение поступить на службу в Минск, но пока я не дал положительного ответа.

На днях собираюсь поехать в Холопеничи[8]. <…>


18/VI 23 г. Минск.

Жаль, милый Павлуша, что ты не был на торжестве в честь твоего брата: много и трогательного, и восторженного ты испытал бы. Мне устраивали такие овации, что, казалось, не будет им конца, и когда мне надо было выступать, то я долго не мог найти голоса: дыхание захватывало. Его портрет был выставлен на эстраде. Исполнялась специальная кантата в его честь, прекрасная и по содержанию, и по музыке. Доклады и речи. Выступал ректор университета

Страница письма Адама Богдановича к сыну Павлу. Минск, 18 июня 1923 года.

Целую маму[9] и Вас всех. Передай мои поклоны в музей Нилу Григорьевичу Первухину[10] и всем сослуживцам. Ознакомь их с содержанием письма и скажи, что напишу им вскорости.

Писать мне можешь по следующему адресу: Минск, Университетская[11], 32, кв. Дыло.

Твой папа.

[1] Павел Богданович (1901—1968), математик, педагог. Сводный брат М. Богдановича.

[2] Тишка Гартный (белор. Цішка Гартны; наст. Дмитрий Жилунович; 1887—1937), писатель, государственный деятель. В 1919 г. глава Временного рабоче-крестьянского правительства ССРБ. В первой половине 1920-х гг. редактор газеты «Савецкая Беларусь», журнала «Полымя», директор Государственного издательства и Государственного архива БССР.

[3] Институт белорусской культуры (1922—1928), первая белорусская научно-исследовательская многоотраслевая организация, реорганизованная в Белорусскую Академию Наук. В Инбелкульте были подготовлены и изданы «Творы М. Багдановіча» (т. 1—2, 1927—1928).

[4] Степан Некрашевич (1883—1937), ученый-языковед, общественный деятель, инициатор создания и первый председатель Инбелкульта (1922—1924).

[5] Осип Дыло (белор. Язэп Дыла; 1880—1973), писатель, общественный деятель. Председатель Центробелсоюза (1921—1923) и Государственной плановой комиссии БССР (1923—1924).

[6] Александр Червяков (1892—1937), государственный и партийный деятель. Председатель ЦИК (1920—1937) и СНК БССР (1920—1924), народный комиссар по иностранным делам БССР (1921—1923).

[7] Имеется в виду перевод стихотворения украинского поэта Александра Олеся, сделанный М. Богдановичем.

[8] Холопеничи, городской поселок в Крупском р-не Минской обл. Родина А. Богдановича.

[9] Имеется в виду Александра Мякота (1874—1947), третья жена А. Богдановича. Мать сводных братьев М. Богдановича — Павла, Николая, Алексея, Вячеслава, Романа.

[10] Нил Первухин (1874—1954), краевед, музейный деятель. Редактор (вместе с П. Критским) журнала «Русский экскурсант», в котором печатался М. Богданович. Заведующий Ярославским объединенным губернским музеем (1921—1924).

[11] Теперь улица им. Кирова.

18/VI 23 г. Минск

Жаль, милый Павлуша, что ты не был на торжестве в честь твоего брата: много и трогательного, и восторженного ты испытал бы. Мне устраивали такие овации, что, казалось, не будет им конца. И когда мне надо было выступать, то я долго не мог найти голоса: дыхание захватывало.

Его портрет был выставлен на эстраде. Написана специальная кантата в его честь, прекрасная и по содержанию, и по музыке. Доклады и речи...

Выступали ректор университета проф.<ессор> Пичето[1] о Максиме как ученом, проф.<ессор> Петухович[2] с общей характеристикой его поэзии и ее значения в белорусской литературе. Громыка[3] — выдающийся поэт — о приемах и особенностях его творчества; выступали и другие, рассматривавшие его творчество с разных точек зрения. Был специальный доклад о разборе и содержании его архива. Но первая речь была посвящена мне и моей культурной и научной работе с просьбой перенести свою деятельность в родную

Белоруссию. Тут раздались столь восторженные аплодисменты, что все сотрясалось, как от грома. Каждое выступление заканчивалось славой: Беларуси песняру, Богдановичу Максиму, слава! и пр. Общий вывод всех выступлений, что Максим — краса и гордость белорусской литературы, превосходящий своим значением всех других поэтов.

К сожалению, под конец вечер пришлось скомкать: электричество погасло, и подписка на памятную мраморную доску[4] на доме, где он родился, проводилась при лампах.

В заключение был дан банкет в мою честь, который оживленно и весело продолжался до 5 часов утра.

Тут я, опьяненный восторгами, дал обещание переехать в Белоруссию. Боюсь, чтобы не пришлось каяться, но дело сделано. Мне предлагают заведование Государств.<енной> библиотекой, место в Инбелкульте, а сегодня ректор Университета сделал предложение читать лекции в Университете.

Передай об этом моим знакомым и в музее, с моим сожалением если придется с ними расстаться. Придется, видно, вам обелоруситься.

Поклоны. Маме поцелуй.

Твой папа.

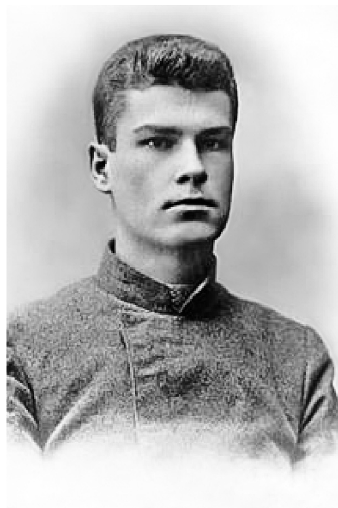
[1] Владимир Пичета (1878—1947), историк, педагог. Первый ректор Белорусского государственного университета (1921—1929). Автор статьи «М. Богданович как историк белорусского возрождения» («Вестник Народного Комиссариата Просвещения С.С.Р.Б.», 1922, № 5—6).

[2] Михаил Пиотухович (1891—1937), критик, литературовед, педагог. С 1922 г. преподавал в БГУ, профессор (1926). Автор ряда статей о творчестве М. Богдановича.

[3] Михаил Громыко (белор. Міхайла Грамыка; 1885—1969), писатель, педагог. В 1920-х гг. работал в Инбелкульте, преподавал в БГУ и Белпедтехникуме.

[4] Документ хранится в фондах ЦНА НАН Беларуси.

Первая публикация. Подготовка текста и комментарии Миколы ТРУСА.



Максим БОГДАНОВИЧ

Так сияй же, звезда негасимая!

Вечер

Вышел месяц, стал над крышей
В куще тополиной,
Весь он круглый, светло-рыжий,
Словно глаз совиный.

Над листвой темно-зеленой
Грузный хрущ летает,
О любви неразделенной
Кто-то запевает.

Голос полем прокатился,
В пуще отозвался:
«Где ж та светлая криничка,
Что голубь купался?»

Как прощальный журавлиный
Голос в поднебесье,
Льнет к душе напев старинный
Белорусской песни.

* * *

Вот и ночь. Плачут звезды ночные, и светлые слезы,
Что ложатся росой, жадно пьют изможденные почвы.
Раскрываются росам и листья, и травы, и розы,
И душа раскрывается перед слезинками ночи.

И не высказать мне, как светлела она и теплела,
И какие слова так доверчиво небу шептала,
Только слушало синее небо и мрачно темнело,
И слеза покатилась, и в темную бездну упала.

Романс

Не найти мне покоя ни ночью, ни утром, ни днем,
Это злая любовь обжигает мне сердце огнем.
Есть известное средство, чтоб жгучую боль заглушить,
Надо к ноющей ране холодной земли приложить.
Еще лучше лежать в ней и вовсе на свете не быть,
Чтоб унять все мученья и злую любовь позабыть.

* * *

Доброй ночи, заря-заряница!
Мгла ночная на землю ложится,
Черной ризою все покрывает,
Пылью звезд небосвод обсевает.
Тишина овевает мне душу.
Ветерок придорожную грушу
Дуновеньем ласкает-колышет,
И серебряной россыпью брызжет
В тишине колокольчик криницы.
Доброй ночи, заря-заряница!

Ночь

Тихо все было на небе, земле и на сердце.
Свежая мгла, все сгущаясь, поля покрывала.
Светлые звезды зажглись, и диск месяца выплыл,

Небо, и лес, и поля серебром обливая.
Все засыпало, и только березы шептались,
Тихо шумели осины, и только колосья,
Низко склонясь до землицы, как будто ее целовали.
Тихо все было на небе, земле и на сердце.

* * *

Честь героям, что со славой
За родимый край в бою,
Жребий вытянув кровавый,
Гибель встретили свою.

Только нет славнее доли
Матерей, что жизнь дают,
Родовые терпят боли,
Кровь спасительную льют.

Слава всем, кто выбирает
Имя праведное — мать,
Кто при родах умирает,
Чтобы жизнь ребенку дать.

* * *

Белый крест, плита, под ней — могила,
На могиле роза расцвела.
Здесь когда-то ты, мой друг, почила —
Породила в муках и легла.

Улеглись и боль в душе, и горе —
Тяжким камнем залегли на дне,
Но всплывает надпись: «Disce mori»[1],
Чтоб напомнить о моей вине.

Сомнамбул

Из окна в его ложе глядела луна,
И звала за собой, и манила она,
И заставила к темной воде подойти —
Сердце пойманной рыбкой забилось в груди.
Но луна на воде яркий факел зажгла
И серебряный мост на реке возвела,
Убегала искристой дорожкой волна,

[1] Disce mori — учись умирать *(лат.)*.

Уводила в страну, где любовь и весна.
Ненапрасно луна его страстно звала,
Ненапрасно к глубокой воде подвела...
Он пошел по мосту, и у темного дна
Оплели его сон, глубина, тишина.

Моя душа

Моя душа — как ястреб дикий,
Что рвется в небо на простор,
Где слышатся пернатых крики,
Моя душа — как ястреб дикий.

Стряхнет она, как груз великий,
Тоску, взовьется выше гор.
Моя душа — как ястреб дикий,
Что рвется в небо на простор.

* * *

В непогожий вечер много в сердце грусти...
Чтобы грусть развеять, тихо напеваю:
— Ой, летели гуси да из Беларуси,
Замутили воду тихого Дуная.

Есть любовь и дружба, злоба и участье,
Многое изведать в жизни нам придется,
Запою я песню про чужое счастье,
О своем, о личном, что-то не поется.

Перед паводком

Расчудесная погода.
Наконец пришла весна,
И уснувшая природа
Пробуждается от сна.

И под птичий свист и гомон,
Дав воде свободный ход,
Устремится к морю Неман,
На себе неся весь лед.

Затрещат, толкаясь, льдины,
И бурлящая вода
Снег размокший в миг единый
Смоет с луга без следа.

Грей лучами землю, солнце,
Дай хозяйничать весне,
Загляни в мое оконце
И порадуй душу мне.

* * *

Мы долго плыли в море грозном
К обетованной нам земле,
И путь держали мы по звездам,
В итоге — течь на корабле.
Он сел на рифы в море грозном,
Прощай, желанная земля!
И равнодушно смотрят звезды,
Как гибнут люди с корабля.

Вьюга

Как в бубен, вьюга в крышу бьет,
То дико воет, то поет.
И эти звуки все сильней —
Справляет шабаш пан Подвей.
Как в бубен, вьюга в крышу бьет,
То дико воет, то поет.
Вскипает снежное вино,
И густо пенится оно.
Как в бубен, вьюга в крышу бьет,
То дико воет, то поет.
И бешено, впадая в хмель,
Вдоль улиц кружится метель.
Как в бубен, вьюга в крышу бьет,
То дико воет, то поет.

Снилось мне

Я все выше и выше на гору взбирался,
Мне приблизиться к солнцу хотелось давно,
Но чем ближе к нему подойти я старался,
Тем холодней становилось оно.

Горный кряж на вершине поземкой дымился,
Ветер бил мне в лицо все сильнее и злей,
Постояв на уступе, я вниз устремился,
Там хоть солнце и дальше, но греет теплей.

На чужбине

Как много на юге цветов расцветает...
Брожу среди них, позабыт, одинок,

Вдруг вижу — мне синей головкой кивает
Родной наш, забытый, как я, василек.
«Привет, землячок!» Неприметный в долине,
Он словно бы шепчет таинственно мне:
«Давай будем помнить на дальней чужбине
О бедной, далекой, родной стороне».

Зимняя дорога

Мчатся кони в заснеженном поле,
Колокольчик звенит под дугой,
Напевая о доле и воле,
Навевая на сердце покой.

Только заячьи вьются дорожки,
Только блестки искрятся в следах,
Только месяца острые рожки
Позолотой сверкают во льдах.

Тонет поле в сребристом тумане,
Снег блестит, как холодная сталь,
И летят мои легкие сани,
Унося меня в синюю даль.

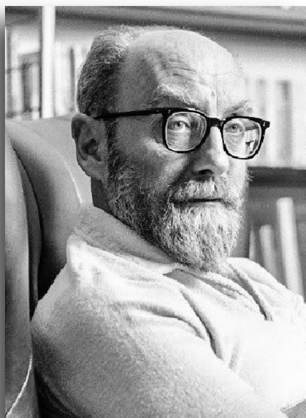
* * *

Много в жизни есть разных дорог,
Но кончаются все у могилы.
У людей всех — единый итог.
И расстратив при жизни все силы,
Мы когда-нибудь встретимся там,
Чтоб друг друга спросить: для чего мы
Шли, неведомой силой влекомы?
Для чего торопились мы так
И зачем надрывали все жилы,
Если тихо ползущий червяк
Смог догнать нас у края могилы.

* * *

Так сияй же, звезда негасимая!
Нам дороги-пути освети.
Беларусь моя! Родина милая!
Встань и путь свой свободный найди.

Перевод с белорусского Анатолия ЦИРКУНОВА.



Десмонд БЭГЛИ

Бегущие наобум[*]

Роман

Я избрал удивительный способ добраться до Рейкьявика: когда нажал на педаль, вольво двинулся в совершенно противоположном направлении. С облегчением я вздохнул только миновав мост через реку Тьерш, потому что был уверен в решении Кенникена выставить там засаду.

Однако когда проехали Хелли, меня охватило такое чувство неуверенности, что съехал с главной дороги и углубился в сеть грунтовых дорог, направляемый внутренним голосом, убеждавшим меня, что найти нас здесь невозможно.

В полдень Элин решительно заявила:

— Кофе.

— У тебя что, есть волшебная палочка?

— У меня есть термос, хлеб и маринованная сельдь. Я пошарила на кухне у Сигурлин.

— Сейчас рад, что ты поехала со мной. Самому никогда не пришло бы в голову.

Я притормозил и остановился.

— Мужчины такие непрактичные, — скромно изрекла Элин.

— Кто этот твой приятель из Вика?

— Валтыр Балдвиссон, один из старых школьных друзей Бьярни. Он — биолог, специалист в морской биологии, занимается прибрежной экологией. Хочет определить возможные изменения, которые пройдут в случае извержения Катлы.

— А, поэтому у него есть лодка, — догадался я. — Но почему ты считаешь, будто Валтыр перевезет нас в Кеблавик?

Она покачала головой.

— Он так сделает, если его попрошу.

Я усмехнулся.

— И кто же эта обаятельная дама, губительно влияющая на мужчин? Уж не та ли самая Мата Хари, знаменитая женщина-шпион?

Она зарумянилась, но уверенно добавила:

— Валтыр тебе понравится.

Так и случилось. Он оказался неуклюжим мужчиной, который, если не принимать во внимание румяные щеки, словно был вытесан из глыбы исландского базальта. Квадратное лицо, квадратный торс и мощные руки, заканчивающиеся пальцами, напоминающими сардельки, казавшимися непригодными для тонкой работы, которой он занимался, когда мы вошли в его лабораторию. Он глянул на нас поверх слайда, который как раз рассматривал, и гаркнул во весь голос:

---

[1] Окончание. Начало в № 3, 4 за 2017 г.

— Элин! Что ты здесь делаешь?

— Проездом. Познакомься с Аланом Стюартом из Шотландии.

Моя рука утонула в его могучей лапище.

— Мне очень приятно, — заявил он, а я тотчас же поверил, что так оно и есть.

Он повернулся к Элин.

— Тебе повезло, что ты меня застала. Завтра уезжаю.

Элин подняла брови.

— О! Куда?

— Мое начальство, наконец, решило дать мне новый мотор для той рухляди, которая у меня вместо лодки. Собираюсь в Рейкьявик.

Элин бросила на меня быстрый взгляд. Я согласно кивнул. Иногда тебе нужно иметь чуть-чуть счастья. Я здесь все время думал, как Элин, не возбуждая подозрений, собирается уговорить его переправить нас в Кеблавик, а тут на тебе, плод сам падает в руки.

Она радостно улыбнулась.

— Может, возьмешь двух пассажиров? Я говорила Алану, что ты покажешь нам Суртсей на лодке, но мы с удовольствием поплывем с тобой до Кеблавика. У Алана там встреча с кем-то через пару дней.

— Мне будет очень приятно плыть в обществе, — ответил он серьезно. — Это длинная дорога, и хорошо иметь кого-нибудь рядом, чтобы он мог подменить меня у руля. Как поживает твой отец?

— Спасибо. Хорошо.

— А Бьерни? Кристин уже родила ему сына?

Элин рассмеялась.

— Еще нет, но уже скоро. Откуда ты все-таки знаешь, что это будет не дочь?

— Будет парень, — изрек он уверенно. — Ты приехал в отпуск? — спросил меня по-английски.

— Почти. Я приезжаю сюда каждый год, — ответил я по-исландски.

Он, похоже, удивился, но спустя мгновение улыбнулся.

— У нас мало таких энтузиастов.

Я разглядывал лабораторию. Бутылки с реактивами и экспонаты под стеклом. В воздухе носился запах формалина.

— Чем ты здесь занимаешься? — спросил.

— Я сижу здесь уже пять лет, и может быть, придется подождать еще десять, хотя, по правде говоря, я так не думаю. Вулкан и так слишком долго спит, — он хлопнул меня по плечу. — С одинаковым успехом извержение может произойти и завтра, и тогда прости-прощай поездка в Кеблавик.

— Меня такая возможность не удручает, — сухо заметил я.

Он заорал на всю лабораторию:

— Элин, в твою честь устраиваю сегодня выходной!

Он тремя прыжками подскочил к ней и схватил в объятия так, что она взмолилась о пощаде.

Я не обратил на возню особого внимания, потому что увидел газету, лежащую на столе. Название статьи, набранное аршинными буквами в утренней газете из Рейкьявика, бросалось в глаза: «Перестрелка в Гейсир».

Быстро прочитал весь материал. Если судить по сообщению, то в Гейсир вспыхнула настоящая война, во время которой воюющие стороны прибегли ко всему арсеналу стрелкового оружия. Однако показания свидетелей между собой отличались. Похоже, что некто, Игорь Волков, русский турист, слишком близко подошел к Строккуру и находится сейчас в больнице. Огнестрельных ран у него не обнаружено. В связи с ничем не спровоцированным нападением на советского гражданина посол этой

страны выразил официальный протест в Министерство иностранных дел Исландии.

Автор статьи довольно резко и холодно задавал вопрос советскому послу: почему упоминавшийся гражданин СССР Игорь Волков во время описываемых событий был вооружен до зубов, хотя не внес оружия в таможенную декларацию во время въезда в Исландию.

Я поморщился. Кенникен и я, похоже, вели все к тому, чтобы заморозить исландско-советские отношения.

На следующий день мы двинулись в путь почти в полдень. Настроение у меня было преотвратное, поскольку голова, казалось, налита оловом. Валтыр оказался чемпионом по выпивке, а мои попытки не отставать от него привели меня, ослабленного бессонницей, к плачевному результату. Он с громким смехом уложил меня в постель, а утром встал свежий как огурчик, тогда как у меня во рту осталось ощущение, будто я весь вечер пил формалин из его банок с экспонатами.

Мое самочувствие не улучшилось после звонка в Лондон. Я хотел переговорить с Тэггартом, но лишь узнал, что его в Конторе нет. Вежливым, служебным тоном мне отказались сообщить его местопребывание, предлагая взамен оставить ему известие, на что я, в свою очередь, не согласился. Кейс вел себя подозрительно, и это заставляло меня всерьез задуматься над тем, кому же могу доверять в Конторе, и у меня не возникло желания говорить ни с кем, кроме Тэггарта.

Валтыр с интересом посмотрел на два длинных, завернутых в мешковину свертка, которые я внес на борт лодки, но не сказал ни слова. Я, со своей стороны, надеялся, что они не слишком напоминают то, чем были на самом деле. Я забрал с собой карабины, потому что они могли мне пригодиться.

Лодка была длиной около восьми метров. Небольшая кабина оказалась настолько низкой, что в ней можно было только сидеть; а куцая деревянная крыша предназначалась для защиты рулевого от непогоды. Я прикинул на морской карте расстояние от Вика до Кеблавика и засомневался, удастся ли нам его преодолеть.

— Сколько времени будем плыть? — спросил Валтыра.

— Около двадцати часов, — ответил он, добавив добродушно: — При условии, что этот чертов мотор выдержит. Если нет, то путешествие продлится сто лет. Ты страдаешь морской болезнью?

— Не знаю. Не было случая проверить.

— Ну так сейчас проверишь, — захохотал он.

Мы вышли из залива. Лодка опасно закачалась на волнах открытого моря. Свежий ветер развевал волосы Элин.

Поплыли дальше. Лодка погружалась в гребни волн, время от времени уходя носом в воду, и выходила на поверхность, вздымая лавину брызг. Море для меня чужая среда, и на мой взгляд, все это выглядело довольно опасно, но Валтыр и Элин воспринимали происходящее спокойно. Мотор, судя по размерам, больше подходил бы к миниатюрной лодке, кашлял и чихал, а когда переставал стучать, что, как мне показалось, происходило довольно часто, Валтыр помогал ему пинком. Сейчас я понял, почему его так обрадовала перспектива получения нового мотора.

Через шесть часов мы доплыли до Суртсей. Валтыр прошел вокруг острова, держась поближе к берегу, а я задавал ему соответствующие вопросы. При этом Валтыр с огорчением сказал:

— Знаешь, не могу высадить тебя на берег.

Суртсей, который вынырнул со дна морского под оглушительный аккомпанемент грохота и пламени, доступен лишь для ученых, ищущих

ответ на вопрос, каким образом жизнь развивается в таких убогих условиях. Естественно при этом, что они не желают видеть на острове туристов, которые на своей обуви могут занести на остров семена растений.

— Не беда, — утешил я его, — не помышлял о высадке на землю.

Валтыр внезапно хихикнул:

— Помнишь «селедочную войну»?

Я согласно кивнул. Под этим названием скрывался спор между Исландией и Великобританией о границе прибрежного шельфа. Разногласия породили много неприязни между рыболовными флотилиями обеих стран. Наконец спор разрешился, и Исландия получила двенадцатимильную прибрежную зону.

Валтыр рассмеялся и продолжал:

— Рождение Суртсей передвинуло нашу рыболовную сферу на тридцать километров дальше на юг. Я как-то встретил одного английского капитана, который на полном серьезе утверждал, будто здесь дело нечисто, словно мы приложили к нему руку. Ну, так я и сказал ему тогда, что якобы слышал от одного геолога, через миллион лет рыболовная сфера продвинется на юг аж до Шотландии.

И он расхохотался во все горло.

После отплытия от берегов Суртсей мне уже не нужно было притворяться, будто испытываю к нему интерес, поэтому я лег спать. Вытянулся на койке и заснул как убитый.

Спал долго и крепко, и когда Элин разбудила меня, услышал:

— Подплываем.

Я зевнул.

— Куда?

— Валтыр высадит нас на берег в Кеблавике.

Я сел, едва не разбив себе голову о балку. Над нами раздался шум летящего самолета. Когда я оказался на корме, то увидел, что мы действительно приближаемся к берегу, а самолет заходит на посадку. Я потянулся и спросил:

— Который час?

— Восемь, — ответил Валтыр. — Крепко спал.

— Конечно, после поединка с тобой мне потребовалось много сна.

Он широко улыбнулся.

Мы причалили к берегу. Элин выскочила первой и приняла от меня упакованные карабины.

— Спасибо за услугу, Валтыр.

Он помахал рукой в ответ.

— Не за что. Может, мне удастся раздобыть тебе разрешение на прогулку по Суртсей. Как долго ты здесь пробудешь?

— До конца лета. Но не знаю, где буду обитать.

— Состыкуемся.

Мы стояли на берегу, глядя, как он отплывает. Потом Элин спросила:

— Какие у нас планы?

— Я должен встретиться с Ли Нордлингером. Довольно рискованный шаг, но я хочу узнать от него кое-что о нашем приборе. Как ты думаешь, Бьерни здесь?

— Сомневаюсь. Обычно он летает с аэропорта в Рейкьявике.

— Хочу, чтобы ты после завтрака пошла в аэропорт и узнала в Исландской авиакомпании, где Бьерни, а затем ждала меня там, — я потер подбородок и почувствовал под пальцами колючую щетину. — И помни, держись подальше от центрального зала. Кенникен наверняка выставил везде посты, не хочу, чтобы тебя увидели.

— Сначала завтрак, — заявила она. — Знаю поблизости неплохое кафе.

Когда я вошел к Нордлингеру и поставил карабин в углу комнаты, он глянул на меня с некоторой долей удивления, заметив карманы с выпирающей амуницией, небритые щеки и в сумме всю мою малоцивилизованную внешность. Бросил взгляд в угол комнаты.

— Довольно тяжелый для удочек, — прокомментировал он. — Ты ужасно выглядишь, Алан.

— Я путешествовал в довольно сложных условиях, — ответил, усаживаясь. — Ты мог бы дать мне электробритву? Хочу, чтобы ты кое-что посмотрел.

Он выдвинул ящик стола, достал электробритву на батарейках и толкнул по столу ко мне.

— Ванная в конце коридора, вторая дверь. Что ты мне хочешь показать?

Я заколебался. Не мог просить Нордлингера держать язык за зубами, невзирая на то, что он откроет. В конце концов решил поставить ва-банк и рискнуть. Достал из кармана металлическую коробочку, снял ленту, крепившую крышку, и вытряхнул содержимое. Положил прибор перед Нордлингером.

— Что это такое, Ли?

Он посмотрел какое-то время на прибор, ничего не трогая, а затем спросил:

— Что ты хочешь о нем знать?

— Практически все. Но сначала скажи, в какой стране он сделан.

Он взял прибор в руки и принялся рассматривать. Если кто и мог что-либо знать в этой области, то наверняка это был Ли Нордлингер, офицер военно-морского флота США. Он служил на военной базе в Кеблавике в ранге офицера-электронщика, руководителем наземной и бортовой радиолокации. Из того, что о нем слышал, он был чертовски хорошим специалистом.

— Почти уверен, что это американское производство, — он потрогал прибор пальцем. — Узнаю некоторые компоненты, например, эти реостаты стандартная работа американцев. — Снова покрутил прибор в руках. — Использует ток частотой в пятьдесят герц и напряжение, принятое в Америке.

— Хорошо, а сейчас скажи, что это такое.

— Этого я еще не знаю. Побойся Бога, ты приносишь мне кучу разных контуров и цепей, надеясь, что я с первого взгляда могу все назвать. Может, я и хорош в своем деле, но не настолько.

— А можешь сказать, чем он наверняка не является? — терпеливо попросил я.

— Ну, это не транзистор, наверняка, — убежденно сказал он и поморщился. — Так, честно говоря, он не похож ни на что виденное мной раньше. — Он постучал пальцем в закрепленный посередине кусочек металла странной формы. — Ничего такого, например, я никогда раньше не видел.

— Можешь его протестировать?

— Конечно.

Он поднялся из-за стола.

— Подключи к нему ток и посмотри, может, он заиграет нам гимн Соединенных Штатов.

Пока мы шли по коридору, он спросил:

— Откуда он у тебя?

— Достал, — загадочно ответил я.

Он бросил на меня испытующий взгляд, но ничего не сказал.

Мы прошли через вращающуюся дверь в конце коридора и вошли в большую комнату, где стояли длинные столы, заставленные электронными аксессуарами. Ли дал знак офицеру, и тот подошел к нам.

— Привет! Я хочу кое-что протестировать. Есть какой-нибудь свободный стол?

— Понятно, — тот осмотрел комнату. — Возьмите пятый, он будет свободен какое-то время.

Я посмотрел на испытательный стенд. В глазах зарябило от переключателей, циферблатов и экранов, в которых я ничего не смыслил. Нордлингер сел.

— Возьми себе стул. Сейчас посмотрим, что будет происходить.

Он присоединил наконечник к зажимам прибора и приостановился.

— Мы уже знаем кое-что об этом предмете. Он не является частью оснащения самолета, потому что там не используют столь высокое напряжение. По тем же причинам исключаются морские суда, таким образом, остается наземное оборудование. Этот прибор питается током, используемым на североамериканском континенте. Поэтому он с таким же успехом мог быть произведен в Канаде: многие фирмы применяют компоненты американского производства.

— Может он быть частью телевизионного приемника? — спросил я.

— Мне, во всяком случае, еще не доводилось видеть такой телевизор, — он щелкнул переключателем. — Сто десять вольт, пятьдесят герц. Мы не знаем силы тока в амперах, поэтому должны быть осторожны. Начнем с низких величин.

Он осторожно повернул ручку настройки: тонкая игла измерительного прибора едва дрогнула. Ли глянул на мое загадочное приобретение.

— Оно сейчас под током, но таким слабым, что не убил бы и мухи, — поднял взгляд на меня. — Кстати, эта игрушка — чья-то свихнувшаяся выдумка, в подобных компонентах не применяется переменный ток. Идем дальше. Увеличим напряжение на три фазы. И снова что-то непонятное.

Он взял щуп, присоединенный к сети.

— Если мы приложим щуп к этому месту, то должны получить на осциллографе синусоидальную фазу, — посмотрел на экран. — Ну, вот и она. А сейчас посмотрим, что происходит в контуре, подходящем к этому кусочку странной формы.

Он аккуратно приложил щуп, и зеленое изображение на экране осциллографа прыгнуло, приобрело новые очертания.

— Прямоугольная фаза, — прокомментировал он. — Часть контура до этого места действует как прерыватель, что само по себе удивительно по причинам, в которые я сейчас не буду углубляться. Проверим еще, что происходит в цепи, выходящей из кусочка металла к мешанине пластинок.

Он приложил щуп, изображение на осциллографе снова прыгнуло, чтобы через секунду стабилизироваться. Нордлингер присвистнул.

— Посмотри на это спагетти, — зеленая линия, извиваясь причудливыми волнами, ритмично менялась каждое мгновение. — Чтобы это расшифровать, пришлось бы прилично попотеть, используя гармоничный анализ. Но что бы то ни было, импульс идет от металлической игрушки.

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Ничего. Попробую еще проверить выходную фазу. Изображение на экране должно превратиться в нечто сумасшедшее. Как бы осциллограф не гробанулся.

Он приложил щуп и выжидательно посмотрел на экран.

— Чего ты ждешь? — спросил я.

— Ничего, — он не отрывал изумленного взгляда от экрана. — На выходе ничего нет.

— Это что, плохо?

Он глянул на меня каким-то странным взглядом и ласково сказал:

— Это попросту невозможно.

— Может, что-нибудь испортилось?

— Я вижу, ты ничего не понимаешь. Цепь или контур, как показывает само название, это как бы замкнутое кольцо, если кольцо в каком-то месте прервать, ток вообще не идет.

Он снова приложил штырь.

— Здесь идет ток со сложной фазовой конфигурацией, — экран снова замерцал. — А что мы имеем в другом месте той же самой цепи?

Он глянул на потухший экран.

— Ничего?

— Ничего, — решительно подтвердил он, но тотчас заколебался. — Или, говоря точнее, мы больше ничего не узнаем при помощи этого измерительного стенда. — Нордлингер дотронулся до испытательного прибора. — Ты не будешь возражать, если я заберу его на время?

— Зачем?

— Хочу более тщательно протестировать. У нас есть еще одна лаборатория… — Он кашлянул, несколько смешавшись. — Хм… но ты туда не можешь войти.

— Ага, совершенно секретно, посторонним вход воспрещен. — Видимо, для одного из таких мест и служил пропуск Флита. — Хорошо, проверь его, а я пока пойду бриться. И подожду тебя в твоей комнате.

— Еще минутку, — остановил меня. — Откуда он у тебя?

— Скажи мне, для чего он используется, и я скажу, откуда он у меня. — Я повернулся и пошел в его комнату. Взял электробритву и принялся за работу. За пятнадцать минут избавился от щетины и сразу почувствовал себя лучше. Мне оставалось лишь ждать возвращения Нордлингера. Ждал долго: прошло полтора часа, прежде чем он вернулся.

Он вошел, держа в руках загадочное устройство, словно шашку динамита. И осторожно положил его на стол.

— Я должен знать, откуда оно у тебя, — начал он без всяких вступлений.

— Сначала скажи, для чего оно предназначено.

Он сел за стол, глядя на пластиково-металлическую конструкцию почти с отвращением.

— Ни для чего, — решительно заверил он. — Абсолютно ни для чего.

— Перестань! Ведь должно же оно где-то применяться.

— А я говорю тебе, что — нет. В нем нет никакого выхода энергии. Он наклонился вперед и тихо продолжал: — Алан, у меня есть приборы, которыми можно измерить магнитное поле призраков. Но из этого устройства абсолютно ничего не выходит.

— А может, как я сказал, что-нибудь испортилось?

— Я проверил все и говорю тебе: этот пистолет не выстрелит. — Он толкнул устройство, и оно боком поехало по крышке стола. — Мне не нравятся в нем три вещи: во-первых, в нем присутствуют компоненты, которые ничем не напоминают те, какие я когда-либо видел. Более того, не представляю, для чего они могут служить, а это уже достаточная причина чувствовать себя не в своей тарелке, особенно если имеешь репутацию хорошего специалиста. Во-вторых, то, что мы имеем здесь, лишь часть какого-то комплекса. Вообще-то, я очень сомневаюсь, что был бы в состоянии расшифровать весь комплекс, имея его целиком в руках. И, наконец, в-третьих, самое главное: этот прибор вообще не должен работать.

— Так он и не работает, — вставил я.

Он махнул рукой с раздражением.

— Может, я неправильно выразился. Дело в том, что должен быть какой-то выход энергии. Боже мой, ведь невозможно без конца насыщать машину энергией, не имея возможности получить ее обратно в какой-то форме. Это абсолютно невозможно.

— Может, она выходит в форме тепловой энергии, — предположил я.

Он отрицательно покачал головой.

— В конце я так разозлился, что пошел ва-банк и пропустил через контур ток мощностью в тысячу ватт. Если бы эта проклятая штука преобразовывала ток в тепло, оно должно было раскалиться добела. А вот и нет, осталось холодным, как и раньше.

— Я вижу, тебе не помешало бы чуть хладнокровия.

Он раздраженно развел руками.

— Послушай, Алан, представь себе, что ты — математик и однажды наткнулся на уравнение, из которого следует, что дважды два — пять, и к тому же все в нем правильно. Вот представь себя в такой ситуации, и ты поймешь, как я себя чувствую. Это то же, что дать физику вечный двигатель, который действительно работает.

— Подожди, — прервал, — вечный двигатель дает что-то из ничего. А здесь у нас наоборот.

— Нет никакой разницы. Энергию нельзя создать или уничтожить. — И увидев, что я хочу вмешаться, быстро добавил: — И не говори мне о ядерной энергии. Материю можно рассматривать как замороженную, сконцентрированную энергию. — Он угрюмо глянул на загадочное устройство. — А это что-то уничтожает энергию!

Уничтожает энергию! Я перемалывал эту мысль в своих серых клетках мозга, пытаясь разобраться, что я в этом смыслю. Ответ гласил: ничего.

— Давай не удаляться слишком далеко, — остановил его. — Посмотрим внимательно на то, что имеем. Итак, подключаем ток и получаем.

— Ничего! — воскликнул он.

— Скорее что-то, что не в состоянии измерить, — поправил я. — У тебя могут быть очень неплохие приборы, но ты не располагаешь всеми необходимыми. Могу поспорить, что где-то живет гений, который не только знает, какую работу выполняет наше чудо-юдо, но имеет еще более затейливые приборы, измеряющие эту работу.

— Если это так, то я охотно на них посмотрел бы, поскольку они находятся за границами моих знаний.

— Ты ведь не ученый, а технарь. Согласен со мной?

— Конечно, я давным-давно инженер.

— И поэтому носишь короткую прическу. А эта игрушка сделана каким-то длинноволосым, — я улыбнулся. — Или яйцеголовым.

— Я по-прежнему хочу знать, откуда она у тебя.

— Тебя больше должно заинтересовать, куда она попадет. У тебя есть здесь какой-нибудь надежный сейф?

— Разумеется, — он заколебался. — Хочешь, чтобы я это оставил у себя?

— На сорок восемь часов. Если за это время не появлюсь здесь, передашь прибор своему начальству вместе с сомнениями, которые у тебя возникли. Пусть оно ломает голову.

Нордлингер холодно посмотрел на меня.

— Не совсем понимаю, почему бы не отдать его сразу. За эти сорок восемь часов я могу поплатиться головой.

— Наверняка ее потеряю, если ты не согласишься, — мрачно заметил я. Он взял в руки прибор.

— Это американское изделие, но не является собственностью военной базы в Кеблавике. Я очень хотел бы знать, откуда оно взялось.

— Ты прав, что изделие не принадлежит базе. Но могу поспорить, что сделали его русские. И сейчас хотят получить его назад.

— О боже! — воскликнул он. — Но ведь в нем полно американских компонентов.

— Может, русские последовали совету министра обороны США Макнамары об эффективности расходов и делают покупки на самых лучших рынках. Но меня, кстати, не трогает, где сделана эта штучка: в Америке или в Конго. Сейчас беспокоит лишь одно: я хочу, чтобы изделие осталось у тебя.

Он осторожно положил прибор на стол.

— Согласен, но только на двадцать четыре часа. И даже тогда ты не получишь подробного объяснения.

— Ну что ж, у меня нет выбора. Но при условии, что ты дашь мне на время автомобиль. Я оставил лендровер в Лаугарватн.

— Ну, ты и нахал!

Он сунул руку в карман и бросил на стол ключи.

— Голубой шевроле, стоит на стоянке у ворот.

— Знаю.

Я надел пиджак и двинулся в угол комнаты за карабинами.

— Послушай, Ли, ты знаешь офицера по фамилии Флит?

Он задумался.

— Нет.

— А Маккарти?

— Именно такая фамилия у офицера, которого мы встретили в лаборатории.

— Это не он. Ну ладно, пока. Надо будет как-нибудь выбраться на рыбалку.

— Постарайся не угодить за решетку.

Я остановился у двери.

— С чего ты взял?

Он прикрыл ладонью электронное устройство.

— Тип, у которого в кармане подобные штучки, должен сидеть в тюрьме, — убежденно заявил он.

Я рассмеялся и вышел, оставив его всматривающимся в таинственный предмет. Его система ценностей оказалась серьезно нарушена. Нордлингер не был ученым, а инженером, а тот поступает согласно своду правил: длинному списку истин, испытанных в веках. Инженер также готов не заметить факт, что этот список правил вначале разработан именно учеными, людьми, для которых нарушение законов есть не что иное, как возможность сделать очередной шаг в познании тайн Вселенной. Человек, который легко переходит от ньютоновской физики к квантовой физике, не сбиваясь с шага, в состоянии поверить во все. Ли Нордлингер не относился к этой категории людей, но автор этого изобретения наверняка был одним из них.

Я нашел автомобиль и спрятал карабин с амуницией в багажник. Пистолет Джека поместил в кобуру через плечо, поэтому линию пиджака теперь ничто не искажало. Это совсем не означало, что я выглядел более представительно: спереди пиджака зияли дыры, прожженные кусочками горящего торфа, а рукав разодрала пуля, выпущенная в меня в Гейсир. И пиджак, и брюки были испачканы грязью, и в общем я все больше напоминал бродягу. Хотя нужно признать: по крайней мере, тщательно выбритого бродягу.

Сел в автомобиль и медленно двинулся в сторону международного аэропорта. В течение всего пути размышлял над экспертизой Нордлингера.

По его мнению, подобное электронное устройство вообще не могло существовать, что уже само по себе придавало ему статус научного. Это должно быть очень важным, поскольку из-за него гибли люди, теряли ноги или обваривались кипятком.

Было еще что-то, от чего у меня по спине пробегали мурашки. Последние слова Кенникена сразу перед побегом означали, что моя скромная особа становилась более важной, нежели то электронное устройство. Он готов был убить меня, прежде чем прибор попал бы ему в руки, а ведь он отдавал себе отчет, что с моей смертью прибор исчезнет навсегда.

Нордлингер снабдил меня информацией, что устройство имеет исключительно большое значение. Что такое случилось, сделав меня еще более важным? В бездушном мире науки и техники редко бывает, чтобы один человек значил больше, чем переломное для наук изобретение. Может, произошел поворот к нормальной жизни, хотя лично в этом очень сомневаюсь.

В отделение Исландской авиакомпании можно было добраться через служебный ход без необходимости показываться в центральном зале. Я остановил машину и вышел. При входе я столкнулся с приятной во всех отношениях стюардессой, которую и спросил:

— Вы не видели где-нибудь здесь Элин Рагнарсдоттир?

— Элин? В приемной.

Она сидела одна и сорвалась с места, увидев меня.

— Алан, как тебя долго не было!

— Все продлилось несколько дольше, чем рассчитывал.

На ее лице отразилось нервное возбуждение и нетерпение.

— Все в порядке? — спросил я.

— Да, во всяком случае, если речь обо мне. Возьми газету.

— А в чем дело? — взял из ее рук толстую пачку.

— Возьми… прочитай сам.

И она отвернулась.

Я развернул газету. На первой странице разместилась фотография, представляющая в натуральную величину мой sgian dubh. Чуть ниже черные буквы навязчиво лезли в глаза: «Видел ли кто-нибудь этот нож?»

Нож обнаружили в теле мужчины, сидевшего в автомобиле, который находился на стоянке у одного из домов в Лаугарватн. Убитым оказался английский турист, опознанный как Джек Кейс. Как дом, так и автомобиль фольксваген, в котором нашли покойного, принадлежал Гуннару Арнарссону, в это время отсутствующему. В доме обнаружены следы взлома и обыска. Из-за отсутствия Гуннара Арнарссона и его жены Сигурлин не удалось установить, пропало ли что-нибудь. Полиция старается установить с ними контакт.

Нож мог обратить на себя чье-то внимание своей необычной формой, и поэтому полиция попросила редакцию опубликовать его снимок в газете. Если кто-нибудь видел такой или похожий на него нож, просьба сообщить об этом в ближайшее отделение полиции. Кроме фото была опубликована еще небольшая заметка, где автор верно назвал нож шотландским sgian dubh, но затем пустился в псевдоисторические размышления.

Сообщалось также, что полиция разыскивает серый вольво с рейкьявикским номером. Если кто-нибудь его видел, также просили сообщить в полицию. В сообщении указывался номер машины.

Я посмотрел на Элин.

— Ну и каша заварилась, — тихо сказал.

— Это тот парень, с которым ты должен был встретиться в Гейсир?

— Да.

Я не доверял до конца Джеку и оглушил его, оставив без сознания вблизи дома Кенникена. Может, Кейс и заслуживал полного доверия, поскольку погиб от рук Кенникена. А в этом я не сомневался. Кенникен завладел моим ножом и фольксвагеном, а в поисках меня наткнулся на Джека.

Но почему Кейс погиб?

— Это страшно, — вздохнула Элин. — Еще один человек убит.

В ее голосе прозвучало отчаяние.

— Я его не убивал, — прямо заявил ей.

Она взяла в руки газету.

— Откуда полиция узнала о вольво?

— Обычным путем. Как только они узнали, что покойник — это Джек Кейс, то проследили каждый его шаг с момента появления в Исландии и вскоре обнаружили, что он взял напрокат автомобиль, не фольксваген, в котором его нашли. Я хорошо сделал, спрятав вольво Джека в гараже Валтыра в Вике. Когда Валтыр возвращается в Вик?

— Завтра.

Похоже, что все ополчились против меня. Ли Нордлингер выставил мне двадцатичетырехчасовой ультиматум, а что касается Валтыра, то у меня не возникало иллюзий, что сразу после возвращения в Вик он проверит номера вольво, стоящего в гараже. Более того, был уверен, что он тотчас сообщит в полицию. А какая бомба взорвется, когда полиция найдет Сигурлин! Я вообще не рассчитывал на ее молчание, узнав к тому же о трупе, найденном у порога ее дома.

Элин дотронулась до моего плеча.

— Что ты собираешься делать?

— Не знаю. Сейчас хочу спокойно посидеть и подумать.

Я начал складывать отдельные фрагменты, и постепенно из них получилось осмысленное целое, осью которого явилась внезапная перемена в поведении Кенникена сразу после моего пленения. Вначале он весь горел, так ему хотелось выдавить из меня электронное устройство, и с нескрываемой радостью ждал начала операции. Но затем, а точнее говоря, после какого-то телефонного звонка, внезапно перестал интересоваться прибором, заявив, что сейчас важнее всего отправить меня на тот свет.

Я прошелся по прошлым событиям. В Гейсир я поделился с Джеком моими подозрениями в отношении Слэйда, и Кейс согласился передать их Тэггарту. Слэйд, в таком случае, был бы подвергнут тщательному изучению. Но незадолго до поимки меня Кенникеном я видел, как Слэйд беседовал с Джеком. А если предположить, что Кейс как-то возбудил подозрения Слэйда? Слэйд, хитрый лис, разбирается в людях, и вполне вероятно, что Кейс каким-то образом раскрылся перед ним.

Что в таком случае сделал бы Слэйд? Связался бы с Кенникеном, чтобы проверить, схватил ли он меня, и дал ему ясно понять, что сохранение его позиции номер один, сразу за Тэггартом, гораздо важнее, чем электронное устройство. Наверняка он приказал бы Кенникену: «Убей этого сукиного сына». И здесь лежит разгадка внезапной перемены в поведении Кенникена.

Сейчас стало также важно ликвидировать Джека, прежде чем он свяжется с Тэггартом.

Я облегчил Слэйду задание, оставив Джека под боком Кенникена, а тот угостил его моим ножом. Проверив, кому принадлежит фольксваген, которым я приехал, Кенникен узнал, где меня искать, и подбросил тело Джека. Такая тактика характерна для террористов.

Все сложилось в стройное целое с одним, однако, исключением. Почему Джек Кейс оставил меня, когда в Гейсир на меня кинулась банда

Кенникена? Не пошевелил и пальцем, чтобы помочь, ни разу не выстрелил, защищая меня. Я знал Джека, и такое поведение было бы ему не свойственно. Именно его странное поведение вместе с явной симпатией к Слэйду и легло в основу моего недоверия к нему. Загадка не давала покоя.

Однако все уже принадлежало прошлому. Сейчас меня ждало будущее, а это означало очередные трудные решения.

— Ты узнала, где Бьерни?

Она апатично кивнула.

— Он сейчас летит из Рейкьявика в Хефн. После обеда прилетит в Рейкьявик.

— Он будет нам нужен здесь. Тебе нельзя отсюда выходить, пока он не появится. Даже перекусить — пусть принесут сюда. И прежде всего, ни за что на свете ты не должна появляться в центральном зале. Слишком много типов ждут нас там.

— Но ведь я не могу торчать здесь вечно, — запротестовала она.

— Только до появления Бьерни. Можешь сказать ему все, что посчитаешь нужным, даже чистую правду. И передай ему, что он должен сделать.

Она сморщила носик.

— А именно?

— Он должен вывести тебя отсюда и посадить в самолет, но абсолютно незаметно, избегая обычных путей. Меня не касается, как он это сделает: может переодеть стюардессой и переправить на борт самолета, но ты ни в коем случае не должна появляться в центральном зале как пассажирка.

— Сомневаюсь, сможет ли он что-нибудь сделать.

— Если он в состоянии перевозить контрабандой из Гренландии ящики пива, то может провезти и тебя. Кстати, Гренландия — это неплохая мысль. Ты могла бы пересидеть в Кангерлуссуак и подождать, пока все закончится. Даже такой сообразительный, как Слэйд, не додумается тебя там искать.

— Но я не хочу уезжать.

— Поедешь. Ты не должна путаться у меня под ногами. Если считаешь, что в последние дни нам было тяжко, то в ближайшие двадцать четыре часа то время покажется тебе идиллией. Я хочу, чтобы ты была подальше от всего этого, и клянусь Богом! — сделаешь то, что я тебе говорю!

— Значит, ты считаешь меня ни на что не годной, — с горечью сказала она.

— Вовсе нет, и ты доказала это в течение нескольких дней. Тебе пришлось поступать вопреки собственным правилам, но ты не отступила от меня ни на шаг. В тебя стреляли, в тебя попала пуля, но ты несмотря ни на что была рядом со мной, чтобы помогать мне.

— Потому что люблю тебя.

— Знаю. Я тоже люблю тебя и именно поэтому хочу, чтобы ты уехала. Я не позволю, чтобы ты заплатила жизнью за это.

— А ты?

— Я — другое дело. Я — профессионал. В отличие от тебя, знаю, как и что надо делать.

— Кейс тоже был профессионалом, а сейчас мертв. Как и Грэхем, или как он там на самом деле назывался. А тот Волков, который сварился в Гейсир, тоже ведь профессионал. Ты сам говорил, что пока пострадали только профессионалы. А я не хочу, чтобы с тобой случилась беда.

— Но я также сказал, что ни один посторонний наблюдатель не понес ни малейшего ущерба. Ты в этом деле случайный зритель, и я хотел бы, чтобы так и оставалось.

Каким-то образом удалось убедить ее. Я проверил, нет ли кого поблизости, стянул пиджак и быстро снял кобуру с оружием Джека. Взял пистолет в руку и спросил:

— Ты умеешь с ним обращаться?

Она широко раскрыла глаза.

— Нет!

Я показал затвор.

— Если оттянешь его назад, пуля посылается в ствол. Подвинешь этот рычажок, или предохранитель, целишься и нажимаешь на спуск. При каждом нажатии на спусковой крючок выскакивает пуля. В сумме можешь произвести восемь выстрелов. Все понятно?

— Вроде бы да.

— Повтори.

— Оттягиваю верх пистолета, снимаю с предохранителя и тяну за спуск.

— Хорошо. Правда, лучше было бы нажать на спуск, но сейчас не время вникать в такие тонкости.

Я вернул пистолет в кобуру и буквально вложил в ее застывшие руки.

— Если кто-либо попытается заставить тебя поступать вопреки твоей воле, ты берешь пистолет, целишься и стреляешь. Можешь в него и не попасть, но добавишь ему седых волос.

Профессионалы панически боятся оружия в руках любителя. Если в тебя стреляет профессионал, то ты знаешь, что он делает это метко, и у тебя есть шанс его перехитрить. Любитель же может убить тебя совершенно случайно.

— Иди в туалет и надень кобуру под жакет. Когда вернешься, меня уже здесь не будет.

Она приняла пистолет и вместе с ним мое решение.

— Куда ты направляешься?

— Пришла пора действовать. Мне уже надоело убегать, сейчас сам стану охотником. Пожелай мне счастья.

Она подошла близко ко мне и нежно поцеловала, с трудом сдерживая слезы. Мы почувствовали жесткий металл, разделившего нас пистолета. Я хлопнул ее пониже спины.

— Ну.

Посмотрел, как она отворачивается и уходит, а когда дверь за ней закрылась, я тоже ушел.

VII

Шевроле Нордлингера оказался слишком длинным, широким и к тому же с очень мягкими рессорами. В Обыггдир я не дал бы за него ломаного гроша, однако он пришелся как нельзя кстати на трассе, ведущей в Рейкьявик, скоростной международной автостраде, единственной в Исландии дороге с действительно хорошим покрытием. Сорок километров до Хабнарфьордюр я проехал со скоростью сто тридцать километров в час, но въехав в Коупавогюр, снизил скорость из-за интенсивного уличного движения. Я выругался вслух, так как в полдень у меня намечалась встреча в бюро путешествий Нордри и я не хотел опаздывать.

Бюро Нордри располагалось на улице Хафнарстрети. Я запарковался в боковой улочке неподалеку, после чего пешком двинулся вниз, к центру города. Даже не намеревался входить в бюро, к чему? Ведь электронное устройство находилось далеко отсюда, спрятанное в сейфе Нордлингера. На Хафнарстрети поспешно нырнул в дверь книжного магазинчика, расположенного напротив Нордри. Наверху находилось маленькое кафе, соединенное с книгарней лестницей, поэтому можно было удобно посидеть и

почитать за чашечкой кофе. Я купил на всякий случай газету и поднялся в кафе.

Еще не наступила пора обеденного наплыва гостей, и я смог спокойно занять свободное место у окна. Заказал блинчики и кофе, развернул газету и под ее прикрытием выглянул на людную улицу. Как и рассчитывал, отсюда открывался прекрасный вид на расположенное напротив бюро путешествий. Тонкие занавески мне не помешали, но не давали возможности увидеть меня с улицы.

Тем временем снаружи становилось все оживленней. Начинался туристический сезон, и первые смельчаки уже приступили к атакам на магазины сувениров, чтобы вернуться домой с добычей. Обвешанные фотоаппаратами, не выпускающие из рук карты, они сразу бросались в глаза. Однако я внимательно изучал каждого из них, поскольку надеялся, что тот, которого ищу, скроется под удобным прикрытием туриста.

Приезд сюда представлялся выстрелом наугад. Исходил из того, что, где бы я ни появился, тут же возникает и противник. Сразу после прилета в Исландию я отправился, согласно полученной инструкции, длинным окружным путем в Рейкьявик и встретил на своей трассе Линдхольма. Потом забился в Асбырги, и там на меня внезапно напал Грэхем. Разумеется, в этом случае свою роль сыграл вмонтированный в лендровер радиопередатчик, но тем не менее, факт оставался фактом. Флит устроил на меня засаду, цели которой, кстати, я до сих пор не знал, и стреножил мой автомобиль одним метким выстрелом. Однако и он, и Линдхольм прекрасно знали, где меня ждать. А в Гейсир угодил в силки Кенникена и почти чудом вырвался из безнадежной ситуации.

Сейчас же меня ждали в бюро Нордри. Если предположить, что будет задействована прежняя схема, существовала небольшая, но логическая возможность наблюдения за этим местом. Поэтому я более чем из простого любопытства рассматривал прохожих за окном, увлеченно глазеющих на витрины магазинов. Если Кенникен устроил здесь мне засаду, надеялся, что смогу высмотреть его человека. Ведь он не мог привезти в Исландию целую армию, а большинство членов его группы я имел возможность так или иначе видеть.

Тем не менее прошло более получаса, прежде чем я его вычислил, и то потому, что смотрел на него под непривычным углом, сверху. Трудно забыть лицо, увиденное впервые в окуляре телескопического прицела, однако лишь в тот момент, когда он поднял голову, я увидел в толпе пешеходов одного из тех, кто был с Кенникеном на другой стороне реки Тунгнаау.

Парень слонялся по улице, бесцельно глазея на витрины магазинов, прилегающих к бюро Нордри. Он запасся фотоаппаратом, планом города, пачкой открыток и выглядел типичным туристом. Я подозвал официантку, расплатился, обеспечив себе возможность моментального ухода, и задержался, заказав еще чашечку кофе.

При таких заданиях агент обычно не действует в одиночку, и меня интересовали его связи с остальными пешеходами. По мере того, как убывало время, парень все больше проявлял нетерпение, и наконец, глянув на часы ровно в час дня, поднял руку. Из толпы выделился еще один мужчина, перешел улицу и присоединился к первому.

Я быстро выпил кофе и спустился вниз. Притаился у газетного киоска, наблюдая за моими знакомыми через стеклянную дверь книжного магазинчика. К ним присоединился третий мужчина, в котором я сразу узнал Ильича, того самого, который так неосторожно помог мне стать обладателем «бутановой бомбы». Вся тройка о чем-то с минуту подискутировала, после чего Ильич вытянул руку и постучал по часам, выразительно пожав

при этом плечами. Затем они двинулись по улице в сторону Постхусстраети, а я за ними.

Сценка с часами подтверждала, что они не только знали о месте моей встречи, но и о времени. Как только пробил первый час, они оставили дежурство, как рабочие, заслышавшие сигнал на обед. Я бы не удивился, если бы они знали еще и пароль.

На углу Постхусстраети двое из них уселись в стоявший там автомобиль и уехали. Ильич же быстро свернул вправо, пересек улицу и решительно направился в сторону отеля «Борг», а затем юркнул в него, словно кролик в свою нору. Я поколебался, после чего последовал за ним.

Он не остановился у стойки регистратора, чтобы взять ключ, а сразу поспешил по лестнице на второй этаж. Я, наступая ему на пятки, заметил, как он прошел по коридору и постучал в дверь, в этот момент я резко развернулся и спустился вниз. Сел за столик в холле, откуда наблюдал за фойе. Это вызвало необходимость выпить очередную чашку кофе, большое количество которого грозило перейти в потоп, но уж такова цена, какую приходится платить при работе подобного рода. Я развернул газету на ширину плеч и ждал появления Ильича.

Вскоре он возник, а вид, что открылся передо мной, позволил с триумфом осознать, что я не ошибался в своих подозрениях и каждый мой шаг по Исландии был тысячекратно оправдан. Ильич спускался по лестнице, разговаривая со своим спутником, а этим спутником был Слэйд.

Они пересекли холл, направляясь к ресторану, и Слэйд прошел мимо меня совсем близко. Я предположил, что он сидел в своем номере, ожидая вестей от людей из засады у бюро Нордри, а затем пошел что-нибудь перекусить. Я передвинулся в кресле так, чтобы увидеть, где они сядут, а затем поднялся на второй этаж.

Уже через две минуты я стучал в те же двери, что и Ильич, от всей души надеясь, что мне никто не откроет. Стук остался без ответа, поэтому вошел в комнату, использовав кусочек пластика, который находился у меня в бумажнике. Это умение являлось частью знаний, полученных при учебе, — Контора действительно хорошо меня подготовила.

Я был не настолько глуп, чтобы браться за осмотр багажа Слэйда. Если он так сообразителен, как я о нем судил, то пометил чемодан каким-нибудь хитрым способом, чтобы иметь возможность с первого взгляда определить, открывал ли его кто-нибудь. Это обыкновенная оперативная процедура при выполнении задания, а у Слэйда в этом было двойное преимущество: он мог использовать знания, полученные у обеих сторон. Зато я тщательно исследовал дверцы шкафа, убедившись, что на них нет никаких тонких волос, приклеенных слюной и падающих при открывании дверей, явно указывая на чье-то вторжение. Однако ничего не нашел, поэтому открыл дверцы, вошел в середину и затаился в темноте.

Ждать пришлось довольно долго, как и думал, зная любовь к еде Слэйда. При этом размышлял, каким образом Слэйду удалось привыкнуть к исландской кухне, от которой, мягко говоря, можно заработать аллергию. Только исландец в состоянии оценить вкус сырого мяса акулы, выдержанного несколько месяцев в песке, или маринованного китового жира.

Наконец Слэйд вернулся, а к тому времени мой собственный желудок принялся бунтовать против наплевательского отношения к его потребностям; я выпил до этого море кофе, но мизерное количество чего-то существенного. Слэйд вернулся с Ильичом, и меня абсолютно не удивило, что он говорит по-русски, словно русским и родился. Черт возьми, он наверняка был русским, как и его давний предшественник, Гордон Лонсдэйл.

— Ну что, снова ждем его завтра? — спросил Ильич.

— Разве что будет что-то новое от Кенникена, — ответил Слэйд.

— По-моему, мы совершаем ошибку, — заметил Ильич. — Я не думаю, что Стевартсен появится поблизости бюро путешествий. Информация точная?

— Абсолютно, — коротко осадил его Слэйд. — Я уверен, что Стюарт появится в течение последующих четырех дней. Мы недооценили его.

Я улыбнулся в темноте, приятно услышать искренние слова признания в твой адрес. Слэйд еще что-то сказал, но я его не расслышал, зато голос Ильича различил отчетливо:

— Разумеется, посылку трогать не будем. Подождем, пока он ее оставит в бюро путешествий, и пойдем за ним, выжидая подходящий момент, чтобы его схватить.

— И дальше?

— Ликвидируем, — ответил Ильич бесцветным голосом.

— Хорошо, только запомните: тело должно исчезнуть. И так поднялось слишком много шума. Кенникен, видимо, сошел с ума, оставляя труп Кейса в таком месте.

Наступила минута тишины, которую прервал задумчивый голос Слэйда:

— Интересно, что Стюарт сделал с Филипсом?

На свой риторический вопрос он ответ не получил и продолжал дальше:

— Ну, ладно. Ты и остальные должны быть завтра в одиннадцать у бюро Норди. Как только увидите Стюарта, сразу сообщите мне по телефону. Это понятно?

— Сразу же сообщим, — заверил Ильич.

Я услышал, как открывается дверь.

— Где Кенникен? — спросил еще Ильич.

— Не твое дело, — сухо ответил Слэйд. — Можешь идти.

Дверь хлопнула. Через минуту я услышал шелест бумаги, скрип, затем раздалось металлическое клацанье. Я чуть-чуть приоткрыл дверцы шкафа и через образовавшуюся щель одним глазом глянул в комнату.

Слэйд уселся в кресло с газетой на коленях и прикуривал от зажигалки толстую сигару. К его удовольствию. Кончик сигары быстро затлел, и Слэйд стал осматриваться в поисках пепельницы. Увидел ее на маленьком столике, поэтому встал и придвинул кресло, чтобы удобней до нее дотягиваться.

Этим движением он и мне облегчил задачу, поскольку сейчас сидел спиной ко мне. Я достал из кармана авторучку и очень медленно открыл дверцы шкафа. Комната была небольшой, и мне хватило всего лишь двух шагов, чтобы оказаться возле Слэйда. Все происходило без малейшего шума, но Слэйд начал поворачивать голову, видимо, реагируя на изменения освещения в комнате. Я воткнул ему кончик авторучки в складки жира на затылке и приказал:

— Сиди, как сидел, если не хочешь потерять голову.

Он замер без движений, а я протянул свободную руку ему через плечо под пиджак и нашел там пистолет в кобуре. Похоже, что в последнее время каждый старается вооружиться, а я становлюсь специалистом по разоружению.

— Не двигайся, — еще раз приказал, делая шаг назад. Убедился, что пистолет заряжен, и снял его с предохранителя.

— Вставай!

Он послушно встал, все еще держа в руках газету.

— Подойди к противоположной стороне, подними руки и обопрись на стену.

Я сделал шаг назад и критически наблюдал эволюцию, к которой его принудил. Он знал, зачем я так поступаю: это самый безопасный способ для обыска. Он не был бы самим собой, если бы не попытался меня обмануть, но тут уж я среагировал молниеносно:

— Отодвинь ноги от стены и обопрись покрепче.

В такой позиции любая попытка сдвинуться привела бы к потере равновесия, а мне давала необходимое превосходство во времени.

Он отодвинул ноги от стенки, и я сразу заметил говорящую саму за себя дрожь в запястьях, поддерживающих вес тела. Я ловко обыскал его, выбросив содержимое карманов на кровать. Оружие отсутствовало, если не считать шприца для инъекций. Я бы так его назвал, увидев комплекты ампул. Зеленые, с левой стороны, гарантировали полную потерю сознания в течение шести часов, а красные, с правой стороны, обеспечивали смерть в течение тридцати секунд.

— А сейчас согни ноги в коленях и очень медленно опускайся вдоль стенки.

Он опустился, а я привел его в позицию, которую ранее применил против Флита: лицом вниз, руки широко расставлены. Нужно быть лучшим спортсменом, чем Слэйд, чтобы застать меня врасплох из такого положения. Флиту это, может быть, и удалось бы, если б я не держал на его позвоночнике дуло карабина, но Слэйд был для этого стар и слишком толст.

Он лежал, повернув голову набок и прижимаясь правой щекой к полу, зло глядя на меня левым глазом. Впервые заговорил:

— Откуда ты знаешь, что ко мне сейчас не придут?

— Ты не зря беспокоишься, — ответил ему. — Если кто-нибудь войдет в эту дверь, то ты — мертвец. — Я усмехнулся. — Особенно нелепо, если, скажем, войдет горничная, погибнешь ни за что.

— Что ты, черт возьми, делаешь? Окончательно сошел с ума? Думаю, ты действительно сумасшедший, а Тэггарт разделяет мое мнение. Ну, убери оружие и позволь мне встать.

— Должен признать, что ты легко не сдаешься, — удивленно заметил я. — Тем не менее, только шелохнись, и пристрелю тебя на месте.

В ответ он лишь заморгал одним глазом. Затем снова заговорил:

— Тебя за это повесят, Стюарт. Государственная измена по-прежнему карается смертью.

— Мне очень жаль. Но тебе, по крайней мере, это не грозит. Твое преступление — это не измена Родине, а обычный шпионаж. А шпионов, кажется, не вешают, во всяком случае, в мирное время. Можно было бы назвать это изменой, если бы ты был англичанин, но ты ведь русский.

— Ты сошел с ума! — воскликнул он с возмущением. — Я — русский?

— Из тебя такой же англичанин, как из Гордона Лонсдэйла — канадец.

— Подожди, попадешь в руки Тэггарту. Уж он пропустит тебя через мясорубку.

— А как ты объяснишь факт, что сотрудничаешь с противником?

Стараясь имитировать возмущение, он пробормотал:

— Иди к черту, это моя работа! Ты поступал точно так же, как правая рука Кенникена. Я только выполняю приказы, а ты и этого не делаешь.

— Интересно. Ты получаешь довольно удивительные приказы. Расскажи мне еще что-нибудь.

— Я не буду разговаривать с изменником, — гордо парировал он.

Должен признать, что в тот момент я почувствовал к нему определенное уважение. Находясь в исключительно унизительном положении, с

пистолетом, приставленным к голове, он и не думал сдаваться, а был готов бороться до конца. Мне самому пришлось пережить похожие ситуации в Швеции при Кенникене, и я великолепно знал, как такая жизнь действует на нервы: живешь одним днем, никогда не зная, расшифрован ты или нет. Слэйд тем временем пытался меня убедить, что он чист как свежевыпавший снег. Но я прекрасно осознавал, что если хоть на долю секунды утрачу бдительность и позволю ему перехватить инициативу, в тот же момент буду покойником.

— Можешь не стараться, Слэйд. Я слышал, как ты говорил Ильичу, что меня нужно убить, и не пытайся убедить, что Тэггарт отдал такой приказ.

— Это правда, — уверил он меня не моргнув глазом. — Тэггарт думает, что ты перешел на сторону противника, и честно говоря, этому трудно удивляться, приняв во внимание твои поступки.

Я едва не расхохотался, услышав такую наглую ложь.

— Ну и фрукт же ты! Лежишь здесь с перекошенной мордой и рассказываешь мне такие вещи. Может, Тэггарт попросил тебя также и о том, чтобы русские выполнили эту работу для него.

— Так уже было. Ты убил Джимми Биркби.

Я невольно стиснул палец на спусковом крючке и сделал глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Ответил ему, стараясь говорить спокойно:

— Ты никогда не был так близок к смерти, как сейчас. Ты не должен вспоминать Биркби, рана еще кровоточит. Комедия закончена, ты проиграл и хорошо знаешь об этом. Расскажи мне сейчас все, и советую тебе поторопиться.

— Иди к черту! — бросил он угрюмо.

— Скорее, ты сейчас ближе к обществу чертей. Послушай, если речь идет обо мне, то мне совершенно безразлично, англичанин ты или русский, предатель или шпион. Плевал я и на патриотизм — уже забыл, что это такое. Для меня это чисто личное, сугубо частное, если так можно выразиться, что, как тебе известно, является причиной и фоном большинства убийств. По твоему указанию Элин едва не погибла в Асбырги, а минуту назад слышал, как ты отдал приказ убить меня. Поэтому, если сейчас нажму на спусковой крючок, то это будет самооборона.

Он приподнял голову и повернул ее, стараясь глядеть прямо на меня.

— Но ты этого не сделаешь.

— Ты так думаешь?

— Да, — уверенно ответил он. — Я тебе уже говорил когда-то, что ты слишком мягок. Может быть, в других обстоятельствах, например, если бы я бросился бежать или во время перестрелки; но ты не выстрелишь в человека, лежащего на земле. Ты ведь английский джентльмен.

У него это прозвучало как ругательство.

— Я бы не делал ставку на эту лошадь. С шотландцами никогда не угадаешь.

— Не думаю, чтобы это имело какое-нибудь значение, — равнодушно бросил он.

Я видел, что он без малейшей дрожи смотрит в дуло пистолета, и должен честно признать, заслуживал уважения. Он разбирался в людях и знал, насколько далеко я могу пойти, если речь идет об убийстве. Он отдавал себе отчет, что если бы на меня напали, я бы стрелял, чтобы убить, но он был уверен, что, пока лежит на полу совершенно безоружный, ему ничего не грозит.

Он усмехнулся.

— Ты уже доказал мою правоту. Попал Юрию в ногу, а почему не в сердце? Кенникен рассказывал, что ты стрелял с другого берега реки так

метко, что мог выбрить его людей бесплатно и без парикмахера. У тебя была возможность послать Юрия на тот свет, но ты этого не сделал!

— Может, у меня не было желания. Но я убил Григория.

— В пылу схватки, или ты, или он. Каждый может принять подобное решение.

У меня возникло неприятное ощущение, что инициатива переходит к нему, и я решил принять меры.

— Я хочу, чтобы ты заговорил, а мертвый ничего не скажет. Начнем с того, что объяснишь мне, для чего предназначается электронный прибор.

Он бросил на меня презрительный взгляд и сжал губы.

Я глянул на пистолет, который держал в руке. Бог знает, зачем он носил его. У этой хлопушки было одно достоинство: при стрельбе она производила мало шума и почти отсутствовал огонь из дула. Если выстрелить из нее в толпе на улице, никто не обратил бы на выстрел особого внимания.

Я посмотрел на выпученный глаз и послал пулю, прострелив Слэйду ладонь правой руки. Он конвульсивно дернулся, а в тот момент, когда я снова приложил пистолет к его голове, издал приглушенный хрип. Звук выстрела оказался настолько слабым, что даже окна не задребезжали.

— Может, действительно я тебя убью, но буду отстреливать кусочек за кусочком, если не станешь вежливым. Кенникен может засвидетельствовать, что рука у меня пригодна для хирургических операций. Есть более страшные вещи, чем получить пулю в лоб. Спроси у Кенникена.

Из ладони сочилась кровь, стекая на пол, но Слэйд не вздрогнул, не спуская взгляда с пистолета в моей руке. Высунул язык и облизал спекшиеся губы.

— Ты — сукин сын! — прошептал.

Зазвонил телефон.

Мы смотрели друг на друга, а тем временем звонок забренчал в четвертый раз. Я обошел Слэйда вокруг, подальше от его ног, взял телефон вместе с подставкой и поставил рядом с ним.

— Сними трубку и помни о двух вещах: во-первых, я хочу слышать, что говорят, а во-вторых, не забывай, что на твоей жирной туше есть еще много мест, которыми могу заняться, — я потряс пистолетом. — Подними трубку.

Он неловко взял трубку левой рукой.

— Алло!

Я снова потряс оружием, и он выше поднял телефон, давая мне возможность слышать голос в трубке.

— Говорит Кенникен, — услышал я скрипучий голос.

— Веди себя естественно, — шепнул я.

Слэйд облизал губы.

— В чем дело? — хрипло спросил он.

— Что с твоим голосом? — поинтересовался Кенникен.

Слэйд откашлялся, не спуская глаз с пистолета.

— Простыл. Чего хочешь?

— Девушка у меня.

Наступила тишина. Я чувствовал, как сердце колотится в груди. Слэйд побледнел, заметив, что мой палец захватил спусковой крючок и медленно начинает его нажимать.

— Где она была? — шепнул я.

Слэйд нервно закашлялся и спросил:

— Где ее нашли?

— В аэропорту Кеблавика, она скрывалась в бюро исландских авиалиний. Мы знали, что у нее брат — пилот, и мне пришло в голову поискать ее там. Увели ее без неприятностей.

Вполне вероятно, что так и случилось.

— Куда сейчас? — шепнул я Слэйду, приставив пистолет к затылку.

Он повторил вопрос, на что Кенникен ответил:

— На обычное место. Когда ты появишься?

— Скажи, что уже выходишь, — подсказал я, крепче прижимая пистолет к жирным складкам.

— Уже выхожу, — сказал Слэйд, и в тот же момент я быстро отключил телефон.

Отскочил назад на случай, если он попытается что-либо предпринять, но Слэйд лежал без движения и пялился на телефон. Мне хотелось выть, но предстояло начать действовать.

— Ты ошибся, Слэйд, я в состоянии тебя убить. Сейчас ты знаешь об этом очень хорошо, верно?

Впервые увидел, что он боится. Его толстый подбородок трясся, он не мог сдержать дрожь нижней губы и напоминал в этот момент перепуганного мальчишку, который вот-вот разразится ревом.

— Что значит «на обычное место»? — спросил я.

Он бросил на меня полный ненависти взгляд, но ничего не сказал.

Я оказался в тупике. Если бы его убил, уже ничего бы из него не вытянул, а с другой стороны, не мог его и слишком покалечить, чтобы он не вызывал нездорового интереса у людей на улицах Рейкьявика.

К счастью, Слэйд не мог проникнуть в мои мысли, поэтому я заметил:

— Когда с тобой закончу, ты еще будешь жив, однако пожалеешь, что я тебя не убил.

Я выстрелил. Он резко вздрогнул, когда пуля прошла рядом с левым ухом. Как и раньше, выстрел почти не произвел шума. Видимо, Слэйд поработал над патронами, отсыпав часть пороха для уменьшения шума; эта старая штучка годится, если нам нужно не обращать на себя внимание. При удачном исполнении и выстреле с небольшого расстояния пуля не теряет своих убойных качеств. Это более эффектный выход, чем применение глушителя, приспособления явно переоцениваемого, которое может оказаться опасным для самого владельца. Глушитель хорош лишь в случае необходимости сделать один тихий выстрел, потому что сразу после выстрела стальная вата создает сильное встречное сопротивление, что грозит стрелку потерей руки.

— Я неплохо стреляю, но и не так уж и хорошо, — продолжал я. — На этот раз пуля пошла туда, куда и целился, но только ты знаешь возможности своей игрушки. Мне кажется, что пуля уходит слегка влево, поэтому если решу отстрелить тебе правое ухо, ты сможешь проверить крепость своей головы.

Я сдвинул немного пистолет и прицелился. Он не выдержал: нервы подвели.

— Перестань!

Эта разновидность русской рулетки пришлась ему явно не по вкусу.

Я прицелился в его правое ухо.

— Где тебя ждет Кенникен?

Лицо у него лоснилось от пота.

— В Тингвадлаватн.

— В том самом доме, куда меня привезли из Гейсир?

— Да.

— Лучше тебе не ошибаться, — предостерег его. — У меня мало времени, чтобы тратить его на гонки по всей южной Исландии.

Я опустил пистолет, и напряжение на лице Слэйда ослабло.

— Еще рано радоваться, — сказал ему. — Ты ведь не считаешь, что я тебя здесь оставлю.

Я подошел к столику у кровати и открыл чемодан Слэйда. Достал чистую рубашку и бросил ему.

— Разорви ее на полосы и перевяжи себе руку. Не вставай при этом с пола и забудь о таких мудрых идеях, как метание в меня рубашки.

Пока Слэйд неуклюже раздирал ткань, я принялся шарить в его чемодане. Нашел две обоймы и положил их себе в карман.

Из шкафа достал плащ Слэйда, который осмотрел еще раньше.

— Стань лицом к стене и надень.

Я не спускал с него бдительного взгляда, опасаясь какого-нибудь подвоха. Знал, что если сделаю хоть один фальшивый шаг, Слэйд его использует. Нельзя считать глупым человека, сумевшего проскользнуть в самое сердце британской разведки.

Я забрал с кровати паспорт и бумажник Слэйда и положил себе в карман. Бросил ему шляпу, которая пролетела через комнату и опустилась у его ног.

— Прогуляемся немного. Держи забинтованную руку в кармане плаща и веди себя, как английский джентльмен, до которого тебе, кстати, далеко. Одно неосторожное движение, и без колебаний застрелю тебя даже в самом центре Рейкьявика. Ты же отдаешь себе отчет, что Кенникен не должен был поднимать руку на Элин?

Он сказал, стоя лицом к стене:

— Еще в Шотландии я предупреждал, чтобы ты не впутывал в это дело девушку.

— Ох, какой умный! Но если с ней что-нибудь случится, ты будешь грызть землю. Может, ты и был прав, утверждая, что я не могу убивать, но сейчас тебе уже нечего на это рассчитывать, ибо кусочек ногтя Элин значит для меня больше, чем вся твоя паршивая туша. Я не остановлюсь ни перед чем для ее защиты.

— Верю, — тихо сказал он и вздрогнул.

Я знал, что он говорит правду. Ему стало ясно, что имеет дело с чем-то более глубоким, чем патриотизм или лояльность. В игру входили более фундаментальные понятия: он прекрасно отдавал себе отчет, что, целясь в шпиона, я мог бы еще сомневаться, но без малейшей жалости я убил бы любого, ставшего между мной и Элин.

— Ну, хорошо, — нарушил я тишину. — Бери шляпу и пойдем.

Я вывел его в коридор, приказал закрыть дверь и забрал ключ. Перебросил через руку один из его пиджаков, скрывая под ним оружие. Шел за ним шаг в шаг с правой стороны. Мы вышли из отеля и двинулись по улице к месту, где я оставил автомобиль Нордлингера.

— Садись за руль, — приказал я.

При посадке в машину мы продемонстрировали несколько сложных балетных па, потому что, открывая дверцы и усаживая его за руль, я должен был внимательно следить, как бы он не воспользовался случаем, и одновременно стараться чтобы наши пируэты не привлекли внимание прохожих.

Наконец удалось усадить его и самому устроится на заднем сидении.

— Будешь вести машину, — сообщил ему.

— А моя рука? — запротестовал он. — Я не в состоянии сидеть за рулем.

— Справишься, меня твоя рука не интересует. Поедешь, даже если будешь выть от боли. Не превышай скорость выше пятидесяти километров в час и выбрось из головы мысль об аварии. У меня есть кое-что для избавления от подобной идеи.

Я приложил к его шее холодный металл пистолета.

— Он будет твоим спутником всю дорогу. Представь, что ты узник, а я один из сталинских соколов из давних, злых времен. Тогда распространенным видом казни был внезапный выстрел в затылок, верно? Если будешь непослушным, пуля тебя достанет. Ну, поехали, только осторожно, потому что мой палец на спуске очень чувствителен к резким толчкам.

Ему не нужно было говорить, куда ехать. Мы выехали за город. Он вел машину молча. Когда оказались на шоссе, выполняя мою инструкцию, ни разу не превысил скорость пятьдесят километров в час. Думаю, однако, так случилось не из-за его послушания, а потому, что при переключении скоростей боль в руке усиливалась. Наконец он прервал молчание:

— Чего ты хочешь этим добиться, Стюарт?

Я оставил его вопрос без ответа, так как занимался содержимым его бумажника. Там не оказалось ничего, что, казалось, должно быть у мастера шпионажа и одновременно двойного агента — никаких чертежей супернового управляемого снаряда или смертоносного лазерного луча. Толстую пачку банкнот и кредитных карточек я переложил в свой карман, они могли пригодиться, операция в Исландии крепко ударила по карману. Если бы Слэйду удалось каким-то чудом сбежать, отсутствие денег значительно ухудшило бы его шансы.

Слэйд и не думал сдаваться.

— Кенникен не поверит ни одному твоему слову. Он не среагирует на твой блеф.

— Лучше, чтобы поверил! — твердо сказал я. — И для тебя же лучше. К тому же мне не придется блефовать.

— Тебе будет очень трудно переубедить его.

— Не старайся слишком часто это подчеркивать, — холодно посоветовал. — Я могу убедить его, показав твою правую руку с перстнем на среднем пальце.

Это заставило его на время затихнуть, переключив внимание на дорогу.

Шевроле подпрыгивал и покачивался на мягких рессорах, попадая колесами в трещины и выбоины разбитой дороги. При большой скорости езда была бы более приятной, но при таком раскладе мы преодолевали в отдельности каждую горку и каждую долинку.

Многое отдал бы, чтобы как можно быстрее оказаться рядом с Элин, однако увеличение скорости было слишком опасным: при пятидесяти километрах в случае преднамеренной аварии, устроенной Слэйдом, у меня оставались шансы застрелить его и выйти из ситуации целым и невредимым.

Я обратился к Слэйду:

— Вижу, ты уже отказался уверить меня в своей невиновности.

— А зачем, ведь ты и так не поверил бы, что бы тебе ни сказал.

Он попал в яблочко.

— Но я хотел бы кое-что выяснить, — не уступал. — Откуда ты узнал о моей встрече с Джеком Кейси в Гейсир?

— Когда разговариваешь с Лондоном по открытой линии, нужно считаться с тем, что и другие могут слышать.

— Значит, ты подслушивал разговор и передал информацию Кенникену.

Он слегка повернул голову.

— А откуда знаешь, что слышал не Кенникен?

— Смотри вперед! — резко бросил ему.

— Ну, хорошо, Стюарт, прекратим глупое фехтование словами. Признаюсь во всем. Ты был прав с самого начала, но это ничего тебе не даст.

Ты навсегда останешься в Исландии. — Он закашлялся. — Что меня выдало?

— Кальвадос.

— Кальвадос? — переспросил он, не поняв. — Что ты, черт возьми, имеешь в виду?

— Я знал, что Кенникен пьет кальвадос. Кроме меня, никто не имел об этом ни малейшего понятия.

— Ясно! И поэтому спросил у Тэггарта об алкогольных склонностях Кенникена. Я никак не мог понять, зачем тебе это. — Он сгорбился и задумчиво продолжил: — Все из-за проклятых мелочей. Принимаешь во внимание каждую возможность, учишься годами, приобретаешь новое обличье, новую индивидуальность и думаешь, что находишься в безопасности. А тут ни с того ни с сего вдруг выскакивает какая-то мелочь, как эта бутылка кальвадоса, которую ты видел у человека, распивавшего ее сто лет назад. Но ведь этого слишком мало, чтобы быть до конца уверенным?

— Во всяком случае, достаточно для размышлений. Разумеется, нашлось еще кое-что: Линдхольм, который удачно оказался в нужное время в нужном месте, хотя еще мог считать это стечением обстоятельств. Я начал тебя серьезно подозревать только тогда, когда ты послал за мной Филипса в Асбырги. Тут ты совершил роковую ошибку. Нужно было послать Кенникена.

— Тогда его не было у меня под рукой, — он цокнул языком. — Я должен был сам поехать.

Я тихо рассмеялся.

— Тогда попал бы туда, куда и Филипс. Поблагодари судьбу.

Я выглянул через открытое окно на дорогу и слегка наклонился вперед, проверить положение рук и ног Слэйда и убедиться, что он не пытается усыпить мою бдительность, втягивая в разговор.

— Думаю, что когда-то действительно существовал человек по фамилии Слэйд.

— Да, был такой парень, — согласился он. — Его нашли во время войны в Финляндии, ему тогда исполнилось пятнадцать лет. Родители — граждане Великобритании, погибли во время налета наших штурмовиков. Мы взяли его под свою опеку, а потом произвели замену на меня.

— Точно так, как и в случае с Гордоном Лонсдэйлом, — заметил я. — Удивляет, как ты мог выйти сухим из воды после проверок, связанных с делом Лонсдэйла.

— Сам удивляюсь, — мрачно ответил он.

— А что случилось с молодым Слэйдом?

— Может, попал в Сибирь. Хотя, не думаю...

Я полностью разделял его сомнения. После основательного допроса Слэйд Номер Один наверняка оказался в неизвестном месте в метре под землей.

— Какая у тебя настоящая фамилия? Русская?

Он засмеялся.

— Совершенно не помню. Я был Слэйдом большую часть своей жизни, так долго, что моя предыдущая жизнь в России кажется только сном.

— Перестань, никто не забывает свою фамилию.

— Я себя считаю Слэйдом. И хочу им остаться.

Заметил, что он держит руку вблизи ящичка на приборной доске.

— Сосредоточься на управлении, — сухо посоветовал. — В том ящике найдешь лишь быструю тихую смерть.

Не особенно торопясь, он убрал руку и положил ее на руль. По нему было видно, что уже оправился от страха и начинает восстанавливать

уверенность в себе, поэтому я должен был следить за ним особенно внимательно.

Через час после выезда из Рейкьявика добрались до боковой дороги, ведущей к озеру Тингвадлаватн и дому Кенникена. Наблюдая за Слэйдом, я понял, что он собирается проехать мимо.

— Только без идиотских номеров! Ты ведь хорошо знаешь дорогу.

Он быстренько притормозил и свернул направо. Сейчас ехали еще худшей дорогой, подпрыгивая на выбоинах. Я помнил трассу после недавней поездки с Кенникеном и подсчитал, что цель нашей поездки должна находиться где-то в восьми километрах от поворота. Наклонившись вперед, я бросал взгляд то на спидометр, то в окно, стараясь найти какую-нибудь знакомую деталь пейзажа, и одновременно не спускал глаз со Слэйда. Приходилось довольствоваться двумя глазами, хотя мне пригодился бы еще один глаз.

Наконец вдалеке возник дом Кенникена, во всяком случае, мне так показалось, до этого его видел только в темноте. Я приложил оружие к шее Слэйда и приказал:

— Проедешь мимо дома, ни быстрее, ни медленнее, попросту придерживайся обычной скорости, до тех пор, пока не скажу остановиться.

Когда мы проехали подъезд, ведущий к дому, посмотрел краем глаза в ту сторону. Дом стоял в метрах четырехстах от дороги, и я был уже почти уверен, что мы находимся в нужном месте. Последние сомнения исчезли, когда увидел тянущийся с левой стороны поток застывшей лавы — именно здесь состоялась моя последняя встреча с Джеком Кейсом. Я хлопнул Слэйда по плечу.

— Скоро слева ты увидишь лужайку, где берут лаву для строительных работ. Там и остановишься.

Я ударил ногой в дверцу автомобиля и громко выругался, делая вид, что ушибся. Преднамеренно устроил балаган, чтобы разрядить пистолет и заглушить звуки, возникающие при этом, о чем Слэйд не должен был знать. Я намеревался проверить на нем крепость рукоятки пистолета, а при заряженном оружии такой шаг мог кончиться для меня самострелом в живот.

Он съехал с дороги, и не успели еще колеса полностью остановиться, как я с размаху врезал ему по шее, поближе к затылку. Он со стоном упал вперед, упираясь ногами в педали тормоза и газа. Какую-то минуту автомобиль опасно прыгал и дергался, но, наконец, мотор заглох, и мы замерли на месте.

Я достал из кармана обойму и снова зарядил пистолет, а затем внимательно осмотрел Слэйда. Удар мог с успехом сломать ему шею, но к счастью, оказалось, что Слэйд лишь в бессознательном состоянии, в чем убедился, с силой нажимая на простреленную ладонь: ни одна мышца не дрогнула.

Я должен был тогда убить его. Информация, которую он получал за все годы работы в Конторе, представляла смертельную угрозу, и моим долгом, как сотрудника той же Конторы, было проследить, чтобы она оказалась вычеркнутой раз и навсегда. Но в тот момент эта мысль даже не возникла у меня в голове. Слэйд нужен мне в качестве заложника, а в мои намерения не входил обмен мертвыми заложниками.

Один крупный государственный деятель как-то сказал, что если бы ему пришлось выбирать между изменой стране и изменой другу, то он надеется найти в себе достаточно мужества, чтобы предать свою собственную страну. Элин была для меня больше, чем другом, была всей моей жизнью, и если мог ее вернуть, отдав им Слэйда, то я готов это сделать.

Вышел из автомобиля и открыл багажник. Полотно, в которое были завернуты карабины, пригодилось в самый раз — разорвал его на полосы,

связав ими руки и ноги Слэйда. Потом затащил его в багажник и захлопнул крышку.

Карабин Филипса вместе с патронами спрятал в расщелину на поверхности лавы поблизости от автомобиля, оставив при себе «пушку» Флита. Перевесил ее через плечо и зашагал в сторону дома. У меня возникло предчувствие, что «пушка» мне еще пригодится.

Когда я находился здесь последний раз, пришлось передвигаться в полной темноте. Бежал наобум, не зная местности, но сейчас при дневном свете убедился, что могу приблизиться к дому на расстояние сто метров, оставаясь практически невидимым. Неровную поверхность пересекали три потока лавы — свидетельства давних извержений, образовав затвердевшие хребты, полные расщелин и дыр. Всю поверхность покрывала толстая подушка мха. Я передвигался медленно, и прошло не менее получаса, прежде чем приблизился к дому на безопасное расстояние.

Лежа на мху, внимательно осмотрел дом. Вне всяких сомнений, это было уже известное мне пристанище Кенникена. Окно комнаты, где меня допрашивали, зияло дырой: стекло и занавески отсутствовали, в последний раз они пылали в огне.

Рядом с дверью стоял автомобиль. Разогретый воздух, слегка колышущийся над капотом двигателя, показывал, что мотор еще не остыл. Похоже, что недавно кто-то на нем приехал. Поездка к дому Кенникена заняла у меня много времени, но ему самому пришлось проделать более длинный путь, из Кеблавика, поэтому я надеялся, что он еще не приступил к реализации своего плана выведать у Элин место моего убежища. Возможно также, что он подождет прибытия Слэйда. Оставалась лишь надежда, что я не ошибаюсь в своих предположениях.

Я сорвал большой пласт мха и прикрыл им карабин Флита вместе с пачкой патронов. Он представлял сейчас для меня один из элементов подстраховки: в багажнике, а тем более в доме, был бы абсолютно бесполезным, здесь же мог легко до него добраться, быстро отбежав от двери дома.

Поднявшись, я начал тяжелый переход по поверхности лавы до дома. У меня создалось впечатление, что это самый тяжелый путь, какой когда-нибудь приходилось преодолевать. Я чувствовал себя, как приговоренный к смерти по дороге на эшафот. Шел открыто к двери дома, надеясь, что стоящий там охранник из интереса пропустит меня, а не застрелит в десяти шагах от порога.

Ступая по хрустящей под ногами лаве, подошел к автомобилю и небрежным движением провел рукой по капоту. Я оказался прав: двигатель еще не остыл. За одним из окон заметил какое-то резкое движение, поэтому направился дальше к двери дома. Нажал на кнопку звонка, внутри раздалась изысканная мелодия курантов. Какое-то время ничего не происходило, но вскоре услышал звуки шагов по хрустящей лаве. Посмотрел вбок и увидел мужчину, выходящего из-за угла дома слева от меня. Глянул вправо и увидел еще одного. Оба направлялись в мою сторону с решительными лицами.

Я улыбнулся им и еще раз нажал на кнопку звонка. Куранты зазвучали мелодично, как в домах маклеров. Дверь открылась, на пороге стоял Кенникен. В руке держал пистолет.

— Я из страхового общества, — представился ему. — Как там твоя страховка, Вацлав?

VIII

Кенникен безразлично смотрел на меня, целясь пистолетом прямо в сердце.

— Почему бы мне тебя сейчас не убить?

— Именно об этом и хотел с тобой поговорить. Ты бы очень плохо поступил, отправляя меня на тот свет.

За спиной слышал шаги моих крайних нападающих, готовых приступить к уничтожению.

— Тебе интересно, зачем я пришел? Не удивляет мой приход и звонок в твою дверь?

— Да, действительно, это довольно интригующе. Ты не будешь возражать, если мои ребята тебя обыщут?

— Ну почему же, — заверил его.

Почувствовал на себе их тяжелые руки. Забрали у меня пистолет Слэйда и обойму с патронами.

— Это верх негостеприимства, — запротестовал я, — столько держать у порога... Что о тебе подумают соседи?

— Нет у нас никаких соседей, — он посмотрел на меня с интересом. — Ты хорошо владеешь собой, Стевартсен. Видимо, чокнулся. Но входи.

— Спасибо, — поблагодарил и зашагал за Кенникеном в знакомую комнату, где мы уже вели приятную беседу. Бросил взгляд на пропалины в ковре.

— Я слышал недавно какие-то сильные взрывы.

— Ловко ты все сделал, — он указал пистолетом на кресло. — Садись туда, где и раньше сидел. Можешь убедиться, что камин в этот раз холодный.

Сам он уселся напротив меня.

— Прежде чем что-нибудь скажешь, знай, что у нас твоя девушка, Элин Рагнарсдоттир.

Я вытянул ноги.

— Зачем она вам нужна?

— Мы хотели использовать ее для поимки тебя. Но, похоже, в этом нет необходимости.

— Так для чего ее здесь дальше держать? Выпусти ее.

Он усмехнулся.

— Ты действительно смешон, Стевартсен. Жаль, что английская оперетта переживает упадок, ты мог бы в ней прилично зарабатывать.

— Тебе, видимо, известно, какой энтузиазм вызывает мое появление в рабочих клубах. На такого старого марксиста, как ты, это должно произвести впечатление. Но к делу. Элин выйдет из этого дома без единой царапины, ты разрешишь ей уйти.

Он прищурил глаза.

— Лучше объясни, что ты задумал.

— Я пришел сюда по собственному желанию. Ведь не считаешь, что я поступил бы так, если бы не мог побить твоего туза. Дело в том, что Слэйд у меня в руках. Око за око, зуб за зуб. — Он широко раскрыл глаза. — Впрочем, о чем говорю, ведь ты не знаешь никакого Слэйда. Сам об этом мне сказал, а всем известно, что Вацлав Викторович Кенникен — человек чести и никогда не унизится до лжи.

— Допустим, что знаю твоего Слэйда. Какие доказательства, что ты говоришь правду? Твое слово?

Я потянулся рукой во внутренний карман пиджака, но остановился, увидев направленный на меня пистолет.

— Не бойся. Ты ведь не против, чтобы поискал желаемое доказательство?

Он махнул пистолетом, разрешая. Я вынул паспорт Слэйда и бросил ему. Он наклонился, чтобы поднять его. Одной рукой перелистал и остановился на фотографии, внимательно рассматривая ее. Затем резко захлопнул его.

— То, что у тебя есть паспорт Слэйда, отнюдь не доказывает, что и его владелец у тебя в руках. Наличие паспорта еще ни о чем не говорит, у меня самого масса различных паспортов на разные фамилии. Во всяком случае, я не знаю никакого Слэйда. Эта фамилия мне ни о чем не говорит.

Я рассмеялся.

— Что-то непохоже на тебя — разговариваешь сам с собой. Факт, что почти два часа назад ты вел телефонный разговор с несуществующим человеком из отеля «Борг» в Рейкьявике.

И я скрупулезно повторил содержание его разговора со Слэйдом.

— Разумеется, я мог кое-что перепутать в его ответах, поскольку Слэйд вообще не существует.

Его лицо напряглось.

— Ты обладаешь очень опасной информацией.

— Больше, держу в руках Слэйда. Он уже находился под моим контролем, когда разговаривал с тобой по телефону. Я держал пистолет на его толстой шее.

— А где он сейчас?

— О, небеса! Вацлав, не забывай, что разговариваешь со мной, а не с такой гигантской, придурковатой обезьяной, как Ильич.

Он пожал плечами.

— Всегда стоит попробовать.

Я усмехнулся.

— Ты должен больше стараться. Могу только сказать: если у тебя есть намерение его искать, то в тот момент, когда его найдешь, он будет холодным трупом. Таков приказ.

Кенникен задумчиво подергал нижнюю губу.

— Ты отдал этот приказ или получил его?

Я наклонился вперед и начал лгать как нанятый.

— Чтобы не было никаких сомнений: приказ исходил от меня. Если ты либо кто другой из твоего окружения приблизитесь в Слэйду, он — мертвец. Именно такой отдал приказ, и можешь быть уверен, он будет выполнен.

Любой ценой должен выбить у него из головы мысль, что я — исполнитель чьих-то приказов. Единственным человеком, который мог меня выдать, был Тэггарт, а это означало, что игра Слэйда закончена. Поэтому если бы Кенникен хоть на секунду заподозрил, что Тэггарт расшифровал Слэйда, то подсластил бы горечь поражения, отправив меня и Элин на тот свет, а сам, словно вихрь, умчался бы в Россию.

Для усиления своих аргументов я добавил:

— Когда попаду в руки людей из Конторы, могу здорово получить по шее, но пока мои приказы исполняются. Если ты приблизишься к Слэйду, пуля отправит его на тот свет.

Кенникен мрачно усмехнулся.

— А кто нажмет на спусковой крючок? Ты ведь сказал, что не работаешь на Тэггарта, похоже, что действуешь в одиночку.

— Ты недооцениваешь исландцев. Я знаю их очень хорошо, у меня, как и у Элин, здесь масса друзей. И должен знать, что им не нравится то, что ты здесь вытворяешь, и вообще им не нравится, что одному из их круга угрожает опасность.

Я уселся в кресле поудобней.

— Посмотри на дело с другой стороны. Исландия большая страна с небольшим населением, где каждый знает каждого. Черт побери, если серьезно разобраться с их генеалогией, что, кстати, они охотно делают, то окажется, что все они повязаны родственными узами. Кроме шотландцев, я не встречал другого такого народа, который был бы влюблен в собственное происхождение. Поэтому никому не безразлична судьба Элин Рагнарсдоттир. Послушай, эта страна не какой-то людской муравейник, где сосед не знает соседа. Похитив Элин, ты восстановил всех против себя.

Кенникен задумался. Я надеялся, что дал ему достаточно пищи для размышлений, однако время неумолимо уходило, и мне пришлось прижать его еще сильней:

— Я хочу видеть Элин сейчас, здесь, в этой комнате, целой и невредимой. Если с ней что-нибудь случилось, то ты об этом пожалеешь.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Ты, разумеется, не поставил в известность местные власти. В противном случае полиция уже окружила бы дом.

— Ты абсолютно прав. Я не сделал этого, и у меня были серьезные причины. Во-первых, это вызвало бы международный скандал, что было бы достойным сожаления инцидентом. Во-вторых, и что более важно, местные власти могли бы лишь депортировать Слэйда. Мои же друзья не щепетильны, если возникнет необходимость, убьют его.

Я наклонился и ткнул Кенникена в колено указательным пальцем.

— А потом донесут на тебя в полицию, и ты уже не сможешь спрятаться от полицейских и дипломатов, — я выпрямился. — Хочу видеть Элин, и немедленно.

— Думаю, ты говоришь правду, но дело в том, что я однажды тебе уже поверил, — голос его затих, и он закончил шепотом: — А ты меня предал.

— У тебя нет выбора. А чтобы тебе лучше думалось, скажу еще кое-что: я установил лимит времени. Если в течение трех часов мои друзья не получат известия от Элин, причем непосредственно от нее, то Слэйд получит то, что заслужил.

Кенникен явно советовался сам с собой. Ему необходимо было принять решение, а это дело непростое.

— А твои исландские друзья, — начал он, — знают, кто такой Слэйд?

— Тебя интересует, знают ли они, что он работает в русской разведке, или его положение в английской разведке? — Я покачал головой. — Знают лишь, что он — заложник, которого нужно обменять на Элин. Ничего больше им не сказал. Считают вас бандитской шайкой, и клянусь, они недалеки от истины.

Это перевесило. Он решил, что, кроме меня и Элин, действительно никто даже не представляет, что Слэйд является двойным агентом. Исходя из этого предположения, которое, бог знает, было ли правдой, учитывая, что мои исландские друзья существовали только в моем воображении, он оказался готов к акции обмена. Кенникен мог выбирать: пожертвовать Слэйдом, из которого столько лет с таким трудом строили троянского коня, или выпустить на свободу не представляющую никакого интереса жительницу Исландии. Ответ очевиден. Отдавая Элин, он ничем не ухудшал свое положение, но при всем том я был уверен, что Кенникен лихорадочно перебирал варианты, чтобы перехитрить меня.

Он вздохнул и заявил:

— Во всяком случае, ты можешь увидеть девушку.

Кивнул мужчине, стоявшему за мной, и тот сразу вышел из комнаты.

— Ты вляпался прилично, — продолжал я дразнить, — и не думаю, что Бакаев обрадуется этой истории. На этот раз тебе гарантирована Сибирь,

если не хуже, а все из-за Слэйда. Забавно, да? Из-за Слэйда провел четыре года в Ашхабаде, а на что можешь надеяться сейчас?

В его глазах появилось выражение боли.

— То, что ты говорил о роли Слэйда в Швеции, это правда?

— Да, Вацлав. Именно он подкапывался под тебя.

Он раздраженно покачал головой.

— Я чего-то здесь не понимаю. Ты говоришь, что хочешь отдать Слэйда в обмен на девушку: как можно ожидать таких действий от сотрудника Конторы?

— Бог свидетель, Вацлав, но ты меня не слушаешь. Я давно уже не сотрудник Конторы, ушел четыре года назад.

Подумав, он спросил:

— Хорошо, но где твоя лояльность?

— Это мое дело, — жестко ответил я.

— Ты готов пожертвовать всем миром ради девушки? — иронически спросил он. — Я окончательно от этого излечился, а ты был моим целителем.

— Ты снова о своем. Если бы вместо того, чтобы прыгать, упал тогда на землю, я бы убил тебя без всякой халтуры.

Дверь открылась, и под охраной вошла Элин. Я хотел было встать, но тут же опустился в кресло, увидев предостерегающе поднятый пистолет в руке Кенникена.

— Привет, Элин. Извини, что не встаю.

При виде меня на ее бледном лице появилось выражение угнетенности.

— И ты тоже!

— Я здесь по собственной воле. Все в порядке? Тебе ничего не сделали?

— Ничего плохого, кроме того, что необходимо. Немного выкрутили руки.

Она дотронулась до раненого плеча.

Я улыбнулся.

— Пришел, чтобы забрать тебя отсюда. Сейчас уходим.

— У меня несколько иное мнение, — отозвался Кенникен. — Как ты собираешься это сделать?

— Нормально, через дверь.

— Так просто? — он усмехнулся. — А что со Слэйдом?

— Получишь его в целости и сохранности.

— Мой дорогой! Не так давно ты упрекал меня в отсутствии реализма. Придумай более реальный способ обмена, этот мне не нравится.

Я послал ему улыбку.

— И не надеялся, что ты на это клюнешь, но, как ты сам сказал, стоит попробовать. У меня такое впечатление, что мы сможем выработать какое-нибудь взаимовыгодное соглашение.

— Например?

Я потер ладонью подбородок.

— Ты выпускаешь Элин, она входит в контакт с нашими друзьями, а потом обменяешь меня на Слэйда. Все детали можно оговорить по телефону.

— Это звучит логично. Хотя не уверен, имеет ли смысл менять двух на одного.

— Жаль, что не сможешь спросить об этом Слэйда.

— Очко в твою пользу, — Кенникен беспокойно заерзал. Старался найти в моем плане какие-либо слабые места. — Слэйд вернется к нам целым и невредимым?

Я извиняюще улыбнулся.

— Ну, не совсем. Он потерял много крови, но это не беда, рана не смертельная. Кроме того, у него будет болеть голова. Но ведь это не твои заботы?

— Вот именно, — он встал. — Пожалуй, могу на это пойти, но хочу еще подумать.

— Только недолго, — предостерег его. — Помни о лимите времени.

Элин спросила меня:

— Ты действительно захватил Слэйда?

Я посмотрел на нее, молясь в душе, чтобы она меня не подвела, пытаясь передать скрытую информацию.

— Да, его опекают наши друзья под руководством Валтыра.

— Валтыр! — она согласно кивнула головой. — Тот справится с любым противником.

Я перевел взгляд на Кенникена, стараясь скрыть облегчение, которое принесли слова Элин.

— Поторопись, Вацлав, — подхлестнул его, — время уходит.

Он внезапно принял решение.

— Хорошо, сделаем так, как ты говоришь, — посмотрел на часы. — Но я тоже установлю лимит времени. Если в течение двух часов никто не позвонит, ты умрешь, несмотря на то, что случится потом со Слэйдом. Повернулся лицом к Элин. — Запомни это, Элин Рагнарсдоттир.

— И еще одно, — отозвался я, — прежде чем Элин выйдет, я должен с ней поговорить, ведь она не знает, где искать Валтыра.

— Сделаешь это при мне.

Я посмотрел на него с укором:

— Не прикидывайся идиотом. Было бы глупо с моей стороны раскрыть тебе местонахождение Слэйда, ты мог бы попытаться вытащить его оттуда. А что потом случилось бы со мной? — Я осторожно встал. — Или поговорю с ней наедине, или вообще не буду разговаривать. Снова загоняю тебя в патовую ситуацию, но ведь ты наверняка понимаешь, что я должен беспокоиться о собственной шкуре.

— Да, в этом нет никаких сомнений, — он презрительно усмехнулся. — Можете разговаривать там, в углу, но я останусь в этой комнате.

Я кивнул Элин, и мы перешли туда, куда он указал. Повернулся спиной к Кенникену на случай, если одним из его талантов могло оказаться умение читать с губ на шести языках.

— Ты действительно захватил Слэйда? — шепнула Элин.

— Да, но ни Валтыр и никто другой об этом не знают. Я заправил Кенникену вполне достоверную сказочку, но не до конца правдивую. Тем не менее, Слэйд в моих руках.

Она положила мне руку на грудь.

— Они напали внезапно, — сказала, — я ничего не могла сделать, Алан, боялась.

— Это уже не имеет значения. Сейчас отсюда выйдешь, а пока послушай, что ты должна сделать. Ты должна…

— Но ты здесь остаешься, — прервала меня она с болью в глазах

— Я не буду здесь долго торчать, если сделаешь то, что скажу. Слушай внимательно. Когда выйдешь из дома, то пойдешь вверх до дороги и свернешь влево. Пройдя около километра, наткнешься на настоящее чудо — большой американский автомобиль. Ни под каким предлогом не открывай багажник. Прыгай за руль и гони изо всех сил в Кеблавик. Ясно?

Она кивнула.

— А там что мне делать?

— Ты должна встретиться с Ли Нордлингером. Поднимешь шум и потребуешь встречи с агентом ЦРУ. Ли и все остальные будут клясться и божиться, что у них никого такого нет, но если будешь настойчива, наверняка его разыщут. Можешь сказать Ли, что речь идет о приборе, который он тестировал, это должно сыграть. Парню из ЦРУ расскажешь всю историю, а потом откроешь багажник автомобиля, — я иронично усмехнулся. — Но не говори «багажник», а только «сундук», иначе американец может тебя не понять. Британский английский и американский — это иногда два разных языка.

— А что в середине?

— Слэйд.

От изумления она вытаращила глаза.

— В автомобиле? У них под носом?

— У меня оставалось мало времени, и я должен был действовать быстро.

— А что будет с тобой?

— Ты должна убедить цэрэушника, чтобы он сюда позвонил. С момента выхода отсюда в твоем распоряжении два часа, поэтому тебе придется постараться. Если увидишь, что не успеваешь, или работник ЦРУ не поддается на уговоры, то позвонишь сама Кенникену и выдашь какую-нибудь убедительную версию. Уговори его на встречу с целью обмена меня на Слэйда; неважно состоится она или нет, мне это позволит выиграть время.

— А если американцы мне не поверят?

— Скажешь им, что знаешь о Флипе и Маккарти. Пригрози, что проинформируешь обо всем исландскую прессу. Это должно вызвать какую-то реакцию. И главное, не забудь сказать, что твои друзья хорошо знают, куда ты пошла. Так, на всякий случай.

Я пытался застраховаться от всякой неожиданности.

Она закрыла на минуту глаза, стараясь сохранить в памяти все инструкции. Открыв их, спросила:

— Слэйд жив?

— Разумеется. Я сказал Кенникену правду. Он ранен, но живой.

— Мне пришло в голову, что ЦРУ поверит Слэйду больше, чем мне. Может так случиться, что работники ЦРУ в Кеблавике его старые знакомые.

— Я принимаю это во внимание, но мы должны рискнуть. Именно поэтому должна рассказать все до передачи Слэйда. И не дай себя опередить. Если тебе удастся убедить их в серьезности ситуации, то они так легко не выпустят его из своих рук.

Она не выглядела счастливой, как и я, но ничего лучше мы не могли придумать.

— Ты должна ехать быстро, но внимательно, чтобы не попасть в аварию. Помни, что везешь в автомобиле.

Я взял ее за подбородок и приподнял голову.

— Все будет хорошо, вот увидишь.

Внезапно она испуганно заморгала.

— Я должна тебе еще кое-что сказать. Пистолет, который ты мне дал, по-прежнему у меня.

Сейчас настала моя очередь вытаращить глаза.

— Что?!

— Они не обыскали меня. Он у меня в кобуре под курткой.

Должен признать, что под просторной курткой оружие вообще не заметно. Тем не менее, кто-то схалтурил. Хоть и трудно ожидать, что исландская девушка может иметь оружие, однако факт, что ее не обыскали,

свидетельствовал об обыкновенной халтуре. Трудно поэтому удивляться частым вспышкам гнева у Кенникена, когда он говорил о своих людях.

Элин шепотом спросила:

— Может, мне удастся его как-нибудь тебе подсунуть?

— Невозможно, — с сожалением отказался, чувствуя зоркий взгляд Кенникена за своей спиной. Он стоял, вглядываясь в нас, словно ястреб, а Смит-энд-Вессон, калибр 38 — это не игральная карта, которую можно укрыть в ладони.

— Пусть будет у тебя. Кто знает, может, тебе еще пригодится.

Я положил руку на ее здоровое плечо, притянул к себе и поцеловал, чувствуя ее холодные, твердые губы. Она слегка дрожала. Я отодвинулся и сказал:

— Тебе пора.

Повернулся к Кенникену.

— Как трогательно, — насмешливо сказал он.

— Есть еще кое-что, — начал я, — ты даешь слишком мало времени. Двух часов может не хватить.

— Должно хватить, — неуступчиво заметил он.

— Помысли здраво. Девушке нужно ехать через Рейкьявик, а пока она туда доберется, будет уже пять часов, то есть самый пик движения. Ты ведь не хочешь потерять Слэйда из-за какой-то уличной пробки, верно?

— Ты беспокоишься не о Слэйде, а о собственной шкуре. Думаешь о пуле, которая размозжит тебе голову.

— Может быть, но ты-то лучше подумай о Слэйде, если я погибну, его ждет то же самое.

Он коротко кивнул, соглашаясь:

— Три часа и ни минутой больше.

Кенникен мыслил логично, уступая рациональным аргументам. Я выторговал для Элин еще один час, на час больше для переговоров с военными шишками в Кеблавике.

— Девушка идет одна, — предупредил я. — Никакой слежки.

— Само собой.

— Дай ей номер телефона, по которому должна позвонить. Было бы печально, если бы она вышла отсюда, не зная его.

Кенникен достал записную книжку и написал номер телефона. Вырвал листок и подал Элин.

— Никаких фокусов, — предостерег он. — Главное, забудь о полиции. Если в округе появятся чужие люди, он распрощается с жизнью. Лучше, если ты в это поверишь.

— Понимаю, — ответила она тусклым голосом. — Никаких фокусов не будет.

Элин посмотрела на меня, мое сердце едва не вырвалось из груди. Кенникен взял ее за локоть и провел к двери. Спустя минуту увидел в окно, как она удаляется в сторону дороги.

Кенникен вернулся.

— Мы поместим тебя в какое-нибудь безопасное место, — сказал он и кивнул охраннику, державшему меня на мушке.

Они провели меня наверх, в пустую комнату. Кенникен осмотрел голые стены и грустно покачал головой.

— В средневековье строили гораздо лучше, — заявил он.

У меня не было желания вступать с ним в беседу, но решил составить компанию. Меня беспокоила неясная мысль, что, возможно, Кенникен не очень желает появления Слэйда. Он мог бы тогда приступить к упоительному процессу — отправке меня в мир иной. К тому же я сам в определенной

степени за это отвечал, пытаясь враждебно настроить его по отношению к Слэйду. Может, моя идея оказалась и не такой уж хорошей…

— Что ты имеешь в виду? — спросил, с опозданием реагируя на его последнее замечание.

— В те времена строили из камня.

Он подошел к окну и ударил кулаком во внешнюю стену. Дерево ответило глухим эхом.

— Эта халупа не крепче яичной скорлупы.

С ним трудно было не согласиться. Домики, расположенные вокруг озера, — это летние дачи, не предназначенные для постоянного жительства. Вся конструкция являла собой деревянный скелет, обшитый с каждой стороны тонкими досками, а между ними тепловой изоляцией, покрытой для полного счастья изнутри толстым, почти в сантиметр, слоем штукатурки. В сумме такой дом — ближайший родственник обыкновенной палатки.

Кенникен подошел к противоположной стене и постучал по ней костяшками пальцев. Ответом ему было еще более глухое эхо.

— Через эту перегородку ты прошел бы через пятнадцать минут, используя только руки. Поэтому этот парень останется с тобой.

— Не бойся, я не супермен, — язвительно заметил я.

— Не нужно быть суперменом, чтобы связать, как баранов, этих халтурщиков, которых мне дали для операции, — в тон мне язвительно ответил Кенникен. — Ты это уже доказал, но думаю, мои нынешние приказы дойдут даже до самой пустой головы.

Он повернулся к охраннику с оружием.

— Стевартсен будет сидеть в том углу комнаты, а ты должен стоять у двери. Понятно?

— Да.

— Если он пошевелится, ты его застрелишь. Понятно?

— Да.

— Если он скажет хоть слово, ты его застрелишь. Понятно?

— Да.

— Если он вообще что-либо попытается сделать, ты его застрелишь. Понятно?

— Да, — флегматично отвечал вооруженный охранник.

Приказы Кенникена не оставили для меня ни малейшей возможности попытаться что-либо сделать.

— Ага, о чем это я хотел тебя спросить? — отозвался он, пытаясь что-то вспомнить. — Ах, да, ты сказал, что Слэйд ранен, верно?

— Да, пустяк, маленькая дырочка в ладони.

Они кивнул и повернулся к охраннику.

— Стреляй так, чтобы сразу убить. Стреляй ему в живот.

И он вышел из комнаты. Дверь захлопнулась.

Я посмотрел на охранника, который ответил мне встречным взглядом. Оружие, нацеленное мне в живот, не дрогнуло даже на волосок. Другой рукой он без слов указал на угол комнаты. Я двигался в указанном направлении, пока лопатками не коснулся стены.

Он бросил на меня безразличный взгляд.

— Садись! — приказал коротко, не тратя лишних слов.

Я сел. Этого типа невозможно поймать на какую-нибудь уловку. Он стоял неподвижно в пяти метрах и выглядел как человек, выполняющий приказы без рассуждений. Если бы я прыгнул в его сторону, то тут же получил бы пулю. Я не мог даже рассчитывать спровоцировать его на неверный шаг. Меня ожидали три очень долгих часа.

Кенникен был прав. Оставь он меня одного в комнате, я развалил бы перегородку, потратив на это гораздо меньше пятнадцати минут. Однако по-прежнему оставался бы внутри дома, но уже в неизвестном месте, а использовав внезапность, о чем знают все генералы, мог выиграть битву. Кенникен прекрасно понимал, что после ухода Элин приложу все усилия, чтобы отсюда вырваться.

Я посмотрел в окно. Через него виднелся краешек голубого неба с маленькой тучкой. Время тянулось медленно, и, пожалуй, через полчаса я услышал шуршание шин подъехавшего автомобиля. Я не знал, сколько людей Кенникена находилось в доме в момент моего прихода, в трех был уверен, но вместе с появлением очередного пополнения разница в силах увеличилась не в мою пользу.

Я медленно повернул руку, подтянул рукав пиджака, посмотреть на часы. В глубине души молился, чтобы охранник не расценил мое движение как неестественное. Я не спускал с него глаз, но он ответил мне ничего не выражающим взглядом, поэтому глянул, сколько же времени прошло. Я ошибался: прошло не полчаса, а всего лишь пятнадцать минут. Похоже, трехчасовое ожидание протянется дольше, чем рассчитывал.

Через пять минут раздался стук в дверь и послышался возбужденный голос Кенникена.

— Я вхожу!

Дверь открылась, и охранник отодвинулся в сторону. В комнату вошел Кенникен.

— Вижу, ты вел себя примерно, — похвалил меня, а в его голосе прозвучало что-то, от чего мне стало не по себе. По-моему, он слишком уж веселился.

— Повторим еще раз, что ты раньше говорил, — начал он. — Ты утверждаешь, что Слэйда удерживают твои исландские друзья, которые, насколько хорошо я запомнил, должны его убить, если мы не обменяем его на тебя. Ты согласен?

— Да.

Он улыбнулся.

— Внизу ждет твоя подружка. Составим ей компанию? — Он махнул рукой. — Можешь спокойно встать, мы стрелять не будем.

Я медленно встал, лихорадочно размышляя над тем, что могло случиться. Спустился под охраной вниз и увидел Элин. Она стояла рядом с погашенным камином, а сбоку находился Ильич. Побледнев, она прошептала:

— Прости меня, Алан.

— Ты ведь не думал, что я поверил, будто ты пришел пешком? Как только появился у входной двери, я сразу начал думать, где ты оставил автомобиль. То, что приехал на машине, у меня не вызвало сомнений, в этой стране пешком нельзя ходить. Поэтому выслал своего человека на поиски, прежде чем ты нажал на звонок у двери.

— Ты всегда мыслил логично.

Он был явно доволен собой.

— И как думаешь, что он нашел? Большой американский автомобиль, даже с ключом в замке зажигания. Вскоре, очень спеша, появилась эта молодая дама, которую он решил забрать сюда вместе с автомобилем. Мы ведь не можем обвинять его за это, верно? Он ничего не знал о нашем соглашении.

— Ну разумеется, — согласился я глухим голосом, пытаясь угадать, открывал ли Ильич багажник. — Но не думаю, что произошли какие-то изменения.

— Дело в том, что мои люди получили приказ: искать маленькую коробочку с электронным прибором, поэтому он обыскал весь автомобиль. Но прибора не нашел.

Он замолчал и выжидательно посмотрел на меня, явно наслаждаясь ситуацией.

— Ты не будешь возражать, если сяду? — спросил я его. — И бога ради, дай мне папиросу, мои уже кончились.

— Ну конечно, мой дорогой, — заботливо сказал он. — Садись там, где обычно.

Он достал портсигар и осторожно зажег мне папиросу.

— Мистер Слэйд очень зол на тебя. Похоже, он тебя совсем не любит.

— А где он?

— На кухне, ему перевязывают руку. Должен признать, ты поставил очень точный диагноз: у него действительно болит голова.

Я чувствовал такую тяжесть в желудке, словно проглотил чугунное ядро. Затянулся папиросой.

— Ну хорошо, и что сейчас?

— То же самое, что и раньше. Возвращаемся к моменту, когда приехал со мной из Гейсир. Ничего не изменилось.

Он ошибался: на этот раз со мной находилась Элин.

— Следовательно, сейчас ты меня застрелишь.

— Возможно. Но сначала с тобой хочет поговорить Слэйд, — он посмотрел на дверь. — Ага, вот и он.

Слэйд выглядел ужасно. Посеревшее лицо, шаркающая походка. Когда он подошел ближе, то я увидел его ничего не выражающие глаза и понял, что потрясение еще не прошло. Руку ему аккуратно забинтовали, но одежда была измятой и грязной, а волосы взлохмачены. Он был, видимо, сильно возбужден, ибо всегда тщательно следил за своим внешним видом.

Я не ошибся. Слэйд действительно был возбужден, в чем я очень скоро убедился.

Подошел и сверху посмотрел на меня. Махнул левой рукой и приказал:

— Поднимите его и поставьте к стене.

Меня схватили, прежде чем успел что-либо сделать. Кто-то сзади вывернул мне руки, стащил с кресла и сильно толкнул. Я пролетел через всю комнату и врезался в стену. В этот момент услышал голос Слэйда:

— Где мой пистолет?

Кенникен пожал плечами:

— Откуда я знаю?

— Вы должны были найти его у Стюарта.

— А, ты об этом говоришь, — он достал из кармана оружие. — Этот?

Слэйд взял пистолет и подошел ко мне.

— Придержите его правую руку на стене, — приказал он и поднес забинтованную руку к моим глазам. — Это твоя работа, Стюарт, и ты, видимо, сам знаешь, что сейчас произойдет.

Чья-то твердая рука припечатала мое запястье к стене. Я еще настолько соображал, что, едва он нажал на спуск, успел расставить пальцы, и пуля прошла через середину ладони. Интересное дело: сразу после удара я не почувствовал боли, лишь вся рука от плеча до кончиков пальцев онемела. Но тем не менее, я знал, что боль даст о себе знать, когда пройдет первый шок.

В голове зашумело, и я еще услышал крик Элин, который, как казалось, доносился откуда-то издалека. Когда я открыл глаза, то увидел угрюмое лицо Слэйда, вглядывающегося в меня.

— Бросьте его назад в кресло, — резко приказал он.

Он совершил акт мести и сейчас готовился к выполнению нормальных обязанностей.

Меня втолкнули в кресло. Я поднял голову и увидел Элин. Она стояла, опираясь на камин, с лицом, залитыми слезами. Слэйд стал между нами.

— Ты слишком много знаешь, Стюарт. И наверняка понимаешь, что должен умереть.

— Я знаю, что сделаешь для этого все возможное, — выдавил из себя бесцветным голосом.

Сейчас начал понимать, почему Слэйд едва не расплакался в гостиничном номере. В этот момент я чувствовал себя точно так же. Был не в состоянии соединить две мысли, а голову разрывала сильная боль. Попадание пули в тело рождает сильное эхо.

— Кто, кроме девушки, знает обо мне? — услышал голос Слэйда.

— Больше никто, — ответил я. — А что будет с ней?

Он пожал плечами.

— Будете лежать в общей могиле. — Он повернулся в Кенникену. — Может, он и говорит правду. Находился он все время в пути и не имел возможности кому-нибудь сообщить.

— Он мог написать письмо, — засомневался Кенникен.

— Я должен рискнуть. Не думаю, чтобы Тэггарт подозревал меня. Может, злится, что потерял меня из виду, но на этом все должно закончиться. Буду сейчас пай-мальчиком и первым же самолетом полечу в Лондон.

Он поднял забинтованную руку и помахал ею перед Кенникеном.

— Скажу, что это твоих рук дело: меня подстрелили, когда пытался прийти на помощь этому балбесу.

Он ударил меня по ноге.

— А что с электронным прибором? — напомнил Кенникен.

— А что с ним может быть?

Кенникен вынул портсигар и достал папиросу.

— Жаль, если операция закончится не по плану. Стюарт знает, где он спрятан, а я могу вытянуть из него нужную информацию.

— Значит, ты можешь это сделать, — задумчиво сказал Слэйд. Посмотрел сверху на меня. — Где ты его спрятал, Стюарт?

— Там, где ты его никогда не найдешь.

— Мы еще не обыскали автомобиль, — заметил Кенникен. — Когда нашли тебя в багажнике, все отступило на второй план.

Он быстро отдал приказ, и два человека тут же вышли из комнаты.

— Если он спрятал его в автомобиле, то найдем наверняка.

— Мне не верится, что прибор в автомобиле, — заметил Слэйд.

— И я не верил, что в багажнике найду именно тебя, — ядовито парировал Кенникен. — И совершенно не удивлюсь, если прибор окажется в автомобиле.

— Может, ты и прав, — согласился Слэйд, но тон его голоса явно выдавал, что он так не думает.

Он наклонился надо мной и произнес:

— Готовься к смерти, Стюарт. Можешь быть уверен, что уже не убежишь. Однако умереть можно по-разному. Скажи, где посылка, и обещаю тебе быструю, легкую смерть. В противном случае отдам в руки Кенникена.

Я крепко сжал губы, зная, что если раскрою рот, то дрожь нижней губы выдаст мой страх.

Он отошел в сторону.

— Хорошо, можешь взять его себе, Кенникен, — в голосе Слэйда прозвучала мстительная нотка. — Лучше всего, если ты не торопясь будешь отстреливать ему кусочек за кусочком. Он сам мне этим угрожал.

Кенникен встал передо мной с пистолетом в руке.

— Ну, Алан, ты подходишь к концу пути. Где спрятал деталь от радара?

Даже в такой момент, с нацеленным в меня пистолетом, я не пропустил совершенно новую для себя информацию: деталь для оснащения радара! Мое лицо исказила гримаса невольной усмешки.

— Дашь мне еще одну папиросу, Вацлав?

Однако по лицу Кенникена не пробежало даже тени улыбки. Он смотрел на меня холодным взглядом с угрюмо стиснутыми губами. Его лицо походило на гримасу палача.

— У нас нет времени соблюдать традиции. Покончим, наконец, с этими глупостями.

Я посмотрел на стоящую за ним Элин. Забытая всеми, она застыла там с выражением решимости на лице. Ее рука, укрытая под курткой, медленно выдвигалась, что-то крепко сжимая. Я внезапно вспомнил, что у Элин попрежнему при себе пистолет.

Ко мне мгновенно вернулась способность соображать. Когда уходит последняя надежда и остается лишь ожидание смерти, человек погружается в болото фатализма, но стоит возникнуть лишь тени шанса, и он снова начинает действовать. В моем случае действовать означало обрушить на них лавину слов.

Я повернул голову и обратился к Слэйду. Нужно привлечь его внимание к себе, чтобы ему не пришло в голову посмотреть в сторону Элин.

— Ты не хочешь его остановить? — жалобно спросил я.

— Ты сам в состоянии это сделать. Нужно лишь сказать то, что мы хотим знать.

— Но если я не знаю. К тому же, меня, так или иначе, ждет смерть.

— Но значительно более легкая. Ты умрешь быстро и безболезненно.

Я повернулся в сторону Кенникена и через его плечо посмотрел на Элин. Она уже достала оружие и возилась с ним, а я молился в душе, чтобы она не забыла, что нужно сделать перед выстрелом.

— Нет, ну, Влацлав, — говорил я, не останавливаясь, — ты не поступишь так со своим старым приятелем. Нет, ты…

Он направил пистолет мне в живот, а потом медленно опустил его ниже.

— Ты знаешь и без гадалки, куда всажу тебе первую пулю, — начал он смертельно спокойным голосом. — Я повинуюсь лишь приказам Слэйда и голосу собственного сердца.

— Скажи, где прибор? — поторопил меня Слэйд, наклонившись вперед.

Я услышал металлический щелчок. Элин сняла предохранитель.

На этот звук Кенникен начал оборачиваться в ее сторону. Элин держала пистолет в обеих ладонях, полностью вытянув руки вперед, и когда Кенникен еще не успел полностью повернуться, выстрелила и уже не переставала нажимать на спусковой крючок.

Я отчетливо услышал, как первая пуля ударила Кенникена в спину. Конвульсивно сжимая пистолет, он выстрелил прямо перед собой. Пуля вонзилась в подлокотник кресла рядом с моей рукой. Я не стал больше ждать. Нырнул в сторону Слэйда и, наклонив голову, изо всей силы врезался ему в живот. Получив удар, он шумно выдохнул и рухнул на пол, с трудом хватая ртом воздух.

Мгновенно перекатился по полу, отдавая себе отчет, что Элин не прекращает стрельбу и пули свистят по комнате.

— Прекрати стрелять! — крикнул я.

Схватив хлопушку Слэйда, я подскочил к Элин и сжал ей запястье.

— Ради бога, перестань!

Она выпустила почти всю обойму. Стена напротив была продырявлена. Кенникен лежал на спине рядом с креслом, на котором я недавно сидел, и всматривался в потолок невидящим взглядом. Элин угодила в него еще дважды, что и неудивительно, приняв во внимание, что стреляла с расстояния менее двух метров. Мне повезло: ни одна пуля не зацепила. На лбу Кенникена алела рваная, смертельная рана, свидетельство того, что после первого выстрела в спину у него оставалось еще столько жизненной силы, чтобы повернуться и попытаться выстрелить. Вторая пуля попала ему в подбородок, вырвав нижнюю часть лица.

Передо мной лежал мертвец.

Я не остановился, чтобы подумать над хрупкостью человеческой жизни, которая в полном расцвете несет на себе пятно смерти, а направился в сторону двери, увлекая за собой Элин. Я мог предположить, что парни на улице ждали выстрелов, особенно после небольшой демонстрации, устроенной Слэйдом, но и не сомневался в их желании проверить, что происходит после серии Элин. Мне нужно было заставить их отказаться от этого намерения.

У двери я выпустил запястье Элин из своей левой руки, переложив в нее пистолет из правой. Трудно думать о стрельбе из пистолета, хоть и с малой отдачей, как у хлопушки Слэйда, если держишь его в простреленной ладони. В стрельбе из короткого оружия я ничем не выделяюсь, а что уж говорить о стрельбе левой рукой. Но одна из приятных особенностей стрелковых поединков состоит в том, что человек, в которого стреляешь, не требует от тебя свидетельства об отличной стрельбе, а пускается наутек от одного вида оружия.

Я бросил взгляд на Элин. Она явно находилась в шоке. Никто не может убить человека, не испытав при этом эмоционального потрясения, особенно впервые, особенно если убийца штатский, и к тому же, женщина. Я преднамеренно грубо сказал:

— Без всяких глупых вопросов делай все, что скажу. Держись за мной и беги, не оглядываясь, так, словно за тобой гонятся черти.

Она подавила в себе рыдания, сделав глубокий вдох, и кивнула головой. Я выскочил через дверь и открыл огонь. В то самое мгновение кто-то выстрелил в нас из глубины дома, и пуля расщепила дверной косяк рядом с моим ухом. Однако у меня не оставалось времени на ответ, потому что в мою сторону направлялись два человека Кенникена, высланные им на осмотр шевроле.

Я выстрелил в них и не переставал нажимать на спуск, пока они не исчезли из поля зрения, нырнув один вправо, другой влево, а мы тем временем промчались между ними. Раздался звон разбитого стекла, один из них, видимо, решил, что открывать окно слишком долго, и в тот самый момент мы оказались под градом пуль. Я выбросил пистолет Слэйда и снова схватил Элин за запястье, вынуждая ее бежать зигзагами. За спиной раздавался тяжелый топот, кто-то пустился за нами в погоню.

И тогда они ранили Элин. От удара она, спотыкаясь, полетела вперед, колени под ней подогнулись, и я едва успел обхватить ее за плечи и поддержать. В этот момент до места, где был укрыт карабин, оставалось метров десять, и до сих пор я не знаю, как нам удалось преодолеть такое короткое расстояние. К счастью, Элин могла держаться на ногах. Мы вскарабкались на хребет лавы, и я, наконец, смог ухватить за приклад карабин Флита. Доставая его из-подо мха, я одновременно дослал в ствол первый патрон.

Элин припала к земле, а я резко повернулся, держа карабин в левой руке. Даже с простреленной ладонью мог нажимать на спусковой крючок, что тотчас и сделал со зримым результатом.

В обойме находились смешанные патроны, которые я сам в свое время старательно уложил: пули в стальной оболочке и мягкие. Первой из дула ушла стальная пуля, угодив в грудь бегущему во главе погони и пройдя сквозь него, будто он там и не бежал. Тот проделал еще четыре шага, прежде чем пробитое пулей сердце остановилось. Рухнул почти у моих ног с удивленным выражением лица.

Тут же вторая пуля остановила мужчину, бежавшего следом за первым. Вид оказался необычный, человек, в которого с расстояния двадцати метров попадает мягкая пуля, не только погибает, а просто распадается на кусочки, а этот парень прямо-таки лопнул по швам. Пуля угодила ему в середину груди, после чего, углубляясь, подбросила вверх и на добрый метр назад, а затем разорвала ему позвоночник.

Внезапно все стихло. Гулкий рык карабина Флита сообщил заинтересованным лицам, что же происходит. И тогда я увидел Слэйда: он стоял у входной двери, прижимая руку к животу. Я поднял карабин и выстрелил. Промахнулся, потому что тряслись руки и я слишком спешил, однако его напугал, он моментально юркнул в дом. Сейчас уже никого не было видно.

Внезапно пуля пролетела настолько близко от моей головы, что едва не сделала пробор в волосах. Эхо выстрела выяснило, что кто-то из пребывающих в доме тоже имеет карабин. Я припал к земле, сливаясь с линией горизонта, и подполз к Элин. Она лежала на подушке изо мха с лицом, искаженным болью, с трудом пытаясь регулировать дыхание. Когда она отняла руку от бока, то я увидел, что она красная от крови.

— Очень болит?

— Только при вдохе, — ответила Элин, тяжело дыша, — только тогда.

Это был плохой признак, но расположение раны указывало, что легкое не задето. Я ничем не мог сейчас ей помочь. Чтобы гарантировать нам жизнь хотя бы в течение нескольких минут, мне и так пришлось изрядно поработать. Нет смысла тревожиться от перспективы смерти на будущей неделе, если нет уверенности, что нам удастся пережить ближайшие тридцать секунд.

Я нащупал коробку с патронами, достал обойму и наполнил ее. Онемение в правой руке прошло, и только сейчас почувствовал настоящую боль. Даже простая попытка согнуть палец действовала так, словно я схватился за голый провод под напряжением. Вообще не был уверен, смогу ли в таком состоянии стрелять. Однако поразительно, что может сделать человек перед лицом грозящей ему опасности.

Я осторожно высунул голову из-за груды лавы и посмотрел в сторону дома. Не увидел никакого движения. Тут же передо мной лежали тела застреленных мужчин; один из них, казалось, глубоко спал, второй, с разорванным телом, представлял страшное зрелище. Перед домом стояли два автомобиля: машина Кенникена выглядела вполне нормально, а вот шевроле Нордлингера напоминал скорее скелет автомобиля. В поисках посылки они выбросили из него сиденья, а дыры в дверях зияли пустотой. Меня ждал приличный счет за несколько уничтоженных автомашин.

От машин нас отделяло метров сто, и хоть я не мечтал ни о чем другом, как добраться до них, понимал, что любая попытка закончится фиаско. Отпадал также побег пешком, кроме того, что прогулка по застывшей лаве — это спорт, который не обожают даже исландцы, у меня была еще Элин. Не мог ее оставить, а если бы попытались бежать, они схватили бы нас в течение пятнадцати минут.

Непохоже, чтобы по священной традиции в нужный момент появилась на горизонте королевская конная полиция или отделение кавалерии, поэтому мне оставалось только одно: начать решающую битву с неизвестным числом неприятеля, укрытого в доме, и разумеется, выйти в ней победителем.

Я сконцентрировал внимание на доме. Сам Кенникен очень низко оценивал его, сравнивая крепость конструкции с яичной скорлупой. Действительно, стены дома представляли два слоя досок с теплоизоляцией между ними, покрытых изнутри толстым слоем штукатурки. Большинство людей смотрит на такой дом, как на пуленепробиваемую крепость, а меня смех берет, когда вижу, как герой вестерна ищет спасения внутри такого дома из досок, а охотящиеся за ним темные типы стараются его подстрелить, целясь только в окна.

Даже девятимиллиметровая пуля из револьвера пробьет при выстреле с близкого расстояния двадцатидвухмиллиметровую доску, а такая пулька — это мелочь по сравнению с сорокачетверкой, вылетающей из ствола кольта. Несколько хорошо рассчитанных выстрелов разнесли бы в щепки халупу, укрывающую нашего героя вестерна.

Глядя на дом Кенникена, я размышлял, какое сопротивление могут оказать тонкие стены страшной силе, заключенной в карабине Флита. Мягкие пули здесь не годились, они бы расплющивались в момент удара, а вот пули в стальных оболочках должны пробивать их насквозь. Пора было в этом убедиться, но сначала нужно было установить место стрелка.

Я повернулся и посмотрел на Элин. Сейчас, когда она контролировала дыхание, выглядела вроде лучше.

— Как ты себя чувствуешь?

— Боже! А как ты думаешь?

Я облегченно улыбнулся. Вспышка гнева — это признак выздоровления.

— Сейчас будет уже лучше, — пообещал.

— Хуже быть не может.

— Спасибо за то, что ты там сделала и вела себя очень мужественно.

Учитывая ее отношение к убийству, было это что-то большее, чем отвага.

Она задрожала.

— Было ужасно, — тихо прошептала, — не забуду этого до конца жизни.

— Забудешь, — уверенно успокоил я. — Наше сознание обладает даром забывания таких вещей. Именно поэтому войны тянутся так долго и вспыхивают так часто. Но ты не должна повторять это еще раз, однако можешь сделать кое-что для меня.

— Если смогу.

Я указал на груду лавы над ее головой.

— Сможешь толкнуть ее вниз, когда скажу? Только не высовывайся, они могут подстрелить тебя.

Она посмотрела вверх.

— Попробую.

— Подожди, пока не скажу.

Я положил перед собой карабин и посмотрел в сторону дома. Там попрежнему ничего не происходило, и мне было интересно, что замышляет Слэйд.

— Хорошо, — подготовил я ее. — Толкай!

Камень с шумом покатился по застывшей лаве. Сразу же ответил карабин, но пуля ушла вверх, следующий выстрел оказался точнее и попал в гребень, высекая скальные осколки.

Тот, кто стрелял, знал свое дело, тем не менее, мне удалось его заметить. Он стрелял из комнаты на первом этаже, и судя по смазанной тени движения, которое я зафиксировал, присел у окна, едва высовывая макушку.

Я приготовился к выстрелу, целясь, однако, не в окно, а в стену несколько левее и ниже. Потянул за спусковой крючок и, глядя через телескопический прицел, увидел, как от деревянной стены полетели щепки. Ответом на выстрел прозвучал слабый крик, и в окне появилась фигура мужчины. Он прижимал обе руки к груди и через минуту зашатался и рухнул назад.

Я оказался прав: карабин Флита в состоянии простреливать стены.

Поставил прицел на нижний этаж и принялся систематически посылать пулю за пулей вдоль каждого из окон, выбирая места, которые казались мне естественным укрытием для притаившегося человека. При каждом нажатии спуска разорванные мышцы руки выли в знак протеста, а я, давая волю своему самочувствию, рычал изо всех сил.

Почувствовал, как Элин дергает меня за брюки.

— Что случилось? — с беспокойством спросила она.

— Не мешай работать человеку! — крикнул и сполз вниз.

Достал пустую обойму.

— Наполни, — попросил. — Сейчас мне все труднее это делать.

Я нервничал, если оружие не было заряжено, и пожалел, что у Флита не оказалось запасной обоймы. Если бы кто-нибудь нас в эти минуты атаковал, то нам пришлось бы худо.

Я убедился, что Элин умело наполняет обойму нужными патронами, и снова взглянул на дом. Оттуда доносились чьи-то стоны и слабые крики. Несомненно, внутри дома царило замешательство: осознание факта, что пуля может пробить стену, попадая в укрывшегося за ней человека, очень сильно тревожит того, кто именно там ищет укрытия.

— Пожалуйста, — сказала она, подавая обойму, наполненную пятью патронами с пулями в стальной оболочке.

Я вставил обойму и в самую пору высунул карабин, заметив, что из двери выскочил мужчина и спрятался за шевроле. В объективе прицела я отчетливо видел его стопу. Дверцы автомобиля с моей стороны были широко распахнуты: попросив в душе прощения у Ли Нордлингера, я послал пулю через середину машины, пробив дверцу с противоположной стороны. Стопа задвигалась, и вскоре я увидел ее владельца: это был Ильич. Он держался рукой за шею, откуда между пальцами струилась кровь. Неуверенно сделал несколько шагов, покатился по земле и замер.

Мне все с большим трудом давалось перемещение затвора больной рукой. Я обратился за помощью к Элин.

— Ты можешь сюда ко мне подползти?

Когда она оказалась справа от меня, начал ее учить.

— Подними этот рычажок, оттяни и толкни снова вперед. Только наклони голову.

Я крепко держал карабин левой рукой, а Элин досылала патрон в ствол. Вначале она вскрикнула от испуга, когда медная гильза неожиданно выскочила ей прямо в лицо. Таким вот способом мне удалось послать три пули в намеченные места, где, как я считал, они могли нанести наибольший вред. Когда Элин дослала в ствол последний патрон, я выкинул обойму и дал заполнить ее.

Чувствовал себя спокойней с патроном в стволе, как страховка на случай крайней необходимости. Снова принялся осматривать дом и мысленно подводить итоги. Наверняка я убил трех, ранил стрелка на первом этаже, а судя по стонам внутри дома, подстрелил еще одного. Это уже пятеро, а

вместе с Кенникеном — шестеро. Я не считал, что их осталось много, но нельзя исключить, что кто-то уже обратился по телефону за подмогой.

Задумался, может, стоны внутри дома издает Слэйд. Я хорошо знал его голос, но нечленораздельные, беспорядочные звуки было невозможно различить. Посмотрел на Элин, занятую заполнением обоймы.

Она отчаянно дергала обойму.

— Заклинило!

— Попробуй еще раз.

Я продолжал осмотр, прячась за гребнем, и неожиданно увидел какое-то движение позади дома. Кому-то из них пришла в голову мысль, которая должна была появиться раньше, а именно, выбираться тыльной стороной дома. Единственно полной неожиданностью силы поражения моего карабина можно объяснить их медлительность. Этот маневр меня серьезно обеспокоил, так как создавал опасность охвата меня со всех сторон.

Я посмотрел через стекло прицела и, добавив увеличение, присмотрелся к удаляющейся фигурке: это был Слэйд. Кроме забинтованной руки, ничто не указывало на какие-либо другие повреждения. Он бежал как сумасшедший, прыгая с кочки на кочку, полы пиджака развевались, а руки он разбрасывал в стороны, стараясь удержать равновесие. Используя дальномер, вмонтированный в систему прицела, я определил, что нас разделяет почти триста метров, и дистанция увеличивается с каждой секундой.

Я глубоко вздохнул, а затем медленно выпустил воздух, стараясь максимально успокоиться, и только сейчас тщательно прицелился. Чувствовал сильную боль, и возникли трудности с удержанием прицела. Трижды я уже почти нажимал на спуск, и каждый раз убирал палец, так как убегающая фигурка исчезала из прыгающего прицела.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, я получил от отца в подарок карабин. Он поступил мудро, выбирая однозарядную двадцатидвушку. Когда мальчишка, охотясь на кроликов и зайцев, прекрасно знает, что располагает лишь одним выстрелом, а от этого первого, и вместе с тем последнего, все зависит, такая ситуация — лучший способ совершенствования стрелкового мастерства. Я знал, что могу выстрелить только раз, и чувствовал себя снова, как в старые добрые времена; только на этот раз я охотился не на кролика, а скорее на тигра.

С огромным трудом я пытался сконцентрировать внимание, чувствуя головокружение, а вскоре перед глазами возникло какое-то серое пятно. Я заморгал, пятно расплылось, и фигура Слэйда появилась неестественно отчетливо в объективе телескопического прицела. Сейчас он удалялся по диагонали, я повел прицел, и он оказался в самом центре прицеливания. Кровь застучала у меня в висках, и я снова почувствовал головокружение.

Палец с усилием нажал на спуск до конца, приклад карабина подбросил мое плечо, и возмездие Слэйду понеслось в его сторону, рассекая воздух со скоростью свыше трех тысяч километров в час. Фигура вдали дернулась, словно марионетка, которой внезапно перерезали нитки, рухнула на землю и выпала из поля зрения.

Я перевернулся на спину, гул в ушах становился все более докучливым. Головокружение усилилось, серые пятна перед глазами превратились в черные. Я еще увидел красный диск солнца, пробивающийся через темноту, и потерял сознание. Последнее, что помню, голос Элин, выкрикивающей мое имя.

— Целью операции было введение противника в заблуждение, — объяснил Тэггарт.

Я лежал на больничной койке в Кеблавике. У двери стоял охранник, не столько затем, чтобы держать меня под стражей, а скорее защитить от любопытных. Я оказался потенциальным casus belli (повод к войне), и сейчас прилагали массу усилий, чтобы ситуация из потенциальной не превратилась в реальную. Все заинтересованные стороны хотели бы замять дело, и если правительство Исландии было в курсе, то нужно признать, делало все, чтобы этого не показывать.

Кроме Тэггарта в комнате находилось еще одно лицо. Американец, которого мне представили как Артура Риана. Я сразу узнал его. Последний раз он показался в прицеле карабина Флита: стоял рядом с вертолетом на плоскогорье.

Они уже вторично нанесли мне визит. В первый раз я почувствовал сильную сонливость после большой дозы обезболивающего и говорил не по делу, но все же смог задать два конкретных вопроса:

— Что с Элин?

— С ней все в порядке, — утешил меня Тэггарт. — Правду говоря, она выглядит лучше, чем ты.

Он сообщил, что Элин оказалась задета рикошетом, поэтому сила удара была значительно ослаблена. Пуля вошла в тело и засела между ребрами.

— Короче, она здорова, — безмятежно закончил он.

Я с антипатией посмотрел на него, но сил у меня накопилось еще маловато, чтобы вступать в дискуссию. Я лишь спросил:

— А как я сюда попал?

Тэггарт глянул на Риана, а тот достал из кармана трубку, неуверенно посмотрел на нее и положил назад. Затем не спеша заговорил:

— У вас прекрасная девушка, мистер Стюарт.

— Что случилось?

— Когда вы потеряли сознание, она не очень хорошо знала, что делать. Немного подумала, потом зарядила карабин и еще больше продырявила ту халупу.

В этот момент я подумал об ее отношении к убийству.

— Попала в кого-нибудь? — спросил.

— Не думаю, — ответил Риан. — Видимо, вы успели выполнить всю работу. Она использовала все патроны, а затем подождала, что же произойдет. Но ничего не происходило, поэтому она поднялась и вошла в дом. Считаю, что это был акт необыкновенной отваги, мистер Стюарт.

Я придерживался того же мнения.

Риан продолжал:

— Она нашла телефон, позвонила на нашу базу в Кеблавике и связалась с одним из наших офицеров, Ли Нордлингером. Она оказалась очень настойчивой, и ей действительно удалось победить Нордлингера. Он еще больше занервничал, когда телефон внезапно замолчал. — Он поморщился. — Ничего удивительного, что она потеряла сознание. С пятью трупами и двумя тяжелоранеными дом напоминал бойню.

— Трое раненых, — поправил Тэггарт. — Позже мы нашли еще и Слэйда.

Вскоре они ушли: я был не в состоянии вести беседу дальше. Вернулись через сутки. На этот раз Тэггарт начал говорить об операции, но я грубо прервал его:

— Когда я увижусь с Элин?

— Сегодня после обеда, — ответил он. — С ней все в порядке, правда.

Я холодно посмотрел на него.

— Будет лучше, если так и есть на самом деле.

Он озабоченно закашлялся.

— Тебе не интересно, что за всем скрывалось?

— Интересно, — с горечью ответил я. — Разумеется, хотел бы знать, почему Контора не щадила усилий, чтобы я расстался с жизнью, — посмотрел на Риана. — Старались до такой степени, что даже наладили сотрудничество с ЦРУ.

— Как я уже сказал, целью операции было введение противника в заблуждение, а весь этот салат приготовили несколько американских ученых, — он озабоченно потер подбородок.

— Ты когда-нибудь решал кроссворды в «Таймсе»?

— Бога ради! — воскликнул я. — Нет, никогда.

Тэггарт усмехнулся.

— Допустим, что какой-то гениальный маньяк проводит восемь часов за составлением кроссворда. Далее отдает его в набор для публикации в газете. Для этого в короткий отрезок времени требуется труд большой группы людей. Пусть в сумме это займет, скажем, сорок восемь часов или целую рабочую неделю одного человека.

— Ну, и что с того?

— А сейчас подумаем об адресах этой операции. Допустим, что десять тысяч читателей «Таймса» напрягают серое вещество своего мозга, чтобы решить эту заразу, и у каждого оно забирает один час. В сумме это дает десять тысяч часов, или пять лет, считая восьмичасовой рабочий день. Ты уже догадываешься, в чем дело? Благодаря работе в течение одной недели удалось занять абсолютно непродуктивным трудом умственный потенциал на уровне, отвечающем пяти годам работы.

Он посмотрел на Риана.

— Думаю, дальше тему можешь продолжать и ты.

Риан отозвался ровным спокойным голосом:

— В физике зафиксирована масса открытий, которые не имеют никакого практического применения, и даже в будущем трудно себе это вообразить. Одним из примеров является бестолковая замазка. Вы видели когда-нибудь что-либо подобное?

— Я слышал о ней, — ответил я, задумываясь, к чему он ведет. — Но никогда не видел.

— Удивительное вещество, — продолжал он. — Его можно моделировать, как замазку, но если предоставить самой себе, она начинает растекаться, как вода, а если ударить по ней молотком, разлетается на кусочки, будто стекло. Казалось бы, субстанция с такими качествами найдет себе применение, но до сего времени никому не пришла в голову даже одна идея ее использования.

— Кажется, ее используют для наполнения мячей для игры в гольф, — вмешался Тэггарт.

— Вот, вот, настоящий перелом в технике, — с иронией заметил Риан. — Много подобных достижений и в электронике, особенно в лабораториях, работающих на оборону, и поэтому не известных широкой публике.

Он беспокойно заерзал в кресле.

— Я могу закурить?

— Пожалуйста.

С выражением благодарности на лице он достал трубку и принялся набивать ее табаком.

— Один ученый по фамилии Дэвис выдвинул гениальную идею. Он не относится к выдающимся деятелям науки, уж наверняка не шагает в первых рядах, но идея оказалась великолепной, даже если и задумывалась как шутка. Так вот, он решил, что, используя многие из таинственных, но

ни к чему не пригодных научных открытий, можно было бы укомплектовать электронный набор, над которым ломали бы себе голову самые светлые умы. И действительно, он создал такой комплект, над которым шесть недель работали пять лучших научных сотрудников, прежде чем открыли, что их выставили на посмешище.

Я начинал понимать.

— Операция по введению противника в заблуждение.

Риан согласно кивнул.

— Среди той пятерки находился некто Атолл. Он увидел возможность реализации этого проекта и написал письмо одному лицу, а от него письмо попало к нам. Одна из фраз этого письма оказалась довольно существенной; доктор Атолл отмечал, что прибор представляет овеществленный афоризм: «Один глупец может задать вопрос, на который даже сто мудрецов не найдут ответа». Оригинальный комплект Дэвиса очень простой, но нам удалось довести его до относительно сложного, что, к тому же, не имело никакой возможности применения где-либо.

Я вспомнил, как Ли Нордлингер ломал себе голову, и улыбнулся.

— Чего ты смеешься? — спросил Тэггарт.

— Ничего серьезного. Слушаю дальше.

— Ведь ты понимаешь саму суть? — спросил Тэггарт. — Ситуация, аналогичная кроссворду из «Таймс». Конструкция комплекта не потребовала слишком большого интеллектуального потенциала: над ней работали трое ученых в течение года. Однако если бы нам удалось подсунуть ее русским, она связала бы на длительное время ведущих ученых страны. А весь юмор заключался в том, что задание с самого начала являлось неразрешимым.

— Возникла, однако, проблема, — продолжил Риан, — каким образом подбросить ее русским. Мы начали с того, что передали им секретную информацию через сеть тщательно контролируемых источников. Мы пустили утку, что американские ученые изобрели новый тип радара с потрясающими возможностями. Он обладал способностью фиксировать объекты, летящие за линией горизонта, давать на экране полную картинку, а не зеленое пятнышко, не реагировать на помехи с земли и обнаруживать низколетящие цели. Нет в мире такой страны, которая бы для обладания чем-то подобным не продала бы в публичный дом дочь премьер-министра. И русские начали на это клевать.

Он показал рукой в окно.

— Вы видите там странную антенну? Именно это и есть тот изумительный радар. Существует мнение, что здесь, в Кеблавике, мы проводили его испытания. А чтобы все выглядело правдиво, наши истребители летают над волнами в течение шести недель в радиусе восьмисот километров. И тут мы вводим в операцию вас, англичан.

Тэггарт принял эстафету.

— А мы продали русским очередную сказочку: наши американские друзья держат радар только для себя, чем рассердили нас настолько, что мы попробовали без разрешения присмотреться к нему сами. И поэтому послали одного из наших агентов выкрасть очень важную деталь радара.

Он показал на меня.

— Разумеется, этим агентом был ты.

Я сглотнул слюну.

— Следовательно, я должен был позволить, чтобы приспособление попало в руки русских!

— Конечно же, — вежливо согласился Тэггарт. — Тебя специально выбрали для этого задания. Слэйд утверждал, а я с ним согласился, что ты

уже не так хорош, как когда-то, тем не менее, обладаешь одним важным достоинством — среди русских о тебе совершенно противоположное мнение. Все уже было готово самым тщательным образом, но тогда ты смешал все карты — и нам, и русским, и американцам. В действительности ты оказался на несколько голов выше, чем кто-либо мог предположить.

Я почувствовал поднимающуюся во мне волну гнева и бросил ему прямо в лицо:

— Вы паршивый, аморальный сукин сын! Почему мне ничего не сказали? Это избавило бы нас от массы неприятностей.

Он отрицательно покачал головой.

— Все должно было выглядеть естественно.

— Побойся Бога! — ужаснулся я. — Вы попросту подставили меня, как Бакаев подставил в Швеции Кенникена.

Я сделал над собой усилие и усмехнулся:

— Дело, видимо, изрядно запуталось, когда выяснилось, что Слэйд — русский шпион.

Тэггарт бросил искоса взгляд на Риана, вызывая впечатление озабоченности.

— Наши американские друзья несколько щепетильны в этом вопросе. Именно из-за этого операция провалилась. — Он вздохнул и продолжал с сожалением: — Вся проблема кроется в природе контрразведки. Если ни один шпион не попадает в наши руки, все прекрасно и все прелестно, но когда, в соответствии с нашим предназначением, мы ловим агента какой-нибудь иностранной разведки, сразу до самого неба поднимается страшный шум, словно это не результат хорошей работы.

— У меня сейчас слезы брызнут, — прервал я его. — Это не ты поймал Слэйда.

Он быстро сменил тему.

— Ну, а Слэйд стал во главе всей операции.

— Да, — отозвался Риан, — причем по обе стороны. Какой прекрасный расклад! Он наверняка был убежден, что в такой ситуации не может проиграть. — Наклонился ко мне. — Когда русские узнали о нашей операции, то решили, что никто не может помешать им перехватить посылку и тем самым перехитрить нас, делая вид, что они клюнули на приманку. Такое двойное затемнение.

Я с отвращением посмотрел на Тэггарта.

— Ну и подонок же ты! Ведь знал, что Кенникен не остановится ни перед чем, чтобы убить меня.

— Вовсе нет! — с жаром запротестовал он. — Я не знал о Кенникене. Думаю, что Бакаев пришел к выводу об ошибочности содержания столь способного агента в резерве и решил реабилитировать Кенникена, посылая его на это задание. Слэйд, тот мог иметь к этому отношение.

— Кенникен готов был сделать все, чтобы меня убить, — мрачно повторил я. — А поскольку меня считали легкой добычей, то ему в команду дали одних непрофессионалов. Он все время жаловался на них. — Я поднял взгляд: — А Джек Кейс?

У Тэггарта даже веко не дрогнуло.

— У него был мой приказ выдать тебя русским. Именно поэтому он не смог помочь тебе в Гейсир. Однако когда он встретился со Слэйдом, проникшись твоими подозрениями, видимо, попытался его прощупать, но Слэйд, этот хитрый лис, быстро разобрался, в чем дело. Это означало конец Кейса. Слэйд сделал все, чтобы избежать провала. И поэтому, в конце концов, ты стал для него важнее, чем та проклятая посылка.

— И с Джеком покончили, — с горечью выдохнул я. — Хороший был парень. А когда ты начал подозревать Слэйда?

— Не сразу, — ответил Тэггарт. — Когда ты мне позвонил, я подумал, что ты свихнулся. Но после командирования Джека в Исландию я полностью потерял контакт со Слэйдом. Он стал просто недосягаем, что противоречило всем инструкциям. Поэтому принялся внимательно изучать его картотеку и нашел информацию, что еще мальчишкой он жил в Финляндии, а его родители погибли во время войны. Тогда вспомнил, что ты говорил о деле Лонсдэйла, и начал задумываться, не использовали ли русские тот же метод и в случае со Слэйдом, — на его лице появилась гримаса. — Но когда нашли тело Кейса, убитого твоим ножом, то я уже не знал, что обо всем этом думать.

Он толкнул локтем Риана.

— Нож!

— Что? Ах, да!

Риан полез в нагрудный карман и достал мой нож.

— Мне удалось вырвать его у полиции. Думаю, вы хотели бы иметь его у себя, — он протянул нож мне. — Это действительно прекрасная вещь. Особенно драгоценный камень в рукояти.

Я взял нож из его руки. Полинезиец сказал бы, что он обладает таинственной силой *мапа.* Мои далекие предки называли его Пьющий Кровь, но для меня это был нож, который когда-то принадлежал моему деду, а еще раньше деду моего деда. Я осторожно положил оружие на столик у кровати и обратился к Риану:

— Ваши люди стреляли в меня. Я могу знать почему?

— Черт побери! Вы вели себя, как сумасшедший, и всей операции угрожал провал. Пролетая вертолетом над той проклятой пустыней, мы увидели вас убегающим от русских и пришли к выводу, что у вас много шансов оторваться от них. Поэтому высадили парня, чтобы он притормозил ваш лендровер. Нужно было следить, чтобы у русских не возникло никаких подозрений. Тогда мы еще не знали, что вся операция провалилась.

И у Тэггарта, и у Риана мораль абсолютно отсутствовала. Впрочем, ничего иного я от них и не ожидал.

— Вам повезло, что еще живы, — сказал я, обращаясь к Риану. — В последний раз вы хорошо смотрелись через прицел карабина Флита.

— Боже! — вздохнул он. — Как хорошо, что я тогда об этом ничего не знал. А поскольку мы заговорили о Флите, то вы приложили ему солидно, но он выкарабкается. — Риан потер нос. — Флит очень привязан к своему карабину и хотел бы получить его обратно.

Я отрицательно покачал головой.

— Пусть и мне что-нибудь обломится. Если Флит мужчина, то может прийти за ним сам.

Риан нахмурился.

— Сомневаюсь, чтобы он так поступил. Вы у всех нас сидите в печенках.

Оставалось еще одно.

— Следовательно, Слэйд жив? — просил я.

— Да, — подтвердил Риан, — пуля прошла через тазобедренный сустав. Если он вообще будет ходить, то не обойдется без стальных штифтов в бедрах.

— Единственная прогулка, на которую Слэйд может рассчитывать в ближайшие сорок лет, будет проходить в тюремном дворе, — заметил Тэггарт. — Он поднялся. — Все, о чем мы здесь говорим, Стюарт, является государственной тайной. Ни одна деталь не должна стать явной. Слэйд уже

в Англии. Мы перевезли его на борту американского самолета. Он предстанет перед судом, как только выйдет из госпиталя, но процесс состоится при закрытых дверях. А ты будешь молчать, как и твоя девушка. И чем быстрее она примет британское подданство, тем больше буду рад. Я хотел бы хоть как-нибудь контролировать ее.

— Боже всемогущий! — устало вздохнул я. — Даже выступая в роли Купидона, ты должен иметь какую-то тайную цель.

Риан присоединился к Тэггарту у двери. Повернулся и сказал:

— Я думаю, мистер Стюарт, что сэр Дэвид очень благодарен вам, гораздо больше, чем можно выразить словами, которых, я вижу, он так и не произнес.

Он искоса глянул на Тэггарта, и я понял, что между ними никогда не было особенной дружбы.

Сам Тэггарт производил впечатление, будто эти слова к нему не относились.

— Ах, да, — бросил он нехотя, — думаю, что-нибудь удастся сделать. Может, какую-нибудь медаль, если ты любишь эти побрякушки.

Я не мог совладать с дрожью в голосе.

— Все, что я желаю, это никогда больше тебя не видеть. Буду молчать так долго, как долго ты будешь держаться от нас подальше, но если ты или твои парни из Конторы приблизитесь ко мне, я начну говорить.

— Никто больше тебя не будет беспокоить, — уверил он меня.

Они вышли из комнаты. Через мгновение голова Тэггарта высунулась из-за двери.

— Я пришлю тебе немного винограда.

С помощью ЦРУ и военно-морского флота Соединенных Штатов я забрал с собой в Шотландию Элин на самолете, организованном Рианом. В Глазго мы вступили в брак по специальному разрешению, подготовленному Тэггартом. Во время церемонии бракосочетания мы оба были еще в бинтах.

Потом я привез Элин в мою долину у подножия гор Сгурр Дирг. Ей понравился местный пейзаж, особенно деревья, так непохожие на своих исландских родственников. Однако о домике у нее сложилось плохое мнение. Он был для нее слишком мал и действовал угнетающе, что меня не удивило: в конце концов, что нравится холостяку, не подобает женатому мужчине.

— Я не жил в большом доме, — защищался, — да и для нас двоих он слишком велик, и кстати, я сдаю его в аренду богатым американцам, которые приезжают поохотиться. Сделаем так: в домике будет жить лесничий, а мы построим себе дом где-нибудь подальше, на берегу реки.

Так мы и сделали.

Карабин Флита по-прежнему у меня. Я держу его не над камином в качестве трофея, а так, как и следует, в оружейном шкафу, рядом с другими рабочими экземплярами. Иногда использую его, когда появляется необходимость проредить оленье стадо, но такое случается нечасто. Он не дает оленю никаких шансов.

Перевод с польского Владимира КУКУНИ.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

Пантеон женских сердец



Дафна дю МОРЬЕ
(13 мая 1907 года — 19 апреля 1989 года)

Писателей должны читать, а не слышать или видеть.
Дафна дю МОРЬЕ

А позвольте поинтересоваться у вас, глубокоуважаемый читатель, любите ли вы Альфреда Хичкока? Да-да, того самого ужасного Хичкока, которого современники по праву окрестили «королем ужасов и отцом современного триллера». То есть я хочу спросить, любите ли вы его так, как люблю его я… Ну, а дальше можно смело цитировать слова неистового Виссариона Белинского. Помните, как блистательно читала героиня Татьяны Дорониной известный всем отрывок из статьи, посвященной театру, в не менее известном кинофильме «Старшая сестра»? Итак, любите ли вы Хичкока *«всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением…»* и так далее по тексту? И если ваш ответ утвердительный, то тогда и имя очередной героини из «Пантеона женских сердец» должно быть хорошо вам знакомо, даже если вы и не читали — пока! — книг этой писательницы.

Ибо Дафна дю Морье — а именно так зовут нашу героиню — не просто сыграла наиважнейшую роль в творческой судьбе Альфреда Хичкока, но и сама во многом обязана своей непреходящей литературной славой именно этому несносному гению с высшей степени несносным характером. Впервые Хичкок обратился к творчеству Дафны дю Морье в 1939 году, сняв фильм «Трактир «Ямайка» по одноименному роману (в некоторых переводах фильм и роман фигурируют под названием «Таверна «Ямайка»). Несмотря на то, что фильм вышел в прокат под рубрикой «приключенческого кино», он в полной мере содержал весь тот набор художественных средств и приемов, которые присущи всем триллерам Хичкока. Гнетущая атмосфера страха, цинизм, ложь, предательство, постоянное предчувствие беды и ожидание неминуемой кровавой развязки, словом, тот самый саспенс, которым проникнуты все без исключения фильмы скандального англичанина. Да и большинство романов дю Морье тоже.

С началом войны Хичкок покидает родину и перебирается в Голливуд. И там в 1940 году снимает свой первый оскароносный фильм, принесший ему не только двух «Оскаров», но и мировую славу, и снова по роману Дафны дю Морье. На сей раз выбор его пал на «Ребекку», — пожалуй, самый известный роман писательницы, который в 2000 году был назван Ассоциацией британских критиков лучшим английским романом XX столетия. Между прочим, этот роман экранизировали целых одиннадцать раз. Так что версия Хичкока с Лоуренсом Оливье в главной роли, хоть и получила статуэтку «Оскара» как лучший фильм года, стала далеко не единственной в обширном списке фильмографии, сделанной по романам Дафны дю Морье. И снова между прочим! Фильм Хичкока категорически не понравился самой писательнице. Впрочем, ей вообще не нравились любые экранизации, в принципе, ибо в своем отношении к творчеству она твердо исповедовала принципы, сформулированные в том афоризме, который вынесен в качестве эпиграфа к нашему разговору. Пожалуй, в чем-то она права: писателя, любого писателя, все же лучше читать, хотя бы для начала. А уже потом смотреть или слушать. И уж ни в коем случае не стоит всецело полагаться на сценаристов и кинорежиссеров, которые в погоне за всякими модными спецэффектами или просто за коммерческим успехом, могут так перекроить оригинал, что порой от него остается лишь одно название. Но это точно не про Хичкока!

Несмотря на некоторые творческие разногласия с писательницей, Хичкок спустя почти четверть века после шумного успеха «Ребекки» снова обращается к произведению дю Морье. Для своей очередной постановки он выбирает сравнительно короткий рассказ под названием «Птицы». Фильм с аналогичным названием выходит в прокат в 1963 году и по праву считается одной из вершин в творчестве прославленного кинорежиссера. Увенчанный множеством международных наград и престижных премий, кинофильм «Птицы» и сегодня смотрится буквально на одном дыхании. Рискну высказать свое субъективное мнение, ибо мне кажется, что Хичкок не просто внес очередную лепту в популяризацию творчества своей соотечественницы. Он в буквальном смысле этого слова обессмертил не очень примечательный, с моей точки зрения, рассказ писательницы, который без этого киношедевра наверняка остался бы в тени и, скорее всего, затерялся бы среди других романов и рассказов Дафны дю Морье, составляющих ее довольно обширное литературное наследие. Словом, англо-американский кинематограф — уже в который раз! — поспособствовал увековечиванию славы англоязычной литературы. Вот бы и отечественным кинематографистам поучиться у наших «западных партнеров», как принято ныне выражаться, и перенять сей, вне всякого сомнения, весьма положительный опыт популяризации хороших писателей и хороших книг. Вместо того чтобы высасывать из пальца довольно средние сценарии, страшно далекие и от жизни, и от искусства. Но это так, к слову! Скорее в назидание тем, кто очень уж любит заниматься самовыражением на экране, забывая о том, что главный ценитель кинематографических экзерсисов — это, как ни верти, а зритель. Ему и решать, хорошее ли получилось кино, в итоге, или так себе, очередная безделушка самовлюбленного гения.

Но вернемся к нашей героине. Итак, Дафна дю Морье родилась 13 мая 1907 года в Лондоне. Двойная неудача, с точки зрения тех, кто верит в приметы. Во-первых, месяц май: всю жизнь маяться, как говорят про таких в народе, а во-вторых, тринадцатое число, тоже издавна отпугивающее слабонервных своей предопределенностью ко всякого рода несчастьям. Но как справедливо заметил один мудрый оптинский старец: «А ты не верь, так и не сбудется!» Судя по всему, именно таким здравым смыслом и руковод-

ствовалась леди Дафна Браунинг (в замужестве) всю свою долгую (81 год) жизнь. И вопреки всем мрачным прогнозам, жизнь ее сложилась вполне удачно, безо всяких видимых потрясений и бед.

Девочка родилась в известной актерской семье: ее родителями были успешные театральные актеры Джеральд дю Морье и Мюриэль Бомонт. Дед Дафны по линии отца был не менее известным писателем и прославленным карикатуристом, сотрудничавшим со всеми ведущими британскими изданиями тех лет. К слову говоря, несколько непривычная английскому уху фамилия дю Морье косвенно указывает на французские корни в родословной семейства. И действительно, в годы террора, развязанного якобинцами вскоре после начала Великой Французской революции, предки английских дю Морье бежали из Франции в Англию, спасая свои жизни и жизни своих детей. Да так и осели на новой родине навсегда.

Между прочим, Альфред Хичкок был хорошо знаком и даже состоял в приятельских отношениях с отцом Дафны, что не помешало ему, в силу собственной зловредности, что ли, довольно издевательски подшутить однажды над Джеральдом дю Морье (впрочем, великий кинорежиссер вообще славился своими каверзными розыгрышами). Так вот, Хичкок пригласил приятеля к себе в гости на маскарад. Хотя всем остальным гостям были разосланы приглашения на официальный ужин. Можно только представить себе, сколько шуток и острот излилось на голову бедняги дю Морье, явившегося на маскарад в костюме турецкого султана и вынужденного весь вечер торчать огородным пугалом среди джентльменов в строгих смокингах и дам в роскошных вечерних туалетах. Как тут не вспомнить забавную сценку из французской кинокомедии «Фантомас против Скотленд-Ярда». Помните, как недотепа инспектор Жюв вместе со своим помощником появляются на балу в высокогорном замке пригласившего их аристократа в национальных шотландских килтах? То-то была умора для всех остальных!

У Джеральда и Мюриэль было три дочери: старшая, Анжела, тоже впоследствии ставшая писательницей, средняя Дафна и младшая Жанна, избравшая себе стезю художника-живописца. Воспитанием и образованием девочек, как и положено в состоятельном респектабельном семействе, занимались гувернантки и приходящие наставники. И последний штрих, придающий особый блеск юной дебютантке в свете и позволяющий ей рассчитывать на приличную партию в обозримом будущем, это, конечно, закрытый пансион во Франции, где молоденьких барышень обучали всякой всячине, которая может понадобиться даме из высшего общества в ее дальнейшей жизни. Это и основы домоводства, и умение одеваться, и правила строжайшего этикета, позволяющие держаться одинаково ровно и с королями, и с простолюдинами, — помните знаменитые строки Киплинга из его стихотворения «Если» на сей счет?

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings — nor lose the common touch…

Что в подстрочном переводе на русский язык звучит так:

«Если ты умеешь разговаривать с толпой, не теряя при этом собственного достоинства, а, общаясь с королями, остаешься самим собой…»

Вот этой сложной науке и учили во Франции. Как правило, руководительницами и владелицами подобных пансионов, обучение в которых не длилось больше года, выступали обедневшие французские аристократки, знавшие толк в хороших манерах, да и не только в них. В конце девятнадцатого — в первой половине двадцатого века французские пансионы

были необыкновенно популярны у англичан и, в еще большей степени, у богатых американских нуворишей, которые выправляли своих юных чад в Европу пачками, и не столько за знаниями, сколько за реальным шансом приобщиться к высшему обществу Старого Света, а если повезет, то и породниться с его представителями из числа титулованной знати.

В начале 1925 года в один из таких закрытых пансионов, расположенный в небольшом городке Компосен, что неподалеку от Парижа, отправляется и юная Дафна дю Морье. Надо сказать, муштровали будущих аристократок по полной, словно новобранцев регулярной армии. Условия проживания драконовские: нет горячей воды, в дортуарах царит зверский холод, ибо все помещения, как правило, не отапливаются. Что и понятно: ведь всем же француженкам с детских лет известно, что холод — это лучший консервант красоты и вечной молодости. В остальном же все как положено: музеи, экскурсии, лекции по этикету, практические занятия с посещением всяких суаре и званых обедов (в пределах разумного, конечно), занятия верховой ездой, уроки танцев, музицирование и прочее.

Но вот вожделенный сертификат о прохождении курса наук в пансионе, этакий своеобразный пропуск в мир леди, получен. *Good-bye,* Франция, прощай! Хотя бы на некоторое время… Впоследствии, ностальгируя о замечательных временах ранней юности, сама Дафна напишет в одном из своих романов так: *«Частичка нашей души, частичка прежней жизни остается там, где мы были и куда уже никогда не вернемся».*

А пока же Дафна возвращается на родину и впервые серьезно и обстоятельно задумывается о собственном будущем. Решение заняться литературным творчеством было продиктовано, не в последнюю очередь, желанием стать независимой во всех отношениях, в том числе и финансово. Как позднее напишет дю Морье в своей «Автобиографии», этот вопрос стал для нее краеугольным. *«Я должна зарабатывать деньги и быть независимой»,* вот лейтмотив всех ее тогдашних размышлений. И тому было множество причин, и явных, и неявных, в том числе и весьма натянутые отношения с родителями, особенно с матерью.

Уже увидел свет первый сборник рассказов восемнадцатилетней писательницы под названием «Жаждущие» (в него включено пятнадцать рассказов). Увы! Столь вожделенной финансовой независимости он не приносит. Значит, надо работать дальше, решает юная упрямица. Работать больше, не щадя себя и не покладая рук. Ведь как справедливо напишет Дафна дю Морье много позже, *«Будущее начинается сегодня. Это дар, который вручают нам каждое утро».*

Между тем в 1926 году в жизни Дафны происходит событие, которое с полным основанием можно назвать судьбоносным. Летом семейство дю Морье в полном составе отбывает на юг Великобритании, в прибрежный городок Фоуи, что в графстве Корнуолл, на летние вакации. И Дафна, которая до этого еще ни разу не бывала в этих местах, с первой же минуты влюбляется в красоты дикой природы Корнуолла. Отныне и навсегда Корнуолл становится непременным фоном и местом описываемых событий во всех ее литературных произведениях, ее отдушиной, ее творческой лабораторией, ее последним пристанищем и местом упокоения, в конце концов. Как она сама написала все в той же «Автобиографии», *«Здесь была та свобода, о которой я мечтала, о которой думала и которой еще не знала… Свобода писать, гулять, лазать по холмам, кататься на лодке, быть одной…»*

Много позже, после смерти мужа, Дафна, уже увенчанная Орденом Британской империи за ее особый вклад в развитие изящной словесности Великобритании, уже произведенная в ранг «дамы — командор» (1969 год), приобретает себе имение в городке Килмарт и перебирается туда на

постоянное место жительства. В этом особняке она встретит свой смертный час, завещав детям развеять прах их матери над горами и долами столь горячо ею любимого Корнуолла. А пока…

В 1931 году в свет выходит новый роман Дафны дю Морье под названием «Дух любви». Именно он принес молодой писательнице то, чего она так жаждала и к чему так стремилась: финансовую независимость. Гонорар оказался столь впечатляющим, что отныне Дафна уже могла самостоятельно распоряжаться собственной жизнью и строить ее так, как ей того хотелось. Однако не только деньгами запомнился этот роман и ей самой, и ее будущим биографам. Так уж случилось, что «Дух любви» в прямом смысле этого слова снизошел и на саму молодую женщину, и не просто снизошел, но и кардинально перекроил всю ее дальнейшую личную жизнь. А случилось все так. Сэр Фредерик Браунинг, на тот момент пребывавший в чине майора гренадерского гвардейского полка королевской армии Его Величества, прочитав роман, настолько впечатлился описанием красочных пейзажей любимого им Корнуолла и пришел в такой восторг от мастерства, с которым неизвестная ему писательница запечатлела все эти красоты на бумаге, что решил лично познакомиться с автором. Знакомство состоялось в том самом курортном городке Фоуи, с которого в свое время начиналось и постижение Корнуолла самой Дафной дю Морье.

А уже спустя год после первой встречи, в июне 1932 года, лорд Браунинг повел Дафну к венцу. Вот такой вот дух любви… Впрочем, не нам судить о том, действительно ли этот брачный союз был продуктом некой страстной и неземной любви. Помнится, в своем самом знаменитом романе «Ребекка» дю Морье обронила: *«Лихорадке первой любви не суждено повториться дважды»*. Пережила ли она сама любовную лихорадку, стоя рядом с тридцатипятилетним майором (муж был на десять лет старше своей жены) у алтаря, сказать трудно. Сама Дафна, как и положено истинной леди, к тому же, получившей рафинированное светское воспитание в закрытом французском пансионе, никогда не распространялась на тему о своих чувствах и прочее. Недаром ей же принадлежит вот такой весьма остроумный афоризм: *«Если бы женщин убивали за их язык, то все мужчины стали бы убийцами»*. То есть держать собственный язык за зубами леди Браунинг умела как никто. Что, кстати, впоследствии создало весьма плодородную почву для всяческих пересудов, кривотолков и сплетен, опровергать которые пришлось уже детям усопших супругов.

Но сплетни сплетнями, а семейная жизнь Браунингов была закрытой темой для широкой публики. Достоверно известно лишь то, что супруги в мире и согласии прожили тридцать три года вплоть до смерти сэра Браунинга, последовавшей в 1965 году, что у них было трое детей (две дочери и сын, пребывающие в полном здравии и поныне), что сэр Браунинг сделал прекрасную военную карьеру, дослужившись до чина генерал-лейтенанта, что долгие годы, он, как истинный роялист и преданный престолу подданный Их Величеств, нес свою службу непосредственно в Букингемском дворце, являясь ревизором и личным казначеем королевской семьи.

Согласитесь, возможность дефилировать вместе с мужем по анфиладам парадных зал королевской резиденции на всевозможных приемах, балах, раутах и просто сугубо семейных праздниках монаршей четы — это ли не вершина светского успеха для бывшей выпускницы французского пансиона, о которой могут мечтать лишь единицы.

Впрочем, зная нелюбовь Дафны дю Морье ко всякого рода публичности, ее категорическое нежелание становиться объектом светских хроник и фигурой, интересующей всяких папарацци (видно, сказалось то обстоятельство, что, родившись в семье актеров, будущая леди Браунинг с лихвой

нахлебалась этого гламура еще в родительском доме), зная ее тягу к уединенной жизни в любимом ею Корнуолле, так вот, зная все это, понимаешь, что светские обязанности скорее тяготили писательницу, чем доставляли ей удовольствие или тешили ее самолюбие.

«Люблю тишину после ухода гостей. Стулья сдвинуты, подушки разбросаны, — все говорит о том, что люди хорошо провели время. Но возвращаешься в опустевшую комнату, и всегда приятно, что все кончилось, что можно расслабиться и сказать: вот мы и снова одни».

Что ж, самое время поговорить о «Ребекке», в том числе и под углом зрения супружеских отношений в семействе Браунингов, причем опираясь не на всякого рода домыслы и слухи, а исключительно на творчество самой писательницы, в том числе и на этот самый знаменитый роман в ее литературном наследии. В котором она, на мой взгляд, очень талантливо препарировала многие факты из собственной биографии. Недаром же писала: *«Чтобы что-то тебя затронуло по-настоящему, нужно самому это пережить»*. Итак, пережила, а потом описала, обойдясь при этом и без «пошлых истин», и без «возвышающего обмана», если вспомнить к месту классика. Наверное, именно так и появляются на свет шедевры…

Но начну я свой разговор о «Ребекке» несколько издалека. Если вы, глубокоуважаемый читатель, думаете, что самая знаменитая литературная фраза на английском языке, которую у нас знают даже те, кто вовсе не знаком с английским языком, так вот, если вы полагаете, что это — пресловутое шекспировское «To be or not to be?», то вы очень даже сильно заблуждаетесь. Ибо любой англоговорящий немедленно скажет вам, что не менее (а быть может, даже и более!) популярна на Туманном Альбионе еще одна литературная фраза. Пожалуй, по степени своей известности она вполне может соперничать со знаменитым началом «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга…» И вот она, эта фраза, на языке оригинала.

«Last night I dreamt I went to Manderley again».

И перевод:

«Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мэндерли».

Именно так начинается роман «Ребекка», увидевший свет в далеком 1938 году. Поначалу ничто не предвещало появление шедевра. Никто и подумать не мог, что спустя каких-то полвека с небольшим этот роман удостоят престижной премии Энтони (2000 год) и признают — повторюсь еще раз! — лучшим английским романом XX столетия. Напротив! Критика встретила новое творение Дафны дю Морье более чем прохладно. Один из литературных обозревателей того времени так и написал на страницах «Таймс»: *«…Would be here today, gone tomorrow»*. Что в переводе на русский язык звучит так: «Однодневка, про которую завтра никто не вспомнит». Но неделя сменялась очередной неделей, на смену осени приходила зима, потом весна и снова лето, а тиражи романа лишь росли, и издатели все никак не могли насытить рынок и удовлетворить читательский спрос.

Подсчитано, что с 1938-го по 1965 год только на английском языке роман «Ребекка» был издан общим тиражом 2 829 313 экземпляров. И это не считая переводов на другие языки, которые создали Дафне дю Морье буквально мировую славу. Чему, конечно, в немалой степени поспособствовал и одноименный фильм Хичкока, вышедший на экраны двумя годами позже. Правды ради стоит все же сказать, что Хичкок существенно изменил некоторые сюжетные линии романа, и не столько в силу собственных прихотей, сколько подчиняясь негласным, но очень жестким требованиям Голливуда. Согласно одному из них, на экране нельзя было показывать героя,

совершившего преступление и избегнувшего наказания, то есть правосудие обязано было свершиться в любой форме, но обязательно на экране. Чтобы как-то разрулить ситуацию и при этом сохранить ореол романтичности вокруг главного героя, Хичкок в своей ленте делает Ребекку жертвой простого несчастного случая, то есть Максимилан де Винтер оказывается непричастным к гибели своей жены.

Однако все эти мелкие подробности действительно очень мелки в сопоставлении с поистине триумфальным шествием нового романа Дафны дю Морье по всем странам и континентам. И это вопреки — повторюсь! — более чем прохладному отношению и к роману, и к самой писательнице со стороны критики. Впрочем, если честно, то критика вообще никогда не жаловала писательницу, и она редко удостаивалась похвал при жизни. Поначалу, то есть на начальном этапе ее творчества, Дафну дю Морье вообще никак не выделяли из огромной массы женщин-писательниц, строчащих свои опусы для еще более огромной массы женщин-читательниц. А таких писательниц в Англии, как в том еврейском анекдоте, «у меня их было», что говорится, пруд пруди. Но разве могут все эти литературные поденщицы, в поте лица своего зарабатывающие гонорары и ублажающие своими банальными любовными историями всяких там продавщиц, медсестер, стенографисток, секретарш и прочее, сравниться, скажем, с Гертрудой Стайн или с рафинированной Вирджинией Вулф? Нет, конечно! Куда им, бедолагам! А посему и отношение к подобной пишущей публике было соответствующим: высокомерное, надменно-ироничное и даже откровенно насмешливое.

Однако со временем, когда стало понятно, что Дафна дю Морье выделяется и сама по себе, без всякой там посторонней помощи, критики принялись судить и рядить, как именно квалифицировать опусы успешной авторессы. Что это? Детективные романы? Вроде нет, если рассматривать их как детективы в чистом виде. Что впоследствии, однако, не помешало включить ту же «Ребекку» в «100 самых лучших детективных романов XX столетия», по версии Независимой британской ассоциации торговцев детективной литературы. Но продолжим наши гадания.

Любовные романы? Тоже не совсем то, хотя любви в произведениях дю Морье предостаточно. Психологические триллеры? Немного не дотягивают до «ужастиков» Хичкока, хотя пресловутого саспенса в них с лихвой. Издатели тоже терялись в догадках, что и как писать в синопсисах и на обложках издаваемых книг в качестве своеобразной рекламы очередного творения писательницы. Одно дело — нарисовать на обложке алое сердечко, а внутри сделать какую-нибудь кокетливую надпись типа: «Литература для милых дам» или «Стрела Купидона». Или что-нибудь еще в этом же роде…

И уже совсем другое — поместить в синопсисе заумную фразу о том, что истинным намерением писательницы стало *«...the exploration of the relationship between a man who is powerful and a woman who is not».* Эту витиеватую фразу я выудила из одной современной английской монографии, посвященной творчеству Дафны дю Морье. И вот вам перевод ее на русский язык, мой собственный, разумеется. «…Исследование взаимоотношений мужчины, наделенного властью, и женщины, у которой такой власти нет». Вот и попробуй разберись рядовому читателю (или читательнице) во всех этих высоколобых исследованиях! Кстати, именно неточная классификация (ну, или если хотите, интерпретация) произведений дю Морье стали причиной довольно умеренного читательского энтузиазма и со стороны уже русскоязычного потребителя литературы (первые переводы на русский язык произведений Дафны дю Морье появились в 1989 году).

Сама, своими глазами, видела, как в девяностые годы на прилавках книжных лотков валялись многократно уцененные русскоязычные версии романов «Ребекка» и «Моя кузина Рейчел».

Итак, с одной стороны, полное непонимание критикой истинных замыслов писательницы (в данном случае я имею в виду «Ребекку»), а с другой стороны, случились в ее творческой судьбе и более неприятные вещи, чем отсутствие симпатий со стороны критиков и литературных обозревателей. Так, вскоре после публикации романа на голову Дафны дю Морье посыпались прямые обвинения в плагиате со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Конечно, сюжет романа «Ребекка» не блещет новизной. История молоденькой девушки, выходящей замуж по большой любви за человека много старше ее, за мужчину, уже умудренного опытом, а главное — за мужчину с богатым личным прошлым, в котором наверняка присутствовали и другие женщины (много женщин!), так вот, сама эта история стара как мир. Впрочем, как стары и затасканы все литературные сюжеты на свете. Их-то и существует не более десятка (имея в виду оригинальные), а во всем же остальном… Надо отдать должное изобретательности тех, кто занят литературным творчеством. Ведь уже на протяжении более двух с половиной тысяч лет авторы умудряются расцвечивать банальные ходы и повороты «сюжетной десятки» собственными красками и фантазиями, каждый — в меру своего таланта и вдохновения.

Вот и тема коллизии героини с прошлым мужа, а порой и с призраком другой женщины в этой прошлой жизни… писана-переписана она сотни раз. Достаточно вспомнить знаменитый роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Попутно отмечу, что все три сестры Бронте числились в списке любимых авторов и учителей Дафны дю Морье наряду с Вальтером Скоттом, Теккереем и Оскаром Уайльдом. Однако писательнице был предъявлен счет отнюдь не за перелицовку старых классических романов. Ее обвинили в том, что она украла сюжет романа у своей современницы. Речь идет о романе «Наследница» бразильской писательницы Каролины Набуко, который незадолго до выхода в свет «Ребекки» был переведен на английский язык и издан в Англии.

Надо отдать должное издателям Дафны дю Морье. Они сражались как львы, защищая честь и достоинство автора, а заодно и свои немалые прибыли. Сражались и доказали! Да, говорили они, некоторое сходство сюжетных линий просматривается. Ну так и что? Зато интерпретация событий совершенно разная! И изюминка своя есть… Ведь за весь роман имя главной героини так и не произносится, оно остается неизвестным. Да и другие находки имеются в арсенале средств и приемов в сопоставлении с этой самой Набуко. Так ли это, не нам судить. Вряд ли роман «Наследница» переведут когда-нибудь на русский язык. Ведь скандал давно отшумел, и судебные страсти улеглись. А поскольку читатель (то есть все мы с вами) в своем подавляющем большинстве не владеет португальским языком, то и читать бразильский роман на языке оригинала нам тоже вряд ли суждено. Вот и приходится верить на слово тем, кто сумел доказать непричастность Дафны дю Морье к плагиату, вольному или невольному.

Лично я верю! Верю и все тут! Как в той песне, верила, верила, верила я… А если серьезно, то крохи кое-какой информации, проливающей свет на истинное происхождение замысла романа «Ребекка», я почерпнула в свое время из чтения «Автобиографии» писательницы. Именно из нее я узнала, что Томми (так звала своего мужа Дафна дю Морье в кругу семьи) был до женитьбы на Дафне помолвлен с другой женщиной — темноволосой светской красавицей Джейн Риккардо. По каким причинам помолвка

была расторгнута, а свадьба не состоялась, нигде не упоминается напрямую. Но ясно одно: незримое присутствие той второй, несостоявшейся жены своего мужа изрядно отравляло семейную жизнь самой писательнице. Не перечувствовала бы на собственной шкуре, не смогла бы влезть и в чужую. Ведь нельзя не восхищаться тем, как психологически достоверно, с каким проникновением и пониманием описаны тончайшие переливы чувств, переживания и страдания главной героини романа, мучающейся от сознания того, что она не любима.

Недаром в современной психологии даже появился специальный термин на эту тему. Он так и называется: «синдром Ребекки». Думается мне, что именно этим злосчастным синдромом в полной мере переболела бедняжка принцесса Диана (мир праху ее!), которая, выйдя замуж по большой, почти что сказочной, любви, очень скоро обнаружила, что сказка закончилась вместе со свадебным маршем. Началась обычная семейная жизнь с обычным мужем. А у наследного принца, как выяснилось, была на стороне совсем даже другая любовь. И эта любовь продолжала быть на протяжении всего супружества несчастной Дианы, изрядно отравляя жизнь обоим супругам. Вот такая вот мистика творилась и продолжает твориться на этом Туманном Альбионе. Кстати, английское слово *mist* означает «туман». А потому, если снова вернуться к роману «Ребекка», то скажу так: не нужно было Дафне дю Морье заниматься никаким плагиаторством. Собственного опыта, вполне возможно, горького опыта, ей хватило с лихвой.

Что ж, пожалуй, самое время добавить в наш разговор еще немного туманной английской мистики, опираясь уже исключительно на собственный переводческий опыт. На моем счету числится перевод всего лишь одного-единственного романа Дафны дю Морье под названием «Генерал Его Величества». Правда, доказать мне свое авторство, даже при желании, будет весьма непросто. Дело в том, что перевод был отпечатан на пишущей машинке в одном экземпляре (всегда терпеть не могла возиться с копирками и двойными закладками!), а в положенный срок этот экземпляр уплыл к покупателю и растворился вместе с ним на необъятных просторах бывшего Советского Союза. Случилось сие нетривиальное для меня событие в самом начале девяностых, когда большинство трудящихся, оставшись без работы, и мечтать не смело о собственном компьютере и прочих умных штуковинах, позволяющих сохранить для потомков плоды своей интеллектуальной деятельности. Хотя, если честно, то все подробности, связанные с работой над романом, уже давным-давно выветрились бы из моей памяти — мало ли я настрочила переводов за прошедшие годы — если бы не одна-единственная подробность, цепко врезавшаяся в память и оставшаяся сидеть в ней занозой, судя по всему, до конца моих дней.

Итак, если коротко, то, оставшись без работы, я стала, что говорится, побираться Христа ради по всяким частным издательствам, предлагая им свой незамысловатый товар: переводы романов, написанных женщинами. В том числе и роман любимой мною дю Морье, книгу которой на языке оригинала я приобрела много-много лет тому назад в одном симпатичном букинистическом магазине, который размещался на респектабельной московской улице, именуемой в те далекие годы улицей Качалова. Книга мне очень понравилась, вот я и решила сделать перевод, чтобы заработать хоть немного денег на жизнь. Сделала, а потом принялась уговаривать местных издателей выпустить в свет русскоязычную версию увлекательнейшего исторического романа Дафны дю Морье. Но книгоиздатель наш отечественный весь как на подбор оказался на редкость несговорчивым.

В каждом первом издательстве мне заявляли, что они знать не знают никакой Дафны дю Морье, а потому не станут рисковать своим собственным рублем ради какого-то сомнительного исторического чтива, а в каждом втором мне, напротив, тыкали в нос тот факт, что, дескать, знаем мы эту вашу дю Морье, намучились мы с ней в свое время, когда издали в конце девяностых, уже на излете советской власти, в одном, тогда еще государственном, издательстве ее роман «Ребекка». Дескать, до сих пор тираж не распродан и осел мертвым грузом на складах. Словом, везде мне давали от ворот поворот.

Но в конце концов покупатель (откровенный перекупщик) нашелся. Ознакомившись с текстом перевода, он признал его годным к публикации, заплатил мне какую-то копейку, осчастливив на месяц-другой, да и был таков. Много позже, уже где-то в середине девяностых, став счастливым обладателем собственного ПК, я, ползая по всемирной паутине, узнала, что на просторах СНГ гуляет множество вариантов этого романа, причем под самыми разными названиями. Здесь и «Полководец короля», и «Генерал Его Величества», и просто «Генерал короля», и даже «Королевский генерал». Поди догадайся, какой из вариантов перевода выполнен именно мною. Да и зачем мне все это? Издали себе, ну и издали на здоровье! Как говорится в таких случаях, сочтемся славою. Не об этом же речь.

А речь о том, что уж очень мне хочется на старости лет запустить в обращение еще один термин, имеющий отношение к психологии. У меня даже название для него давно придумано. Красивое такое название! «Чужие сны». А вам, глубокоуважаемый читатель, тем, кто осилит сей очерк до конца, уже судить потом, правомочна ли такая моя заявка.

Но вначале пару слов о самом романе «Генерал Его Величества». Роман этот хоть слегка и подзатерялся в достаточно обширном литературном наследии Дафны дю Морье, но едва ли его можно назвать проходным в ее творчестве. Победную точку в рукописи, знаменующую завершение работы, писательница поставила в мае 1945 года, предпослав своему новому детищу вот такое любопытное посвящение: *«Моему мужу, тоже генералу, но, надеюсь, обладающему большим благоразумием. 5 мая 1945 года»*. А годом позже роман выходит в свет, где его поджидают если и не шумная слава, то устойчивый интерес и неослабевающее внимание читателей. Как и большинство других произведений дю Морье, роман экранизировали, инсценировали, делали на его основе радиопостановки и прочее. Благо, литературный материал к этому очень располагает. История любви, несчастной любви, рыжеволосой красавицы Онор (кстати, «Онор» по-английски означает еще и «честь, достоинство») Гаррис и мужественного генерала Ричарда Гренвила дана на фоне драматичных революционных событий, охвативших Англию XVII века. Место действия, как всегда, Корнуолл, время действия — гражданская война, противостояние парламента, сплотившегося вокруг Кромвеля, и роялистов, то есть тех, кто остался верен присяге и королю.

Все эти сложные, противоречивые, кровавые события писательница рисует по-мужски твердой рукой, обходясь безо всяких сантиментов и слащавого мелодраматизма. И надо сказать, ее зарисовки бурного революционного времени воспринимаются почти как достоверные документы, сделанные рукой современника. Возможно, весь фокус в том, что роман написан от первого лица, что придает ему некоторое сходство с мемуарами. Не исключено также, что секрет такого воздействия на читателя кроется в том, что в основе произведения лежат реальные исторические события, которые по силе драматизма, по накалу чувств, по стремительной дина-

мике развития ничуть не уступают никакому, даже самому талантливому, вымыслу. Как бы то ни было, а работая над переводом, я в полной мере прониклась настроениями той далекой эпохи, почти что пережив ее (или, по крайней мере, перечувствовав) на себе. С тех далеких пор я усвоила себе, можно сказать, вызубрила назубок, как *«Отче наш»*, одну простую истину: все революции, даже самые великие и славные (имея в виду *Glorious revolution* — Славную революцию все в той же Англии, только полувеком позже), так вот, все революции, без исключения, — это всегда кровь и насилие, насилие и кровь, предательство и обман, обман и предательство, очень часто всеми всех и наоборот. А потому когда порой при мне начинают с умным видом рассуждать о кровавых преступлениях большевиков и иже с ними в событиях столетней давности, я всегда спрашиваю в таких случаях у своих оппонентов: а про Кромвеля вы слышали? Знаете, как беспощадно резали его люди тех, кто остался верен королю? Не знаете?! Ну, так и не беритесь судить историю с позиции кухонного интеллектуала. Настоящая история без прикрас, она всегда такая — грязная и кровавая. Кровавая, но великая… А уж история революций… Да что там рассуждать! Все уже давно сказано, и не нами, в известной классической формуле: верхи не могут, низы не хотят.

Прошло уже около тридцати лет с тех пор, как я зачехлила свою старенькую пишущую машинку, отложив в сторону переведенный роман. Но и сегодня многие его страницы я помню так, будто переводила их только вчера. Вот такова была магия этого удивительного текста. Особенно врезался в память один эпизод, казалось бы, и не связанный напрямую с развитием сюжета. И тем не менее… Хозяйка старинного замка и по совместительству главная героиня романа с помощью двух или трех верных слуг взбирается на своем инвалидном кресле на крепостную стену и начинает пристально разглядывать окрестности, с тревогой всматриваясь в даль. Вокруг, куда ни кинь взгляд, колышется спелая нива, сливающаяся своим золотым маревом у самой кромки горизонта с прозрачно-голубым небом. Но вот на этом лазурном небосводе появляется крохотное белое облачко, оно стремительно увеличивается в размерах и подступает все ближе и ближе. Уже отчетливо слышится топот копыт, и Онор Гаррис (так зовут главную героиню) понимает: к замку приближается конница Кромвеля. Не какой-то малочисленный отряд, случайно отбившийся от основных сил. Нет, на марше регулярная армия противника, и очень скоро она всей своей мощью обрушится на горстку беззащитных людей, уничтожит их, разорит замок, а потом сровняет его с землей. Ведь наверняка лазутчики уже донесли командованию, что в замке обитает не просто роялистка, но бывшая любовница самого генерала Ричарда Гренвила, самого непримиримого и упорного врага революции, не изменившего присяге и королю. Нет, эти люди не пощадят никого, лихорадочно размышляет Онор. Их не остановит даже то, что хозяйка замка — калека, давно прикованная к инвалидному креслу. Времени на размышления нет. Онор еще раз окидывает взглядом свое бравое войско — трое или пятеро слуг преклонного возраста, и решается на отчаянный шаг. Она приказывает слугам открыть ворота замка.

И вот когда этот эпизод был благополучно переведен, спустя паругройку дней мне приснился странный, удивительно яркий по количеству подробностей и красок сон. Он был настолько запоминающимся, что помню его и по сей день. И не столько сам сон, сколько все те эмоции, которые обуревали меня, спящую, и потом еще долго не отпускали от себя уже после того, как я проснулась.

Как это часто бывает в сновидениях, сознательное и бессознательное слились воедино, образовав некую фантасмагорическую явь, некую реальность, но только из другой жизни. Из чужой жизни…

Мне снилось, будто мы (именно «мы», то есть нас немного, но мы — это мы) лежим на каком-то пригорке среди редкого молодого сосонника. Квелые сосенки не дают никакой тени, под ними никак нельзя спрятаться от изнуряющей жары, и уж тем более, они не спасут от приближающихся танков противника. Я уже отчетливо слышу этот лязг гусениц, ветер доносит до меня обрывки немецких слов. Пехота, догадываюсь я и уныло смотрю на свое старое ружьишко (или автомат, если правильно?), понимая, что спасения нет. Сейчас они с ходу возьмут эту скромную высотку и покатят вниз, раздавят всех нас вместе и каждого по отдельности. Потому что бежать некуда и бежать поздно. И в эту самую минуту предчувствия своего страшного и неизбежного конца на меня вдруг наваливается такая тоска, такая смертельная тоска… Рискну пойти на святотатство. Потому что моя тоска во сне была сродни той, которая слышалась в голосе Иисуса Христа, когда Он громко возопил, вися на кресте. Помните? *«Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?»* (Евангелие от Матфея, 27-46.)

Помнится, я проснулась в холодном поту и еще какое-то время, лежа в постели, перебирала в памяти все подробности увиденного сна. Даже не столько сами подробности, сколько то настроение, которым было пронизано это странное сновидение, не имевшее ничего общего ни с моей тогдашней жизнью, ни с теми мыслями, с которыми я отходила ко сну накануне. И тогда я поняла одну удивительную вещь, мыслями о которой, впрочем, до сего дня не делилась еще ни с кем. Я поняла, что увидела чужой сон! Да-да, не смейтесь, пожалуйста! Именно чужой. Просто из той таинственной ноосферы, которая, как известно, хранит в себе все, ко мне приплыл сон совсем другого человека… Мужчины… Или на тот момент еще совсем молодого парня. Возможно, где-то в самом начале войны, в июле-августе 1941 года этот наш красноармеец лежал на одном из таких лесистых пригорков, мучаясь от сознания собственного бессилия перед многократно превосходящей мощью врага и предчувствуя свою неминуемую гибель, такую несвоевременную, такую бессмысленную и жестокую. Но значит, он выжил, уцелел, коль скоро это его сон… Скажете, бред сивой кобылы? Может, и так! Но начитавшись в свое время Дафны дю Морье, я теперь знаю наверняка. Чужие сны — это совсем не выдумка. Они есть! Они точно есть! Не верите? А вы почитайте «Ребекку»! Вдруг и вам приснится что-нибудь этакое… А вы говорите: мистика!



Елена ГОВОР

*Белорусские анзаки**

Устин по прозвищу Ю-и

Барбара Гловацкая на мой вопрос «Каково приходилось россиянину в австралийской армии?» саркастически рассмеялась: «Чертовски плохо, судя по тому, что я слышала от отца... Он был интеллигентным человеком, а они сделали его денщиком, потому что, конечно, у него были проблемы с языком, и они никак не могли разобраться, русский он или немец. Они даже его имя не могли написать правильно. Еще в лагере, когда они тренировались, он перепутал правую и левую ногу. Вот тогда он и получил свою кличку Ю-и (Yuhi), которая возникла от окрика «Ты, тут!» (‘You here!’). Они никогда не слышали имя Устин, вот и начали обращаться к нему «Ты, тут!», а потом сократили до Ю-и. Он любил это имя. Сохранил его и во время Второй мировой войны. Все друзья звали его Ю-и». Действительно, через австралийские документы проходит внушительный список имен Устина: он въехал в Австралию как Inshitin Growatshiki, в армии служил как Usten Glavasky, натурализовался как Justyn Glowacki и умер как Justin Glowacki. С злоключениями фамилий Виселенского и Майко мы уже познакомились; такие же приключения происходили и с другими именами: фамилия Павла Зиневича писалась в трех вариантах: Zenewich, Zemewich, Zinevich; фамилия Болеслава Збыковского — в четырех: Zebekovski, Zbecovsky, Zbicously, Zlicousky.

Но как видно из рассказа Барбары, отношение солдат к несовершенному английскому их российских сослуживцев было скорее юмористическим, чем насмешливым. Недаром ее отец полюбил свою армейскую кличку. Леон, сын Фавста Леошкевича рассказывает: «Как мой отец справился с английским языком в армии, оставалось для меня тайной, пока он не рассказал мне о человеке, с которым там подружился: тот был учителем до войны и много занимался с моим отцом».

Отношение австралийских властей к россиянам, вступающим в Австралийскую армию, на первых порах было доброжелательным — ведь Россия была их главным союзником. Их принимали даже без натурализации, да и на слабое знание английского языка смотрели сквозь пальцы. В отношении уроженцев Беларуси мне встретилось всего несколько случаев чрезмерной бдительности. Так, Петру Виселенскому при вступлении в армию пришлось подписать под присягой такое заявление: «Мой отец и мать родились в России. Я родился в России. Среди моих предков не было немцев, австрийцев, болгар или турок». А вот Алексей Копин, плотник, приехавший в Австралию через Дальний Восток, несмотря на натурализацию в Австралии, попал под подозрение. Он указывал местом своего рождения Польшу, хотя отец его жил в Минске и его друзьями были русские. Наличие у него писем «на каком-то иностранном языке» и ножа вызвало подробное разбирательство у властей тренировочного лагеря в Сеймуре (Виктория), где он вступил в армию. Командующий лагеря взывал к штабу: «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы воспрепятствовать вступлению этих иностранцев в австралийскую армию, особенно в такие технические подразделения, как пулеметные, в которых человек должен быть более развитым, чем в других подразделениях?» И добавлял, что

* Окончание. Начало в № 4 за 2017 г.

«Копин имеет типично немецкую внешность». Копина уволили из армии, о чем он и сам к тому времени просил, а через несколько дней дело было уже в руках службы разведки. Начальник разведки в Виктории сообщал своим коллегам в Квинсленде, куда направлялся Копин: «Он предъявил мне свои бумаги, и это убедило меня, что он русский поляк, натурализовавшийся в 1914 г., но я препровождаю вам информацию о том, что он почти завершил строительство лодки 34 фута длиной, которую собирается использовать, а я всегда отношусь подозрительно к русским, похожим на немцев, которые попадают в Сеймур, изучают пулеметное дело, а потом увольняются из армии». Комментарии, как говорится, излишни. Неясным остается только, куда, по мнению разведки, Копин мог поплыть на своей лодке…



Фавст Леошкевич

Отзвуки подобных подозрений слышатся и в семейном предании Деонков. Петер, внук Вильяма Деонка, героя Галлиполи, считает, что хотя его дед получил Военную Медаль, «не будь он refo» (т. е. иммигрантом), он бы получил более высокую награду. Особенно подозрительным стало отношение к россиянам после Октябрьской революции. Ведь выйдя из войны, Россия в одночасье стала для союзников врагом едва ли не большим, чем Германия.

Но в то время как командование «вычистило» из армии нескольких россиян, в том числе и нашего Устина Гловацкого, и отправило их до срока в Австралию, отношение сослуживцев к ним было совсем другим. Например, Фавст Леошкевич к этому времени уже успел стать настоящим анзаком, своим парнем, который за словом в карман не лезет, не теряет присутствия духа в самую тяжелую минуту и умеет пошутить в самый критический момент. Леон рассказывает: «Во время боя моего отца ударило взрывной волной так сильно, что всю одежду с него сорвало. Когда он пришел в себя, ему ничего не оставалось, как снять одежду с трупов, лежавших рядом с ним, потому что холод был собачий. В таком наряде он и двинулся в сторону наших окопов, пока не наткнулся на свой взвод. На нем были короткие брючки, французская серая шинель, английский шлем, и в довершение ко всему, немецкое ружье. Увидев своих, он закричал: “Вот этим ружьем я их всех взял в плен!” Ну и смеялись же они, эта история стала их любимой байкой!» Неудивительно, вспоминает Леон, что его отец «всегда говорил, какими чудесными людьми были наши ребята в армии, солдаты, обычные солдаты. Он так считал, потому что, когда в России произошла революция, никто не говорил с ним об этом, и он думал, что это было просто замечательно». Не колоть глаза товарищу тем, за что он не может нести ответственности — оказывается, это так много, что и сейчас, 86 лет спустя, его сын не может без волнения говорить об этом... Это и было легендарное австралийское боевое братство («mateship») в действии, которым так гордятся анзаки.

Архив фотографий, сохранившийся в семье Осипа Рынкевича, рассказывает именно об этом. Вот первые снимки, сделанные в лагере в Брисбене, еще до отправки на фронт. Осип, в военной форме, позирует с группой своих русских товарищей, с которыми он познакомился уже в лагере. А на фронтовых снимках, которыми он обменивается со своими сослуживцами, портреты русских анзаков перемежаются с его австралийскими друзьями. Об армейской дружбе отца вспоминает и дочь Александра Майко: «Эллиот Смит был его другом с армейских времен, и они остались друзьями на всю жизнь».

Включение в это братство не приходило сразу, его надо было завоевать, сражаясь бок о бок со своими австралийскими товарищами. Именно об этом и будет наша следующая история.

Анзак Гарри

Как иностранцы, как чужаки россияне в Австралийской армии всегда легко попадали под подозрение, но бурный 1917 год с отречением царя и захватом власти большевиками, за которыми последовал Брест-Литовский мирный договор России с Германией, сделал положение их особенно уязвимым. И здесь я хочу вновь вернуться к судьбе Хаима Самойловича Платкина, театрального импресарио, приехавшего в Австралию с труппой артистов накануне войны. Он развил кипучую деятельность в Австралии, организуя сбор пожертвований на военные цели и способствуя патриотической пропаганде. Он даже пытался организовать русскую военную часть в составе Австралийской армии. После того как этот план потерпел неудачу, Платкин решил вступить в армию сам и был направлен в школу унтер-офицеров в Дантруне (в будущей Канберре). Но, рассказывает он, «к тому времени новости о русской революции дошли до Австралии, и стало очевидным, что раньше или позже Россия выйдет из игры. Учащиеся школы унтер-офицеров из-за этого стали меня бойкотировать, и мне пришлось отказаться от учебы там». В составе подкреплений к полевой артиллерии Платкин отправился на фронт рядовым, надеясь, что там он сможет работать в качестве переводчика (он знал восемь языков). «К сожалению, — продолжает он, — к тому времени, когда нас привезли в Англию, Россия заключила сепаратный мир. Мои сослуживцы сочли своим долгом вымещать свое недовольство на мне. Едва ли стоит писать о том, как со мной обращались... Они неизменно обзывали меня русским анархистом, русским шпионом и вообще держали под подозрением». Тот факт, что Платкин был интеллигентом, для которого главным оружием было слово, а не пулемет, подливало масла в огонь. Отзыв командира его батареи бил прямо в точку: «Он абсолютно бесполезен в качестве пулеметчика, будучи и неспособным, и ненадежным». Не только бойцы не доверяли ему. В феврале 1918 года, когда подкрепление Платкина ждало отправки на Западный фронт в Англии, военное министерство в Лондоне было взбудоражено, обнаружив, что «некоторые австралийские солдаты вступили в контакт с мистером Литвиновым, представителем большевиков в Англии», и что среди этих солдат был Платкин, «жаловавшийся на то, как с ним обращаются в его части». Тут уж забеспокоился штаб Австралийской армии в Лондоне, предположив, что Платкин «получил от Литвинова циркуляры». Этот визит усилил подозрительное отношение австралийцев к Платкину.

Платкин, иммигрировавший в Англию из Беларуси еще в конце XIX века и ассимилировавшийся больше, чем многие российские анзаки, был известен под английзированным именем Эдвард Платт, но в начале войны он почувствовал себя патриотом России и вступил в армию под своим давно забытым именем Хаим Самойлович Платкин, как россиянин. Теперь, доведенный до отчаяния, он вспомнил о своем последнем козыре — о своих этнических корнях: «Узнав о формировании Еврейского батальона и исповедуя иудейскую веру, я, естественно,



Несостоявшийся анзак Хаим Платкин.

очень хотел бы, чтобы меня перевели в это подразделение», — писал он своему командиру и просил, чтобы «ему дали возможность умереть достойной смертью среди его народа». Командир отнесся к его словам довольно саркастично, но в конце концов Платкина уволили из Австралийской армии, с тем, чтобы он вступил в Еврейский батальон.

...Этот рассказ ставит, как кажется, все точки над i. Перед нами человек, обреченный быть вечным изгоем, отвергнутый анзаками, да и сам разочаровавшийся в Австралийской армии. Мне не удалось найти никаких сведений о его возвращении в Австралию после войны, и я часто думала о том, как же могла сложиться его жизнь дальше. Неожиданно в архивном досье обнаружилась следующая корреспонденция, появившаяся в одной из австралийских газет в июне 1948 года:

«В арабском лагере для интернированных Баалбек (Сирия) находится "Анзак Гарри", раненный в Галлиполи во время службы в составе артиллерийского подразделения Австралийской армии. "Анзак Гарри", настоящее имя которого Гарри Платкин, родился в России и приехал в Австралию с цирком Виртса перед Первой мировой войной. Насколько мне известно, он натурализовался перед вступлением в Австралийскую армию. Был демобилизован в Египте, откуда отправился в Бейрут (Сирия), где он открыл бар "Анзак Гарри" на набережной. Во время Второй мировой войны он пожертвовал 10 тысяч фунтов в фонд Спитфайе. Его бар был первым местом, куда заходили утолить жажду бойцы 7-й Дивизии, сражавшейся в Сирии и захватившей Бейрут. Если диггер был на мели, то в «Анзаке Гарри» он всегда мог получить выпивку за счет хозяина... Гарри обвиняют в сионизме... Он на самом деле христианин и не интересуется сионизмом».

Корреспонденция заканчивалась призывом к австралийским ветеранам «обратиться к ливанским властям», чтобы помочь их попавшему в беду товарищу. Это было сделано незамедлительно, и вскоре офисы премьер-министра, министра

иммиграции и министра иностранных дел, а также верховный австралийский комиссар в Лондоне оказались вовлеченными в историю нашего «анзака». Постепенно выяснилось, что он вступил в Австралийскую армию много позже героических боев в Галлиполи, что австралийские власти отказали ему в натурализации в 1917 году (и ему об этом было послано письмо и в Австралии, и позже, когда он поселился в Сирии после Первой мировой войны), что он был «владельцем пресловутого питейного заведения, которое имело большой оборот среди британских войск во время последней войны до тех пор, пока британские военные власти не прикрыли его из-за нарушения правил торговли» и т. д., и т. п.

Но только ли о русском еврее без гражданства, выдававшем себя за героического анзака, эта история? Она и об австралийцах, отвергнувших его, о том, что этот человек, от одной мировой войны до другой, пытался, пусть хотя бы в своем воображении, возместить то, от чего они отлучили его. И он готов был даже бесплатно поить молодых солдат за право зваться «Анзаком Гарри».

Из лагеря для интернированных его освободили в 1949 году; как сложилась его жизнь дальше — неизвестно.

После войны

Итак, война была окончена, и тысячи австралийских солдат, в том числе и наши белорусские анзаки, возвращались в Австралию, к мирной жизни. Для многих она на первых порах оказалась совсем не простой. Среди проблем были безработица, подозрительное отношение ко всем россиянам как к революционерам, запрет на возвращение в революционную Россию и на натурализацию. Последнее, правда, российских анзаков не касалось, но прежде чем они могли натурализоваться, им приходилось подвергаться полицейской регистрации по месту жительства. При переезде из одного места в другое они должны были являться в полицейский участок и заполнять учетную карточку. Парадоксально — когда они были на фронте, им доверяли оружие и жизнь их товарищей, им даже доверяли служить в австралийской военной полиции, как Вильяму Деонку, но как только они ступали на землю Австралии, они снова становились чужими, потенциально подозреваемыми. Более того, унизительной процедуре полицейской регистрации подлежали теперь не только сами русские, но и их жены, родившиеся в Англии или в Австралии. Так произошло, например, с нашим героем Вильямом Деонком. Прибыв в Австралию, он вынужден был регистрироваться в полиции и подвергнуть этой унизительной процедуре и свою молодую жену — по дороге с Западного фронта в Австралию он успел жениться на англичанке.

Для историка, однако, эта полицейская регистрация — бесценный клад. Пожелтевшие карточки позволяют проследить занятия и миграции наших героев вплоть до 1921 года, когда она была отменена. Вот, например, Петр Сребаль из Виленской губернии: на Западный фронт он не попал, его отчислили из армии из-за болезней и преклонного возраста, ему было под 50. Начало 1918 года застает его в Кэнангре, к югу от Брисбена. Он ненадолго заезжает в Брисбен, останавливаясь в русском пансионе Степановых, и отправляется в Дженлиа, на строительство железной дороги. Не найдя там работы, подается в Валумбиллу. Через несколько месяцев он опять заезжает к Степановым в Брисбен и устраивается на ферме под Брисбеном. В начале 1919 года переезжает в горный район Самсонвале, возможно, подрядившись расчищать лес для фермы, а в июне, заехав к другой русской семье в Брисбене, Олейниковым, едет на север, в Таунсвил, рубить тростник. В конце года, к Рождеству, он возвращается в Брисбен. Неудивительно, что после нескольких лет такой кочевой жизни он покинул Австралию при первой возможности, как только русских стали выпускать из страны в 1921 году. Передвижения Устина Гловацкого тоже имели Брисбен своим центром; на протяжении 1918—1921 гг. он работал на строительстве дорог, поваром, садовником и корабельным

стюардом, перемещаясь между Брисбеном, Кулангаттой и Тувумбой. Наконец, в 1927 году он нанялся на корабль, шедший в Лондон. Вскоре он окажется в Польше, недалеко от своей родины — Жабинки под Брестом. Сходным образом кочевал и Болеслав Збыковский из Бреста, который пытался вступить в армию в 1916 году, но был отчислен.



Устин Гловацкий после войны в Брисбене с русскими девушками.

Часто только женитьба могла изменить кочевой образ жизни русских. Андрей Жабинский, бывший инженер из Борисова (под Минском), был уволен из армии в Лондоне из-за злокачественного заболевания, в 1919 году вернулся в Австралию после непродолжительной работы в оборонной промышленности в Англии. Следующие два года он провел, кочуя между Рокхэмптоном, Маунт Морганом и Бабиндой, скорей всего, занимаясь рубкой тростника. О последующих годах его жизни сведений нет, но в 1928 году он перебрался в Ньюкасл, где женился на австралийке, у них родилась дочь Клавдия, и он начал работать в горнорудной компании как механик. В 1939 году подал заявление на натурализацию; его подпись, выведенная дрожащей рукой, свидетельствует о том, что он был тяжело болен, но благодаря заботам семьи ему досталось еще несколько лет мирной спокойной жизни, и он умер только в 1951 году.

«Березина» среди эвкалиптов

Александру Майко, после полутора лет в госпиталях, кочевая жизнь оказалась не по силам. «Я попробовал несколько работ, но не мог на них удержаться, так как моя рана открывалась каждые три месяца», — вспоминает он. Этот кусок шрапнели так и останется у него в груди на всю жизнь, доставляя ему неизмеримые страдания, но он будет молчать об этом.

...Годы спустя его вдова Флоренс Мэй расскажет о повседневном героизме Александра в письме их детям, которое они должны были открыть после ее смерти: «Я только теперь осознала, каким отважным человеком и верным товарищем был ваш отец. Это пришло как озарение, когда я думала о нашей с ним жизни. Меня всегда беспокоило, что он был заядлым курильщиком, и я считала, что это ему очень вредит после его ранения. Он всегда сводил это к шутке и говорил, что курит, чтобы во рту было приятно. И я вспомнила, как однажды он уже лежал

в госпитале, а я сидела у его кровати. Он откашлялся с большим количеством мокроты и скривился. И на мое замечание о том, что, наверно, вкус во рту очень неприятный, сказал: «Никто никогда не узнает, насколько это противно, и этот вкус никогда не исчезает…» Я не поняла тогда то, что я так ясно осознала теперь. Он курил, чтобы заглушить этот ужасный вкус. Никогда не жаловался, и это был единственный раз, когда он заговорил об этом».

Но вернемся к рассказу Александра:

«В 1920 году я купил 15 акров буша в Спрингфилде около Госфорда. Расчистил половину участка и посадил апельсиновые деревья. Я раньше никогда не видел, как выращивают апельсины. В Спрингфилде купил собаку для компании. Построил сарай 16х7 футов. Пол я сделал из ящиков, и под ним развелись крысы. Кровать я устроил из проволочной сетки, натянутой на колышки. ...Многие давали мне советы, но позже я понял, что это были болтуны, которые сами ничего не имели и ничего не могли сделать, чтобы улучшить свою жизнь. И вот я расчистил несколько участков земли и посадил картошку и капусту. Картошка, когда выросла, стоила всего 2 шиллинга 6 пенсов за 100 фунтов веса, и за такие деньги ее не стоило и копать. Я уже думал бросить это место, но тут мне подвернулась работа за 3 фунта 12 шиллингов неделю. Это немного поправило мои дела. Я проработал 15 месяцев. Во время выходных построил себе сарай побольше, а потом снова попал в госпиталь в Рэндвике на четыре месяца. Когда вышел из госпиталя, я не стал наниматься на работу, а начал работать на себя. Дела у меня тогда шли неплохо, и я сдал 2 с половиной акра под расчистку. Летом выращивал помидоры, а зимой продолжал расчистку и сажал цитрусовые деревья. В 1923 году начал строить трехкомнатный дом».

Так извечная мечта белорусского крестьянина — зажить своим домом на своей земле — сбылась для Александра Майко в Австралии, среди холмов, заросших эвкалиптами. С этого времени эта страна действительно стала для него домом. Вскоре женился на австралийской девушке Флоренс Мэй. Он вспоминает о тех временах: «Наша мебель состояла из кровати, туалетного столика, стола и нескольких самодельных стульев. У нас с Мэй родилось двое детей, и мы закончили строительство дома. В январе 1927 года мы продали наш участок, на котором к этому времени уже росло 700 цитрусовых деревьев». После этого они попытались добиться успеха в качестве хозяев фруктового магазина в Сиднее и пережили депрессию на новой ферме под Сиднеем. В 1934 году завели птицеферму, взяв небольшой участок, заросший бушем под Госфордом. И снова он расчищал лес и строил дом... Но в его жизни была не только работа — два раза они устроили себе отпуск: в 1931 году провели несколько недель в Мельбурне, а в 1939 году — в Брисбене. В 1960 году, незадолго до своей смерти, он отложил небольшой капитал для учебы своих детей, им предстояло осуществить его мечту о лучшей жизни, которая не досталась ему. Но все-таки, по большому счету, это была счастливая жизнь, такая же счастливая, как и у его австралийского собрата Берта Фейси, который в это же самое время расчищал лес под свою ферму на другом конце Австралии, под Пертом.

Наши анзаки и их австралийские собратья по оружию по существу были последним поколением австралийских пионеров, которым довелось осваивать австралийскую целину. Незримые нити все больше привязывали их к этой суровой и прекрасной земле и ее людям. Часто они были единственными россиянами на сотни миль вокруг, и именно по ним их соседи составляли представление о русских. Петр Виселенский выбрал участок в садоводческом солдатском поселении в Ред Клиф около Милдьюры; полицейский в своем отчете о нем отмечал, что «он единственный русский в этом районе». Семен Сучков расчищал землю под свою ферму на северо-западном побережье острова Тасмании, около поселка Эдит Крик; здесь он выращивал табак. Дорога, проходившая мимо его фермы, так и называется: «дорога Сучкова». В свободное время писал под псевдонимом Спад Мэрфи; в тасманийском архиве мне удалось обнаружить его рассказ на

деревенскую тему «Король картошки». Рассказ написан на английском языке, но действие его могло происходить и в его родной Беларуси, где жизнь крестьянина зависела от урожая картошки. Человек культурный, с широким кругозором, он часто поднимал в своих письмах в местные газеты философские вопросы, например, о сопряжении высшей и индивидуальной свободы или о толпе и организации, и любил, говоря о местных проблемах, провести литературные параллели. В то же время его выступления в печати по различным вопросам, волнующим окрестных жителей — о дорогах и о земельном законодательстве, о местной школе и о защите прав фермеров, — сделали его настоящим борцом за права австралийского «маленького человека».

Осип Рынкевич, вернувшись с войны, поселился на тропическом севере Австралии, в Иннисфейл; он тоже мечтал о своей ферме, но еще лет двадцать ему пришлось порубить сахарный тростник, в остальное время работая на постройке железных дорог. Только после Второй мировой войны он смог купить землю в тропическом лесу на берегу океана и завести там птицеферму. Кроме того, у него была и устричная ферма на прибрежном островке Данк. Теперь это все заповедники, Мекка туристов со всего мира. Для Осипа же, хотя он и полюбил природу жаркого севера Австралии, на первом месте стоял труд. Он считал, что дело мужчины обеспечивать свою семью. Характерно, что Осип завещал все свои владения двум внучкам, а внуку ничего не оставил, потому что, пишет его внучка Мари, «по мнению деда — дело мужчины обеспечивать женщин, и мой брат, будучи мужчиной, должен был сам проложить свой путь в жизни и обеспечить себя и свою будущую семью».

Да, работа на австралийской земле была тяжелым трудом, тяжелым и часто рискованным. Петр Виселенский в годы Второй мировой войны взял новый участок земли — 325 акров в восточном Гипсленде. 40 акров земли, вдоль реки Тамбо, были расчищены, а остальную землю покрывал первозданный лес. Для детей здесь был рай, и Петр был первоначально рад этой «новой земле». Но тут последовали неудачи одна за другой — засухи, проблемы со здоровьем (Петр сломал ногу и перенес несколько операций), да и старший сын Кевин, находясь на фронте, не мог ему помогать как прежде. «Я была слишком мала, чтобы понять, что происходило, — вспоминает его дочь Маргарет, — но я помню, как мать и отец расстраивались, когда приходили письма с красной полосой. Банк отказал им в помощи, и все пошло с молотка. Это было самое печальное событие в нашей



Свадьба Осипа Рынкевича.

жизни, я до сих пор не могу вспоминать о нем без слез. Мы потеряли буквально все». Наших анзаков можно было найти во всех уголках Австралии. Томас (вероятно, Фома) Тарасов из Минска, прошедший всю войну в саперном батальоне, работал на шахтах Маунт Моргана и Маунт Айзы в жарких внутренних районах Квинсленда до тех пор, пока не заболел туберкулезом. Джон Матвейчик тоже работал в Квинсленде, сначала на угольной шахте под Ипсвичем, а потом плотником на ферме в Капалдо. Иосиф Мирский всю жизнь проработал пекарем в Брисбене, Исаак Прусов — столяром в Сиднее. Бывшим морякам тоже вскоре пришлось искать работу на суше. Вильям Деонк стал маляром и декоратором в Сиднее, еще трое моряков осели в Мельбурне — Зиневич был носильщиком, Пашкевич — рабочим, а Леошкевич — водителем трамваев. Но их морское прошлое все еще живет в рассказах их детей. Леон Леошкевич вспоминает: «На корабле отец научился шить и чинить паруса, и после войны ему пригодилось это мастерство, когда его взяли чинить брезентовые покрытия в железнодорожных мастерских». Дороти Деонк тоже рассказывает, что, когда она родилась, отец сам шил ей пеленки и распашонки. «Для меня это одно из самых дорогих воспоминаний», — прибавляет она. Бронислав Кретович из Виленской губернии, который тоже не попал на фронт по состоянию здоровья, проработал всю жизнь инженером-механиком в Мельбурне. Зиневич, выйдя на пенсию, в 1959 году перебрался с женой-англичанкой в Англию, поселившись на берегу столь любимого им моря в городке Хайклиф.

Самого большого успеха достиг Норман Майер. По окончании войны он вернулся в Австралию и вошел в семейную компанию «Майер Эмпориум». Он начал с должности простого продавца и позже, в интервью 1948 года, рассказывал, что работать под начальством его дяди, Сиднея Майера, было совсем не просто. Но в начале 1950-х годов Норман мог с гордостью сказать: «Я являюсь председателем и управляющим “Майер Эмпориум”, предоставляя работу 10 тысячам человек. В сфере розничной торговли это самое крупное предприятие в Британской империи».

Судьбу нескольких уроженцев Беларуси после войны проследить так и не удалось. Алексей Копин, попавший под подозрение австралийских властей и отчисленный из армии, в конце 1917 года отправился в Россию. Как сложилась его судьба дальше — неизвестно. Мариан Адамцевич, моряк, после того как его отчислили из армии по медицинским показаниям, отправился в Америку, продолжая работать кочегаром. Исчезает из австралийских документов и Федор Лейко, вероятно, он покинул Австралию. Вернулся на родину после демобилизации в Австралии и Джордж Гурасов. Разыскивая сведения о его судьбе, я нашла информацию о его односельчанине — Михаиле Алексеевиче Юрасеве 1872 года рождения. Вполне вероятно, что это был его брат, ведь отца Джорджа звали Алексей, а с трансформациями белорусских фамилий в Австралии мы уже познакомились. Михаила Юрасева, крестьянина-единоличника из села Палуж, арестовали и расстреляли в 1937 году.

Тем же, кто остался, предстояло построить свой дом в Австралии. И здесь, как мы уже видели на примере семьи Александра Майко, важную роль играли их жены. Некоторые из наших анзаков — Деонк и Зиневич — встретили своих суженых еще во время войны, в Англии, пока были там в госпиталях. И те не побоялись отправиться с этими чужаками в неизвестность, в Австралию. Другие — Виселенский, Жабинский, Леошкевич — женились на австралийках. Виселенский, например, встретил свою будущую жену сразу после демобилизации в Мельбурне и вскоре женился. «Любовь покоряет все», — коротко комментирует их дочь Маргарет. Однако Петр в то время так плохо знал английский, что когда родилась их старшая дочь, Петр, не поняв вопрос медсестры, как записать его дочь, сказал имя своей жены, в то время как они хотели назвать ребенка совсем другим именем. Так у дочери оказалось два имени — одно в документах, а второе — настоящее. Осипу Рынкевичу удалось найти жену среди своих земляков. Ею стала украинская девушка Мария Гаврилюк, приехавшая в Австралию с родителями в 1913 году, они познакомились в Русском клубе в Брисбене.

Но самой неординарной оказалась история Устина Гловацкого. В 1927 году он отправился в Лондон и получил работу смотрителя в Англо-польском банке. Вскоре его перевели в Варшавское отделение банка. Здесь он и познакомился со своей будущей женой Стефанией, которая была моложе его на 22 года. Их младшая дочь Барбара рассказывает: «Когда произошел крах на бирже, семья матери пришла в банк просить о займе, им нужны были деньги, чтобы спасти их бизнес. Отец сказал им: “Если вы отдадите замуж за меня свою дочь, я выплачу все ваши долги”. И сдержал свое обещание. А она уже была помолвлена со студентом. Но была такой же, как мы все. На первом месте для нее была семья. Она вышла за отца замуж в 1930 году». Вскоре у них родились старшие дочери Тереза и Ольга. Над Европой уже сгущались грозовые тучи войны, но Гловацкие не знали, что судьба уготовила на их долю...

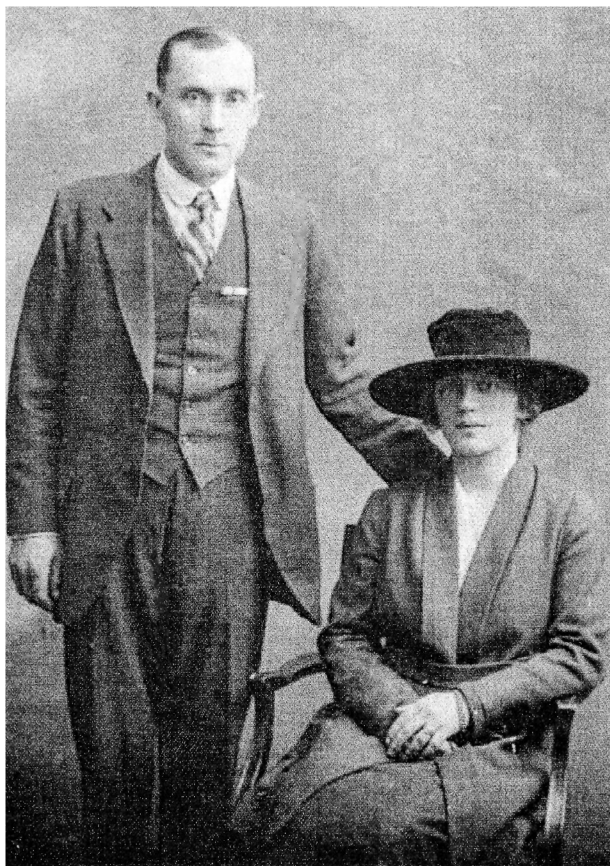
Белорусские австралийцы

Сохранение своей самобытности было непростым делом для белорусов. В семьях с англоязычными женами процесс ассимиляции шел, конечно, особенно быстро. Несомненно, что важную роль играла возможность контактов со своими земляками, но не менее важна была и установка самого человека. Полное отсутствие контактов у Виселенского со своими земляками объясняется тем, что он был единственным россиянином среди 900 фермеров Ред Клифа, поселка ветеранов Первой мировой к северу от Мельбурна, в Виктории. Леошкевич, несмотря на женитьбу на австралийке, сохранял круг русских друзей. Его сын вспоминает: «У нас было много русских знакомых, дядя такой-то, тетя такая-то — в районах Вильямстоун и Ньюпорт под Мельбурном, где мы жили, было много русских». Дружба Фавста Леошкевича с Василием Грешнером, начавшаяся на «Гунде», сохранилась на протяжении всей жизни. Леон помнит, как он ходил со своим отцом в гости к «дяде Василию и тете Лене»: «Как они замечательно спорили по-русски! Я любил слушать их русские споры, обычно о политике. А потом неожиданно в их разговор вплетались английские слова, я так и не знаю, почему они прибегали к английскому — то ли они забыли русский, то ли английский казался им более выразительным». Надо сказать, что им было о чем поспорить — Василий Грешнер в 1934 году съездил в Советский Союз повидать своих родных, был арестован и чудом вырвался из жерновов ГУЛАГа; не миновал ГУЛАГа и старший брат Фавста, Петр Леошкевич, участник Белого движения.

Принадлежность к православной церкви играла определенную роль в сохранении своей самобытности в судьбах некоторых из наших героев. Фавст Леошкевич, например, православную иконку, которой благословила его мать, когда он отправлялся в плавание, подарил перед смертью жене своего сына, австралийке. Она принесла ее на открытие памятного знака, посвященного российским анзакам, в 2007 году в Мельбурне. Хотя она и не говорила по-русски, для нее, как и для ее свекра, эта иконка была святыней. Александр Майко, живший под Сиднеем, среди россиян друзей не имел, но тоже на праздники ездил в православную церковь в Сиднее. В греческой православной церкви в Сиднее обручился и Павел Зиневич со своей женой-англичанкой. В день двадцатипятилетия их венчания они поместили объявление в газете в память о том знаменательном для них дне.

Другие, как, например, Вильям Деонк, пошли по пути полного погружения в австралийскую жизнь. «Он оставил все это позади», — ответила на мой вопрос о его контактах с россиянами Дороти, его дочь. В общем-то, так же относились к прошлому и другие анзаки. Когда сын пытался расспросить его о русском прошлом семьи, Фавст Леошкевич всегда прекращал разговор, приговаривая: «Что было, то быльем поросло».

Аналогичные процессы ассимиляции, перехода на английский язык, использования английских имен для детей, происходили и в семьях евреев из Бела-



Вильям Деонк с женой.

руси; для некоторых из них эти перемены начались даже раньше, еще до войны — например, семьи Мирского и Прусова жили до переезда в Австралию в Англии. Семья Нормана Майера вращалась в высшем свете Мельбурна и прославилась на всю Австралию своим меценатством и ролью в «большой» политике страны.

Хоть и не в такой степени, как у Майера, но подобное же вовлечение в жизнь австралийского общества происходило и у других анзаков. Устин Гловацкий «по воскресеньям обычно ходил на Домейн, — рассказывает его дочь о жизни в Сиднее после Второй мировой войны. — Он никогда не забывал о политике. Он не был социалистом, но верил в право человека на свободу. Был близко связан с лейбористами и профсоюзным движением и всегда голосовал за лейбористов. Нам казалось это довольно странным, потому что у него на стене висела фотография царской семьи, и в то же время он голосовал за лейбористов. Моя мать вбивала нам в голову, что лейбористы — это те же коммунисты, она всегда голосовала за либералов. И каждый раз перед выборами мы, трое детей, должны были сидеть под грушей в саду, пока родители спорили». Осип Рынкевич тоже интересовался политикой и оставался верным идеалам своей юности — он состоял членом Коммунистической партии Австралии даже в те годы, когда она была запрещена. Однако примирял это со своим католическим воспитанием — долгие годы он поддерживал местную католическую церковь финансово, но службы не посещал. А вот Лео Берк, стоявший на умеренных позициях, подвергся остракизму со стороны русской общины в Брисбене, которая подозревала его в доносах австралийским службам безопасности. В конце концов, женившись на немке, он вынужден был перебраться в отдаленный район Квинсленда, в Равеншоу, и работая на лесопилке, оставил свое русское прошлое — прошлому.

Семьи Осипа Рынкевича и Устина Гловацкого были единственными, передавшими родной язык детям; в обоих случаях решающая роль принадлежала женам-славянкам. В тех краях, где поселился Осип, на севере Квинсленда, осело много россиян, да и его украинская жена Мария (которую в семье звали Анни) имела семь братьев и сестер. Внучки до сих пор помнят имена их русских друзей — Джека Вагина, русского анзака, и семью Аверковых, чей сын служил вместе с Осипом и был убит на Западном фронте. По выходным, вспоминают внучки, Осип любил пропустить стаканчик пива или виски и потом распевал с Анни русские песни. А какое веселье было, когда приезжал ее брат Вальтер в казачьем костюме и отплясывал казачьи танцы! Неудивительно, что Осип с Анни говорили

по-русски, и русский был главным языком их сына Валентина до тех пор, пока тот не пошел в школу; даже их внучки помнят, как все трое разговаривали между собой по-русски. «Однако, — пишет их внучка Мари, — нам кажется, что Осип и Анна хотели, чтобы их семья ассимилировалась и приняла австралийский стиль жизни; они не учили своих внуков говорить по-русски, но в то же время Осип не стеснялся своего русского происхождения».

Последняя фраза у Мари неслучайна. Подозрительное, а то и негативное отношение к россиянам на протяжении всей жизни наших анзаков и со стороны властей, и со стороны населения было очень сильным. У Вагина, друга Рынкевича, например, австралийская полиция конфисковала дневники, которые он вел на протяжении многих лет, в том числе и на фронте. Некоторые наши анзаки принимали вызов с юмором, в стиле австралийских анзаков. «Стоило кому-нибудь обозвать моего отца “чертовым русским”, — рассказывает сын Фавста Леошкевича, — он тут же отвечал: “Вот именно, да и Иван Скавинский Скавар к тому же”. А надо вам сказать, что это была похабная военная песенка о русском герое-головорезе. И когда отец так говорил, все начинали смеяться, и этим все и кончалось. А если у него спрашивали: “Вы — красный русский или белый русский?”, отец отвечал: “Розовый”. Он всегда все сводил на шутку. Стоило кому-нибудь обозвать его Иваном, он тут же отвечал: “Да, Иван Грозный”. Я помню, — мне было тогда лет двадцать, — у отца кто-то спросил, как он относится к коммунистам. Он ответил, что к ним никаких теплых чувств не испытывает, но вот Пугачев ему нравится. Меня это заинтересовало, и я спросил у отца, кто такой Пугачев, и он объяснил мне, что тот был вроде австралийского бушрейнджера Неда Келли во времена Екатерины Великой». Тут надо пояснить, что бушрейнджеры — это австралийские лесные разбойники, которые, как Робин Гуд, грабили богатых и помогали бедным. По крайней мере, такими их рисует австралийский фольклор.

Помогало завоевать доверие не только острое словцо, но и соседство, совместный труд, перераставший в дружбу. Маргарет, дочь Виселенского, пишет: «Мы всегда знали, что отец родился в России, но в этом не было ничего особенного. Мы не чувствовали, что в Ред Клифе мы были в чем-то отличными от других. Что касается отношений отца с местными жителями, так мы сами и были местными жителями. Все поселились на этих участках примерно в одно время, все имели разное происхождение, а связывало их между собой то, что все они были фронтовиками». Это именно то ощущение пионерства на земле, о котором мы уже говорили. Но связывала их с австралийцами и принадлежность к племени анзаков. Маргарет помнит, как отмечали в их поселке День Анзака 25 апреля: «Это был особенный день. В Мельбурн шли специальные поезда, и почти все мужчины из нашего поселка отправлялись туда, чтобы пройти с парадом по городу и встретиться со своими товарищами... Мы не могли дождаться возвращения отца, т. к. его сумка всегда была полна игрушек и всего такого для нас, детей». А еще Маргарет вспоминает, что родители зачастую проводили вечера с соседями, собираясь друг у друга, играя в карты и общаясь. В один из таких вечеров сгорел их дом, и Виселенские остались в чем стояли. На помощь им тут же пришли и соседи, и Лига фронтовиков — собрали деньги и отстроили дом.

Наши анзаки, ежедневно общаясь с окружающими их австралийцами, по крупицам нарабатывали тот невидимый слой доверия и уважения, который постепенно изменял общественное мнение и делал австралийцев более терпимыми к иммигрантам. Иногда, впрочем, это становилось очевидным только на их похоронах. «Отец был бы поражен количеством людей, пришедших на его похороны, — рассказывает Берил, дочь Александра Майко. — Он не представлял, как много людей его знали и любили». Точно так же дочери Устина Гловацкого запомнилось, как их многочисленные соседи на похоронах отца говорили: «Другого такого джентльмена никогда не будет».

Детям и внукам наших анзаков, не привыкшим говорить возвышенными словами, с трудом удается передать мне — человеку из другой страны и из другого

времени, — что значило «тогда» быть австралийским анзаком. Лишь однажды Леон, рассказывая мне о своем отце, Фавсте Леошкевиче, разговорился и произнес целую тираду о различиях между тогдашними и нынешними людьми. «Мой отец был настоящий австралиец — не такой, как сегодняшние австралийцы. Мне сегодняшние и самому не по нраву. Он был австралийцем старой закалки. Вы знаете их идеалы: честность и справедливость, да, он был таким настоящим старым диггером (фронтовиком). И он не был пустозвоном — вы понимаете, что я имею в виду? Это очень трудно объяснить тем, кто не общался с ними, кто не жил рядом со старыми солдатами. У них было совсем особое отношение ко всему. Вот диггеры Второй мировой войны — они были такими же, но после этого в нашем обществе все покатилось вниз. Эти идеалы честности и справедливости — мы по ним уже больше не живем. Теперь очень трудно говорить с людьми: все, что их интересует, — это деньги, успех и россказни о том, какие они замечательные люди... Мне вчера исполнилось семьдесят лет. Я все еще помню тех, настоящих людей, и не думаю, что среднего молодого человека нашего времени можно назвать настоящим человеком».

То, о чем говорил Леон, не было различием между русскими и австралийцами, это было различие между австралийцами и австралийцами. Для наших анзаков ассимиляция состояла не просто в отказе от их родного языка, обычаев или религии и в замене их австралийскими реалиями. На фронте они, как и их австралийские товарищи, превратились в диггеров — а в это слово, как и мы в слово «фронтовик», австралийцы вкладывают особый смысл. В этом они и их австралийские товарищи были равны, и те, и другие стали настоящими австралийцами именно на фронте, и остальные иммигранты были им не чета. И кочуя по стране в поисках заработка в трудные послевоенные годы, российские анзаки носили в кармане на груди свидетельство об увольнении из армии, а не свидетельство о натурализации. Разве не доказали они верность Австралии кровью на поле боя?

Вторая мировая

Но пришел день, когда Австралия снова напомнила им, что они все еще — чужаки. Вспоминает Маргарет, дочь Петра Виселенского: «Когда началась Вторая мировая война, отец вступил в Добровольческий корпус обороны, но к тому времени, когда Россия вступила в войну, отец не был натурализован. В один прекрасный день к нашей ферме подъехала новенькая машина. Поскольку мы жили в миле от главной дороги, это уже само по себе было событием. Из машины вышли три человека, взяли нашего отца и увезли. Мы, дети, были ошеломлены и перепуганы, когда мама сказала нам, что отца арестовала федеральная полиция, потому что он русский. Она понятия не имела, куда его повезли и когда мы снова его увидим. Как же нам было страшно! Они еще забрали его оружие — дробовик и ружье 303-го калибра, вещи, нужные в хозяйстве на такой ферме, как наша, — а также его форму добровольца корпуса обороны. Очевидно, все это они сочли подозрительным.

Нам пришлось вручную доить сто с чем-то коров дважды в день. У нас были доильные аппараты, но они работали на бензиновом моторе, а у мамы, как она ни старалась, не хватало сил, чтобы его завести!

Через день-другой отца привезли домой с формой и ружьями. Оказалось, что вмешалась Лига ветеранов, они подписали нужные бумаги и потребовали, чтобы его немедленно отпустили. Таким образом, он получил возможность вернуться домой. Тот факт, что он воевал за Австралию в Первой мировой войне и был в добровольном корпусе обороны во Второй мировой, а также то, что его сын теперь сражался в Австралийской армии на Тихом океане (если он вообще еще был жив), ничего не значили для федеральной полиции, но это был не пустой звук для Лиги ветеранов».

История Виселенского не была исключением. С началом войны статус ненатурализовавшихся анзаков, таких как Деонк, Гловацкий, Жабинский, опять стал камнем преткновения. Но вот сыну Александра Майко подозрительность властей сослужила добрую услугу. Когда в 1944 году восемнадцатилетний Франк подал заявление на вступление в авиавойска, от него потребовали подтверждения о натурализации его отца. Когда копия документа была, наконец, получена, Франка зачислили в авиаотряд, но он уже не успел попасть в последнюю группу, которую послали на фронт через Канаду. «Он очень жалел об этом, — вспоминает его сестра Берил, — но как знать, может быть, это спасло его жизнь!»

Кроме Виселенского еще двое из белорусских анзаков служили в Австралийской армии во Второй мировой войне. Самуилу Гунзбургу из Минска, родившемуся в самом конце XIX века, пришлось ждать чуть ли не до самого конца Первой мировой войны, прежде чем его приняли в армию, но на фронт он так и не попал — когда он тренировался, в лагере объявили перемирие. Макс Тортсан из Несвижа был натурой непоседливой; несмотря на молодость (он родился в конце 1890-х), он успел повоевать в Африке, где он жил с семьей, дважды вступал в Австралийскую армию в Первой мировой войне и дважды был судим военно-полевым судом за самовольные отлучки. Но когда началась Вторая мировая, он поспешил снова вступить в армию. В этой войне Тортсан и Гунзбург, как и Виселенский, прослужили по нескольку лет добровольцами в корпусе обороны, ведь Австралии в те годы грозило вторжение Японии, и каждый опытный ветеран был на счету.

Семью Гловацких война застала в Европе. Устин был эвакуирован из Варшавы незадолго до начала войны вместе с банком, где он работал, а Стефания с девочками Терезой и Ольгой в это время находилась в доме отдыха около Бреста и не успела вовремя выехать. В 1939 году они оказались на территории, занятой советскими войсками, которая вскоре была оккупирована немцами. Гестапо арестовывало Стефанию три раза: очевидно, были доносы о том, что она еврейка, хотя в действительности она была полькой. На случай ареста она с детьми придумала специальный язык жестов и научила дочерей, что в случае опасности они должны бежать в разные стороны (так было больше шансов, что хоть одна из них выживет); разбегаясь, знаками они договаривались, где встретятся. Трижды ей удавалось вырваться, и каждый раз она находила своих детей после многих испытаний. Их рассказы о пережитом настолько тяжелы, что я не решаюсь их воспроизвести. Упомяну лишь об одном случае, рассказанном мне Барбарой, младшей дочерью Стефании, родившейся уже после войны. «Как-то мать нашла на дороге убитую собаку. Она вырезала все мясо и приготовила суп для детей. Когда она вернулась назад, чтобы взять кости, от собаки уже ничего не осталось. Она горько сожалела, что не взяла сразу всю собаку». Так они и жили, и голод научил Стефанию и детей заниматься торговлей на черном рынке.

С приходом Советской Армии начались новые испытания. «Русские узнали, что мать говорит по-немецки, — рассказывает Барбара, — и ее стали посылать на немецкую территорию в разведку. Они отправляли туда красивых женщин, которые должны были ходить среди немецких солдат, предлагать им сигареты, заводить с ними знакомство и собирать сведения, которые нужны были советским войскам. Это было очень опасно. Некоторые женщины, которых отправили вместе с моей матерью, так никогда и не вернулись. Немцы не только насиловали таких женщин, но и убивали. У моей матери не было выбора, советские военные забрали ее детей и сказали: “Пока вы не вернетесь с информацией, вы их не увидите”». Стефания и на этот раз выжила. Вместе с советскими войсками они в конце концов добрались до Варшавы. «Мой отец все это время разыскивал ее, — рассказывает Барбара. — Красный Крест через британское посольство в Варшаве развесил объявления о розыске пани Гловацкой». По счастливому стечению обстоятельств британским консулом в Варшаве в это время оказался Франк Савери, родственника которого Устин вынес с поля боя в Галлиполи. Когда

Стефания с дочерьми была найдена, война уже кончилась, и ее в числе первых вывезли из Варшавы на немецком самолете. В Берлине ее встретил британский атташе, и их тут же переправили в Англию, где ждал Устин. Здесь, после шести лет разлуки, Устин наконец увидел своих дочерей-подростков, которых он оставил в Польше совсем детьми. Они пробыли вместе несколько месяцев. Стефания, которая ждала нового ребенка, хотела только одного — уехать как можно дальше от Европы. Они решили, что она с детьми первая поедет в Австралию, поскольку Устин все еще служил в британском флоте. Они не знали, что это еще не был конец их приключений и скоро им опять пригодится их язык жестов.

В поисках своей души

Наши анзаки были удивительным поколением, оказавшим огромное влияние на своих детей. Леон Леошкевич закончил свои воспоминания об отце, написанные по моей просьбе, словами: «Вот я все это написал и почувствовал, что даже сейчас, а мне уже стукнуло 70, мне не хватает отца. Это был удивительный человек. Он научил меня думать... Отец был одним из немногих, кого я по-настоящему уважаю и все еще стою в его тени».

Уроки, которые анзаки дали своим детям, совсем не простые. И здесь мы опять вернемся к истории семьи Гловацких.

Итак, в 1946 году беременная Стефания Гловацкая с дочерьми Терезой и Ольгой отправилась на корабле из разоренной войной Европы в Австралию. Устин взял для них билеты до северного Квинсленда, где когда-то купил участок земли. Он вскоре должен был окончить службу в Британском флоте и присоединиться к ним. Их дочь Барбара рассказывает: «Мама доехала до Фримантла и подумала: “О Боже, я хочу вернуться домой!” Корабль шел дальше, и из всего, что она видела, Сидней ей понравился больше всего. Кто-то на корабле ей сказал: “Если вы поплывете дальше на север, то это будет опять вроде Фримантла”. Тогда мама решила: “Лучше я выйду в Сиднее”. И вот они сошли в Сиднее с корабля, но их там, конечно, никто не встречал. Они дошли до Гайд-парка и прожили там две недели. Они не знали ни слова по-английски. Каждый раз, когда они видели полицейских, им казалось, что это гестапо, и они прятались. И тут у мамы начались роды, прямо около фонтана Арчибальда в Гайд-парке. Кто-то заметил, что маме плохо, и вызвал “скорую помощь” и они увезли ее в больницу. А Тереза и Ольга, еще совсем девчонки, когда увидели “скорую помощь” и полицию, спрятались в кустах, потому что все эти годы в оккупации мама говорила им, что если появляются мужчины в форме, надо бежать от них в разные стороны и прятаться. У них был специальный язык жестов, и они условились встретиться через несколько часов».

А тем временем в больнице у Стефании родилась Барбара — одна из последних детей наших анзаков. «Когда она пришла в себя, — продолжает Барбара, — начала плакать. Никто не мог понять, на каком языке она говорит. К ней позвали женщину из России, но та начала говорить с ней по-украински, и тут моя мама просто застыла, ведь это украинцы сдали ее в гестапо. Тогда украинка нашла польку. И полька уже выяснила, что она жила в парке около фонтана и там остались ее дети. И тогда полиция начала поиск ее дочерей. Они ловили их четыре дня — они были дикие, буквально дикие, их было не так-то просто взять. В конце концов, их все-таки поймали и привезли к матери. Но когда мой отец добрался до Сиднея несколько месяцев спустя, у нас уже был дом, сестры пошли в школу, а я лежала в коляске». Мать часто говорила им: «Я прошла всю войну и я никогда ничего не просила». Так же она никогда не будет просить ничего и в Австралии.

Барбара вспоминает свое детство: «Когда я была дома, мне было очень хорошо в нашей семье. А вот когда я была вне дома, я не хотела, чтобы кто-нибудь из моей семьи был со мной. Это было очень тяжело, потому что я жила в двух мирах; и я никогда не могла их примирить. Когда мой отец умер, мы переехали в новый дом — роскошный, красивый. В то время мать зарабатывала свой первый миллион, и

она не хотела, чтобы я приводила домой друзей. Отец всегда готов был пригласить домой всю округу, а мама не хотела, чтобы в доме был кто-то чужой. Она не ценила друзей. Хоть она и болтала, и смеялась, у нее в жизни была одна цель — сделать как можно больше денег, чтобы я получила самое лучшее образование, вообще все самое лучшее». В то время Стефания уже начала скупать жилье и сдавать его внаем. Она еще успеет сделать несколько миллионов, но никогда не откажется от приемов жестокой экономии, которые она выработала в послевоенном Сиднее, — например, в конце дня она отправлялась на рынок с детской коляской, подбирая там все, что осталось на прилавках, экономя таким образом деньги на еду.



Семья Гловацких в Австралии.

«Когда отец умер, — вспоминает Барбара, — все плакали. А когда мама умерла, все говорили: «Слава Богу!» И я подумала, что это несправедливо. На похоронах отца было столько людей, все было так помпезно! Он был анзаком, и к нам пришли из Лиги ветеранов, они оплатили похороны, развесили флаги, салют из ружей — всю эту атрибутику. Еще даже волынщик был, играл «Последний пост». И вот ты думаешь — да, он заслужил все это, да, он был хороший человек, да, он был добрый, да, он любил мою маму, да, да, да. Но дело в том, что если бы мы полагались только на отца, мы бы кончили в канаве, потому что всю нашу семью подняла мать».

Эта борьба двух миров все еще продолжается в сердце Барбары. «С такой “семейной историей” я не хочу принадлежать ни к одному народу. Я принадлежу сама себе. Мне претит любой национализм», — говорит она. Барбара успешно занимается бизнесом и работает учителем истории. После выхода на пенсию она собирается открыть курсы для матерей-одиночек, чтобы научить их, как добиться экономического успеха в жизни своими силами. И она никогда не выключает свой мобильник — ее ученики могут позвонить ей в любую минуту, если им нужна помощь.

Молчание, нежелание говорить о прошлом присутствует почти в каждой истории наших анзаков. Почему отцы не рассказывали детям о своем прошлом? Конечно, к этому не располагало время, когда слово «русский» вызывало подозрения и ассоциировалось со словом «большевик». Часто отцы не хотели, чтобы дети повторяли их опыт, оказавшись между двух миров, как об этом говорит

Барбара Гловацкая. Ее семья была редким исключением — дома они говорили по-русски и по-польски, и Барбара даже ходила в русскую школу в послевоенном Сиднее, и все еще хранит свой русский букварь. Но потом, вспоминает Барбара, когда в австралийской школе она упомянула, что дома они говорят по-польски, отношение к ней резко изменилось. Это был урок на всю жизнь.

Мы уже говорили о молчании Нормана Майера, дети которого не знали даже, где он родился. Он, как и многие наши анзаки, был образцом австралийской политики ассимиляции. Но что такое ассимиляция? Можно ли сказать, что ты ассимилировался, если ты внешне не отличаешься от окружающих и вырос вне связи с языком, религией и историей своих предков? Казалось бы — да. Да, если бы не наша непредсказуемая душа. Она живет по своим законам, и семя, дремавшее в ней годами, может дать неожиданные всходы.

Это и произошло в семье Майеров. Когда я познакомилась с Памелой Варрендер, дочерью Нормана, посетив ее в их фешенебельном доме в Тураке, один из первых ее вопросов был:

— Объясните мне, что такое русская душа? В молодости один журналист сказал мне, что у меня русская душа, и я все время думаю об этом.

— А разве Вы не чувствуете себя австралийкой?

— Нет, да и мои дети все еще ищут себя.

В 1989 году Памела побывала в Петербурге по приглашению мэра Собчака и недавно издала свои дневники, которые рассказывают о ее путешествии в прошлое. Внук Нормана Род Майер совершил путь в другом направлении, о котором он рассказывает в очерке «В поисках моей еврейской души»: «Все эти разговоры о поисках своих корней всегда казались мне чем-то искусственным, попыткой оправдать уход от реальной жизни в мир каких-то надуманных эмоций». Но после поездки на родину его предков с ним произошла необъяснимая перемена. «Однажды ночью я проснулся и сказал себе: “Я — еврей”. Это было не столько религиозное чувство, сколько обретение себя и своего места в этом мире». Такие путешествия идут наперекор представлениям западного общества об ассимиляции. Да и можно ли ассимилировать нашу непокорную душу? И нужно ли?

Такое же путешествие совершила и Берил, дочь Александра Майко. «Когда отец умирал в 1960 году, он попросил меня поддерживать связь с его родными в Беларуси и побывать там, если я смогу, — вспоминает она. — Я должна была поехать в СССР по Транссибирской железной дороге, и лучше всего весной, потому что это будет самое красивое время! Он говорил мне о нежно-зеленых листьях, о цветах... Такой завет выполнить мне было совсем не просто — ведь я в то время не знала русский язык, не знала, где находятся эти родственники, и была матерью троих детей — 8 лет, 6 лет и 1 год... У меня ушло 16 лет на то, чтобы выполнить это предсмертное пожелание отца... В 1972 году я начала учить русский язык, в 1973-м Красный Крест помог нам найти наших родственников в Беларуси, и мы начали с ними переписываться, и наконец, в 1976 году мы отправились в путешествие по Транссибирской железной дороге. Мы с мужем остановились в Минске в гостинице и побывали в гостях у наших родственников, живших в Минске».

Деревня Затитова Слобода, затерявшаяся среди лугов у реки Березины, и старый дом, откуда Александр Майко начал свое эпическое путешествие 65 лет назад, так и остались за пределами досягаемости для Берил — это были Брежневские времена, и власти, «к сожалению, не разрешили нам посетить деревню отца, — говорит Берил. — Я до сих пор жалею об этом». Но к ним пришел посланец из прошлого — Анна, любимая сестра Александра, единственный лучик света в его тяжелом детстве. Она все еще жила в Затитовой Слободе и отправилась в Минск, чтобы повидать свою племянницу. «Глаза у Анны были голубые, как у отца. Когда мы покидали Минск, она принесла нам копченый окорок своего изготовления, чтобы мы взяли его с собой». Это, должно быть, был весь

зимний запас мяса у Анны, но она, не колеблясь, привезла его из деревни, чтобы ее племянница не голодала на долгом пути в Австралию... Как много значила для Берил эта простая белорусская крестьянка! В тот день она записала в дневнике: «Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Встреча с родными моего отца — это было то, ради чего я работала, учила русский язык и о чем я мечтала долгие годы!» В другом месте она пишет: «Сидя там, в окружении родственников, я поняла слова “кровь не водица”. Это же чувство Берил испытала и несколько лет спустя, уже во времена перестройки, когда у них в Австралии побывали их родные из Беларуси. Это были люди другого времени, не похожие на Анну и ее отца, но они все знали самое главное — каков бы ты ни был, ты принадлежишь семье. Как и родине.



Встреча Берил и Анны в Минске.

Я не удивилась, узнав недавно, что один из молодых членов их семьи хочет восстановить правильную форму их фамилии — Майко, ведь в Австралии их фамилию превратили в Майк.

А поиск продолжается. Леон Леошкевич на свою крохотную пенсию заказал дорогостоящие документы из Военно-исторического архива в Москве и наконец-то узнал о героических подвигах своего деда полковника Павла Илларионовича Леошкевича в боях под Шипкой в армии Скобелева.

Пока я работала над очерком, произошло и радостное воссоединение российских Рынкевичей, прочитавших о моем поиске в Интернете, с их австралийскими родственниками. После отъезда Осипа в Австралию его брат Исидор поддерживал с ним переписку, но в 1930-х годах ее пришлось прекратить. Увы, это не спасло Исидора, в 1938 году его арестовали и расстреляли как... латвийского шпиона, ведь его родина (Режица/Резекне) в то время оказалась на территории буржуазной Латвии. Но закончим мы эту историю на радостной ноте. Когда Валентин Осипович Рынкевич, человек пожилой и почти ослепший, узнал, что в далекой Сибири живут его двоюродный брат, сын расстрелянного Исидора, и куча племянников, его первым желанием было тут же отправиться к ним в гости. Вскоре его дочь и внучка побывали в гостях у сибирских Рынкевичей, и один из тысяч мостов, разрушенных «веком-волкодавом», наконец-то восстановился.

А семьи Петра Виселенского и Вильяма Деонка все еще ждут и надеются найти своих родных в далекой Беларуси, узнать о своих истоках...

Искусство суждения

Анатолий АНДРЕЕВ

Оправдание перед историей, или На круги своя

Размышления над книгой Бориса Бартфельда «Возвращение на Голгофу»

1

Я убежден, что хорошая проза начинается с плотности смысла, а плотность смысла определяется его экзистенциальной направленностью. Иными словами, хороший писатель всегда пишет о самом главном в жизни, о том, что связано с жизнью и смертью (следовательно, с любовью, свободой, истиной, историей).

Держу в руках книгу Бориса Бартфельда «Возвращение на Голгофу» (М.: Издательство Э, 2016). Кручу ее так и сяк, заглядываю в оглавление, цепляюсь взглядом за оформление, пролистываю — словом, настраиваюсь на чтение. Подбираю к книге ключик.

А подобрать ключик, с моей точки зрения, — значит нащупать точку отсчета, которая задает необходимую плотность смысла.

Для начала — мне нравится название: оно источает важнейшие для человека смыслы. Возвращение на Голгофу — глубокая смысловая метафора. Высокая нота, с которой начинается повествование.

Это не просто хорошо или правильно (хотя, безусловно, и то, и другое); самое главное заключается в том, что автор с самого начала открыто соотносит свое творчество с художественной традицией, для которой «смысл» и «проза» — понятия нераздельные, для которой смысл является способом (инструментом) раскрытия природы прозы.

Это важный культурный маркер. Согласитесь: одно дело назвать свой опус «Война и мир» или «Преступление и наказание» («Возвращение на Голгофу» по отношению к культу смысла стоит в этом ряду) и совсем другое — «Промельк чулка». Как говорится, почувствуйте разницу.

Начинаю читать, держа в уме, что калининградец Борис Бартфельд — замечательный поэт «балтийского розлива», если так можно выразиться. Эту русскую «балтийскость» на прусской почве легче почувствовать, нежели сформулировать. Но в данном случае важна не формулировка, а способность поэта передавать непередаваемое — верный признак литературного таланта.

Смысл плюс поэтический дар: достаточно ли этого для хорошей книги прозы? Вполне тянет на интригу.

Чем дальше читаю («восхожу»), тем больше обращаюсь к вопросу, который возник у меня еще в то время, когда я «крутил» книгу в руках. Книга, достаточно объемный прозаический опус (345 с.), нигде не названа романом. Почему?

Да потому, что это действительно не роман, который непременно «завязан» на героя, активно переживающего смену ценностных ориентаций; сюжет поддерживает такого рода смену, мотивирует ее, и динамика жанра романа так или иначе связана с внутренними приключениями персонажа (духовным ростом, если угодно). В книге есть сквозные герои, даже мотивы, даже главный герой имеется,

Орловцев Николай Николаевич, со своей вполне содержательной внутренней жизнью, однако эти романные обстоятельства отчего-то не превращают книгу в роман. Отчего же?

Концепция человека в книге Бориса Бартфельда — особая. Не романная.

Существует выражение: все мы под Богом ходим. В «Возвращении на Голгофу» эта истина несколько переиначена: все мы ходим под Историей, полагает автор. Человек существует как исторический человек: с одной стороны, он как бы и создает историю, а с другой — он всегда жертва роковых исторических обстоятельств. Как бы то ни было, человек не хозяин Истории, не властелин, нет; история дает человеку шанс, а не человек — Истории. В книге Бартфельда один из трагических (и одновременно жалких) творцов Голгофы русский генерал Ренненкампф по воле автора задается следующими вопросами: «Больше всего его беспокоила ответственность перед будущим, перед памятью, которая останется о нем в истории. Тщеславие бурлило в нем. Что напишут о нем? То, что имя его будет вписано в мировую историю, он не сомневался. Но в каком качестве? Неудачника, упустившего свой великий шанс? Перед будущим он беспомощен: тут ни уловками, ни интригами ничего не изменишь. *Будет ли у него возможность оправдаться перед историей?* (курсив мой. — *А. А.*)».

Одно дело просто жить своей жизнью, ни на что не претендуя, и совсем иное ощущать себя при этом персонажем истории. Что меняется? Появляется чувство ответственности — уже не за себя и за семью, а за правильно прожитую жизнь. За осознанное распоряжение отпущенным тебе временем.

Ответственность перед Историей, которая обожает ставить перед выбором, а затем строго спрашивает (не подсказывая, как угадать судьбоносное решение), становится идейным лейтмотивом книги. Об этом так или иначе рассуждают все герои книги — и реальные исторические фигуры, командующие армиями, и вымышленные простые солдаты.

Поступь Истории — вот что определяет нерв книги, ее ауру и структуру.

Именно поэтому в центре внимания автора оказались обе мировые войны, причудливо связанные метафизическим сюжетом: начатое в Первой мировой заканчивается во Второй мировой — положив начало тому, что неизвестно когда закончится.

Причем автор ничего не придумал — он разглядел в истории некую «случайную», на первый взгляд, комбинацию, перекличку, рифмовку событий, которая впечатляет сама по себе, не может не наводить на размышления.

Первая и Вторая мировые войны, литовская Кальвария и события, связанные с этим реально существующим населенным пунктом, объединены образом Николая Орловцева. Он доверительно делится со своим старинным приятелем генерал-полковником, начальником штаба фронта Покровским (действие происходит в 1944 году; кстати, Покровский — реальная историческая фигура): «Я ведь, Александр Петрович, и прошлую войну как раз с Кальварии начинал. Это Голгофа по-латыни… Вот мы и взошли тогда в четырнадцатом году на свою Голгофу, а теперь, через тридцать лет, снова восходим на нее. И нет у нас никакого права ошибаться».

Орловцев выполняет важнейшие функции — и литературные, и метафизические, и исторические, и моральные. «И теперь та давняя поездка в небольшой городок представлялась Орловцеву как начало восхождения на Голгофу, начало трагического пути не только Орловцева, его друзей, армейских офицеров, но и всей великой русской Державы. Тем более что название Кальвария, та географическая точка на карте, с которой для них началась великая война, она и есть по-латыни — Calvaria — Голгофа. И взошли они на ту Голгофу, и претерпели великие мучения, и много жизней положили, а страну не спасли. Воскрешения не случилось». Орловцев «уверовал, что будет еще момент, когда они снова поднимутся на свою Голгофу и вновь повторят тот путь, на этот раз победный, от границ Восточной Пруссии к Кенигсбергу и дальше — к Берлину. И победа эта

возродит их Родину. Что лежало в основе его веры, точный расчет или проявление душевной боли, — Орловцев не знал. Но он не удивился, когда ожидания его стали сбываться».

Голгофа, воскрешение, путь России, логика добра и зла в истории — это та самая аура книги. Что касается структуры, то книга состоит из 23 глав, каждая из которых имеет точное хронологическое обозначение: «Октябрь 1944 года»; «Август 1914 года»; «18—19 августа 1914 года»; «20 августа 1914 года». И так далее. Таким образом, совмещение временных пластов (с помощью вездесущего «посланца времени» Орловцева), фокусировка на определенном временном промежутке и конкретном месте — это локализация того безграничного сакрального действа, которое обозначено в книге как «воскрешение».

Итог (и одновременно начало) воскрешения — это великая Победа. Но у каждой победы есть своя цена. Цена победы входит в понятие воскрешения.

Благодаря фрагментарной композиции книги автор «развязал себе руки», избавившись от сюжетного диктата, и получил художественное право привлекать любой материал, который посчитал необходимым. Творить иллюзию объективной реальности стало делом литературной техники.

2

Борис Бартфельд в своем художественном исследовании «возможностей истории» следует букве и духу прошлого. Он поднял огромный исторический пласт, проработал гигантский исторический материал, и порой возникает ощущение, что автор безо всякого усилия погружается в предлагаемые обстоятельства, собственно, живет в них, настолько органично проникся он духом сразу трех эпох, одна из которых фокусируется вокруг 1914 года, другая — 1944 года и третья — 2016 года. Без необходимости писатель ничего не выдумывает: автору важно донести до читателя мысль, что реальность невероятна настолько, что нет необходимости искажать ее с помощью воображения.

И все же перед нами не реконструкция истории, а философия истории, попытка через единичное и случайное постигнуть закономерное. Этим и определяются жанр книги и ее «художественная технология».

Жанр романа «слишком многое» позволяет (и слишком многое прощает, кстати) человеку, делая его венцом творения уже фактом отношения к нему как к центру мироздания. Бартфельд создал не роман. Я бы назвал предложенный им гибридный жанр исторической повестью (или повестью-эпопеей: к этому определению мы еще вернемся). Историческим — но повествованием. Художественными — однако же хрониками. Здесь человеку отводится строго определенное, историческое место. Он выполняет то ли миссию, то ли функцию — так или иначе задание, за которое потом с него сурово спросят, а ему придется отвечать. В художественном мире Бартфельда не забалуешь.

И смерть в его повествовании безжалостно стоит на страже жизни, своеобразно «гарантируя» продолжение истории. В «Возвращении на Голгофу» есть потрясающая, наполненная игрой символов сцена, где обнаженная беременная вдова отчаянно танцует вокруг головы обезглавленного мужа. Ее зовут Маргарита. Его — Марк. Библейские и булгаковские аллюзии придают этой исключительной в сдержанном по общему тону повествовании сцене колорит экспрессионизма. Что ж, мировая война (читай — апокалипсис) и экспрессионизм — две вещи нераздельные.

Еще в связи с темой смерти. Заканчивается повесть таким пассажем: «Полк уходил все дальше на запад, туда, где белесое небо сливалось с еще более белой землей. Тяжелые машины ревели далеко впереди. А перед Ефимом бежали лошади, весело размахивая хвостами, и жеребенок на длинных, упругих ногах радостно ржал и скакал по январскому снегу». (Отметим, что приведенный отрывок

роскошно аранжирован поэтическими средствами: звукопись, ритмика, образы неба, земли, машин, лошадей призваны воздействовать на сознание читателя повести-эпопеи. Фактически повесть заканчивается на ноте поэтической: в этом заключен большой прозаический смысл.)

Кобыла Майка, мать «радостного» жеребенка, была убита тем же невесть откуда — случайно! — залетевшим снарядом, что и комбат Марк Каневский, без пяти минут счастливый папаша.

И еще о смерти. Писатель любит людей с историями, он стремится осветить прошлое почти каждого персонажа, изображаемого «здесь и сейчас». Один из персонажей повести, у которого есть своя собственная история, — угрюмый сирота Иосиф, несчастный тезка отца народов — осознанно выбирает смерть, но не для того, чтобы решить свои проблемы, а с целью дать возможность выжить сестренке. Дело в том, что родители Иосифа, близко знавшие Кобу, нарекли первенца в честь товарища Сталина, который безжалостно расстрелял их как свидетелей чего-то личного. Смерть приходит к человеку (в данном случае к Иосифу) как историческая смерть, как совокупность причин. Не как случайность, хотя, казалось бы, где как не на войне разгуляться Его Величеству Случаю.

По сути, Вождь здесь ни плохой, ни хороший. Он лишен моральных характеристик, превратившись во всепроникающую неизбежность, в исторический императив. Иосиф-младший не может изгнать Его из себя. Вождь уподобляется скелету, который нельзя вытащить из тела, — нельзя избавиться от этой «основательной» (лежащей в основе) зависимости. Страшен не Вождь, страшно то, что Он внутри нас, намертво в нас — и в радости, и в горе.

Так или иначе Иосиф гибнет, имитируя «случайный» подрыв на мине, во имя жизни. Своим исчезновением он пытается отвести угрозу от сестры.

И таких примеров, когда смерть попирает смерть, в повести предостаточно. Самое место вспомнить, что начиналось повествование массовой гибелью лошадей, поэтически впечатляющим образом смерти. Конец у повести поэтически жизнеутверждающий.

Возвращение. На круги своя. Метафора «возвращение на Голгофу» становится всеобъемлющей: жизнь есть возвращение, а возвращение для мыслящего существа всегда в той или иной степени становится возвращением на Голгофу. Голгофа включается в состав жизни.

Вот он, тот самый искомый «плотный смысл», с которого начинается и которым заканчивается всякая заслуживающая внимания проза.

Вы можете сто раз не соглашаться с автором, однако невозможно не согласиться, что ему удалось создать иллюзию объективного (многомерного, объемного) течения жизни, в лучших традициях реализма. Вопреки широко распространенному заблуждению, это дано немногим.

Разумеется, при желании жанр исторической повести можно объявить «недороманом», самого автора упрекнуть в неумении справиться с крупной формой. У Бартфельда, дескать, хвост виляет собакой: не сюжет управляет временем, а время — событиями (которые складываются в рыхлое подобие сюжета).

Где четко выстроенная система персонажей? Где продуманные сюжетные линии? Полифонические системы мотивов? Всякие хитроумные романные «скрепы»?

Все эти претензии были бы сколько-нибудь оправданы, если относиться к «Возвращению на Голгофу» как к классическому роману. Но это, повторим, не роман, хотя и романное мышление, и романная техника (всякого рода скрепы-переклички) в повести присутствуют. Но главное не в этом. Главное в том, что творение писателя состоялось как некий масштабный пазл, супертекст, состоящий из макро- и микроуровней. Из отрывков рефлексий, бытовых сценок, пейзажей, сводок и информационных бюллетеней, геополитических зарисовок, тонких психологических этюдов, эскизных наблюдений за жизнью животных и насекомых — из всего этого добра, изо всех этих, казалось бы, не связанных

друг с другом осколков вселенской мозаики складывается полотно, обладающее энергетикой убедительности.

Но осколки (фрагменты) не могут существовать сами по себе, их должно объединять какое-то общее начало (это закон художественности). И в качестве такого начала выступает авторское отношение.

Автор не лжет в чем-то главном. В чем же?

А в том, что к жизни человека непременно надо прикладывать мерку Вечности. То бишь Истории. Иначе человек так и не становится человеком. Он существует, живет одним днем. Как животное. Бартфельд против подобного возвращения. Это хорошо видно на примере таких персонажей, как дешевый циник Романенко, девиз которого «война все спишет» и «после нас хоть потоп». Война, согласно автору, для того и существует, чтобы люди становились людьми, а не превращались в животных. «Гуманистический потенциал» страшной, нечеловеческой войны тем не менее проглядывает почти в каждом фрагменте.

Невидимая скрепа авторского отношения (стремление называть вещи своими именами, не поступаясь при этом высшей правдой, — что есть уже собственно романный дар!), строго говоря, виден в каждом фрагменте повести. Надо только увидеть.

Заканчивая разговор о возможностях романной/нероманной организации материала, позволим себе реплику, адресованную очень-очень продвинутым в литературном отношении читателям. Кто укажет сегодня на канонические признаки романного дискурса? Они размыты, и размытость их сегодня воспринимается едва ли не в качестве еще одного канонического признака.

Ergo: если бы Бартфельд назвал свой опус романом, никто бы ничего не заподозрил. По «одежке» — это вполне себе роман.

А по мне так хорошо, что автор настолько щепетильно отнесся к такому пустячку, как жанровая маркировка. Бережное отношение к ужасно важным мелочам — это ведь тоже один из смыслов «Возвращения на Голгофу».

Возвратимся к магистральным смыслам повествования. История у Бартфельда *не подменяет* Бога; она, скорее, становится одним из проявлений сакрального, которое сопутствует каждому шагу, любому душевному движению человека. Автор сумел выстроить повествование таким образом, что самое случайное, происходящее с героями, перестает восприниматься как случайное. Случайность как категория изымается из жизни человека исторического, превращаясь в элемент суровой необходимости. И это не отвлеченный постулат, а художественный принцип.

В этой связи любопытно присмотреться к истории любви Орловцева и Веры. Если не воспринимать их необъяснимый взаимный порыв притяжения как нечто предопределенное, счастливо угаданное целомудренными мужчиной и женщиной, то их стремительное сближение может показаться фальшивым и надуманным. Случайным и немотивированным. Любовь как «солнечный удар», как мощная неодолимая стихия (а это уже целая философия) в исполнении Бунина, например, выглядит убедительно за счет детализации, за счет эффекта «остановленного времени». Любовь — это разовая, кратковременная вспышка, испепеляющая человека дотла. Все. Жить дальше не имеет смысла.

У Бартфельда любовь — это раз и навсегда. Автор не останавливает время (историю), он дает шанс героям осуществиться в истории, стать «веществом истории», если так можно выразиться. История состоит из плоти, крови, ненависти и любви. Именно поэтому в повествовании, структурированном как строгие хроники, в изобилии представлены страсти и эмоции. Словно в противовес бесстрастной логике истории.

Неслучайность «случайного» влечения Орловцева и Веры становится особенно очевидной на фоне еще одной любовной истории — молниеносной любви матерого фельдфебеля Курта Матцигкайта к овдовевшей Франциске, оставшейся с дочерью на руках. Это уже немецкая блиц-история, которая не менее пронзительна, нежели русская.

Конечно, там, где свирепствует Танатос, — там же резвится и Эрос (в повести, кстати, присутствует не только романтическая, но и натуралистическая, извращенно-жестокая версия взаимодействия этих полюсов, раздирающих человека). Все так. И все же дело, по автору, не в Эросе и Танатосе как таковых, не в природе человека, а в том, что сама природа человека подчинена Истории. Каким же это образом?

Спросите у Истории. Или не задавайте лишних вопросов всуе.

Но один вопрос (в котором, словно в матрешке, гнездится множество иных вопросов) задать все же хочется. Случайно ли Борис Бартфельд, уроженец Калиниградской области, отец которого девятнадцатилетним сержантом освобождал Восточную Пруссию от фашистов (воевал ровно в тех местах, что описаны в книге!), участвовал в штурме Кенигсберга, за что получил медаль «За отвагу» (уж не с отца ли списан образ девятнадцатилетнего сержанта-связиста Ефима, чрезвычайно колоритного и запоминающегося?), — случайно ли писатель взялся за тему Голгофы-Кальварии? Не сквозит ли и здесь тема личных отношений с Историей?

Что наша жизнь — История?

3

Философия истории интересует Бартфельда более, нежели природа человека, хотя нельзя сказать, что природа человека его не интересует.

Здесь вопрос в следующем: что считать фоновой, а что главной художественной идеей повести — философию истории или природу человека?

Мне представляется, природа человека интересует автора как следствие, но не как причина. Для повести-эпопеи наличие философии истории приоритетно; для романа приоритетно исследование природы человека.

В таком случае зададимся вопросом: что мешает назвать «Возвращение на Голгофу» эпическим полотном?

Казалось бы, ничто не мешает. Это именно эпическое полотно, согласно всем формальным признакам. Народ, историческая битва, значимость событий для национальной истории, философия истории, наконец, — все присутствует. Тема народа, если без нее никак не обойтись, присутствует во множестве образов, самый ярких из которых, безусловно, Колька Чивиков, «расторопный молодой мужик из Брянской области». Он выступает ни больше ни меньше носителем всего «положительно прекрасного», что есть в народе. В связке с Орловцевым, дворянином по происхождению, получается классическая (чтобы не сказать толстовская) комбинация: социальные верхи и низы, дореволюционные и послереволюционные, в едином духовном порыве наваливаются на врага, что, собственно, и обеспечивает победу.

Все так. И все же какого-то элемента эпичности не хватает. Невозможно без натяжек считать произведение Бартфельда романом; но это же произведение сопротивляется и жесткому определению «эпопея». Какого элемента эпичности не хватает?

Настораживает точка отсчета. Смущает стремление обнаружить узкое горлышко истории, укротить историческую бесконечность и тем самым дать шанс реализоваться тому самому сослагательному наклонению. В результате появляется какой-то частный, приватный взгляд на историю. Один человек или одно событие потенциально могут повернуть ход истории в иное русло! Просто дух захватывает. Так это или не так — вопрос открытый, но в результате такого допущения история резко приближается к человеку, открывая тому свои возможности (в том числе художественные). Этот трюк годится для романа или повести, а вот для эпопеи необходима объективная, многомерная картина, корни которой —

в совокупности глобальных причин, «в совокупности факторов». Автору бы спрятаться за гору факторов, что ли. Но автор демонстративно выше этого.

В повести есть забавный аргумент в пользу объективности (или субъективности?) истории. Орловцев провел параллель между Вильгельмом и Гитлером, обратив внимание на сухорукость обоих. Затем «ужаснулся, внезапно осознав, что и Сталин сухорук. Получалось, что главные участники обеих войн ущербны — сухоруки и с неуемным стремлением к власти».

Это что: знаковое проявление тайной сути или случайность?

В эпопее человек выступает объектом истории, хотя иногда стремится быть ее субъектом. Поэтически это выражено в стихотворении убитого в Первую мировую в Кальварии брата Николая Орловцева, Юрия:

Высшие силы вершат
Судьбы русской земли.

В повести формально происходит то же самое, но по сути автор имитирует объективность: слишком много страсти, слишком много мировоззренчески личного выплескивает он на страницы книги. Человек в его картине мира слишком близко подпущен к «рычагам управления» Историей, кажется, вот-вот — и ход истории можно изменить.

Это захватывающий, но все же поэтический взгляд на историю.

Тайные мотивы поведения Николая Орловцева определяются следующим обстоятельством. Изучая историю Первой мировой войны, в частности, эпизоды, связанные с Кальварией, Орловцев (в годы Великой Отечественной имевший прозвище Штабной: по функциям своим он напоминал теневого бога войны) пришел к выводу, что именно здесь имел место момент истины. Если бы русские войска (дивизия плюс корпус) довели до конца стихийно зародившуюся контратаку, то этого хватило бы русской армии, чтобы отбросить немцев за Вислу. «Никакой Людендорф и Гиндебург уже не смогли бы остановить лавину русской армии». На реплику собеседника «дивизии не решают исход мировых войн, тут действуют другие силы» Орловцев возражает: «Дивизия судьбу мировой войны, конечно, не решает, но опрокинуть костяшку домино может».

Иначе говоря — все же решает. Высшие силы вершат — а отдельный человек вмешивается. Генерал Епанчин решился контратаковать, и судьбоносная атака началась. Но в этот момент к Епанчину приехал сам командующий армией Ренненкампф. «Его трясла настоящая нервная истерика. Он плакал на груди Епанчина, совершенно потеряв самообладание». Епанчин смалодушничал — отдал приказ остановить преследование отступающего в панике врага. Эх, если бы…

«Если бы они знали, если бы они только знали тогда, что этот радостный вечер, покойная ночь с 20 на 21 августа и завтрашний день могли решить судьбу двадцатого века, судьбу мира, судьбу России, судьбу каждого из них». И Штабной, подчиняясь непосредственно Покровскому, практически в одиночку (словно сводя личные счеты с историей) завершает разработку плана взятия Инстербурга (ныне Черняховск), судьбоносного для него города, где случилась его любовь и его личная Голгофа. И наступление началось. В этот момент Орловцев умирает, выполнив свое предназначение, свой долг. Умирает во сне, где он так часто видел Инстербург 1914 года.

Но Победа, как мы знаем, была достигнута. Воскрешение состоялось.

Нет смысла спорить, насколько все это объективно; гораздо важнее то, что благодаря идее воскрешения состоялась книга.

Поэтическая версия эпопеи — вот что наиболее точно передает характер эпопейности «Возвращения на Голгофу». И упрекать в этом автора, право слово, как-то некорректно. Лев Толстой, в конце концов, тоже был весьма субъективен в своем эпосе, хотя это не помешало ему сотворить эпос эпосов.

Кстати, поэтическое начало в повести нет-нет да и проявляет себя во всей красе. Давайте полюбуемся. 1914 год. «Перед его глазами подрагивала прозрач-

ная паутинка, искусно сплетенная между двумя сучками березы пауком, спрятавшимся до времени среди неровностей древесной коры. Большая, блестящая, будто перламутровая, муха ползала по стволу березы рядом с паутиной (…). Неожиданно мерное трепетание ее крыльев прервалось и сменилось резким, паническим жужжанием». Муха, увы, легкомысленно попалась в сеть паука.

1944 год. «Серебряное кружево паутины, растянутое между двумя веточками сосенки, сверкало на солнце алмазными капельками росы и едва подрагивало перед его глазами. Сбоку в ожидании добычи затаился паук». «Как будто все это с ним уже происходило. Словно подтверждая это, небольшая муха подлетела к пауку. Но вместо того, чтобы запутаться в растянутой паутине, она бесцеремонно уселась на его спину, стала теребить его лапками и хоботком, будто что-то засовывала в тело паука, вдруг ставшего беспомощным. Орловцев рассмеялся. Оказывается, есть способ, как расправиться с паучьим племенем, избегая расставленных сетей, умом и силой навязывая злодеям свою волю. Да, умом и силой!»

Ум и сила: это ли не вызов самой Истории!

Бартфельд, слава богу, не скатывается к фатализму. Он верит в человека.

И потому решительно обрекает своих героев на Голгофу.

4

Книга прочитана. Что мы имеем в сухом остатке?

Во-первых, книга состоялась. С чем мы от души поздравим автора.

Во-вторых, необычайная плотность смысла стала характеристикой книги в целом. Идеи не разбрасываются горстями (авось каждый найдет свое и закроет глаза на то, что ему неинтересно), а вплетаются в ткань повествования замысловатыми узорами. От узора — к узору: автор упрямо воплощает свой замысел, и он рискует, конечно, но игра стоит свеч. Книга приносит катарсис, то есть состояние, которое является послевкусием роскоши человеческого общения.

Именно так: роскошь общения обеспечивается плотностью смысла.

В-третьих, особо хочется отметить культуру письма весьма высокого (по меркам сегодняшнего дня) уровня. Гибкий синтаксис, причудливые интонации, выразительные метафоры — и все это поддерживается грамотностью. И это не пустячок, а соответствие заявленной культурной планке.

Конечно, такого рода книги, трактующие роль случая в истории, не случайно становятся культурным событием. Проза как культурное событие начинается с концепции. Читателям такие книги просто необходимы, ибо: если время от времени не погружаться в историю, теряешь вкус к современности. Теряешь вкус к роскоши человеческого общения.

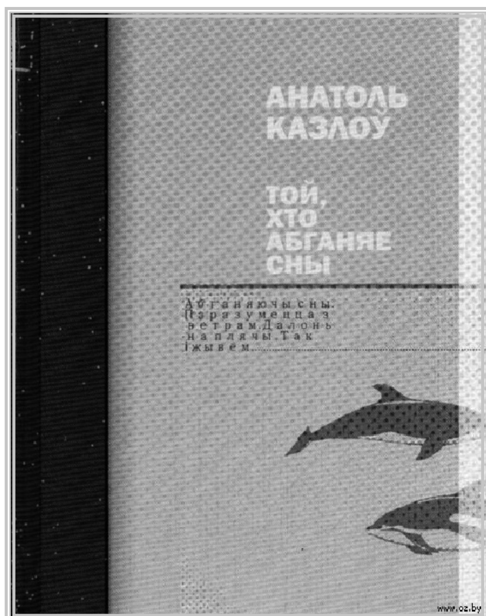
Собственно, теряешь себя.

Спасибо Борису Бартфельду, который напомнил каждому о его Голгофе и о «костяшке домино». Это держит в тонусе. Строго говоря, главная задача литературы в том и заключается, чтобы помогать человеку держать себя в тонусе.



С точки зрения рецензента

Проза жизни



Проблема противоречивых, неоднозначных взаимоотношений мужчины и женщины, внутренней дисгармонии и эмоционально-психологической разобщенности нашла свое отражение в повестях Анатоля Козлова, творчество которого хорошо знакомо читателям актуализацией морально-нравственной составляющей индивидуального сознания, мировоззренческих установок человека, его поведенческих моделей.

Нередко причиной кризисных ситуаций во взаимоотношениях двух становится факт обычной банальной измены. В повести «Так і жывём» (Той, хто абганяе сны: аповесці / Анатоль Казлоў; Мінск: Мастацкая літаратура, 2014) художественно воплощена модель современной семьи, в которой доминируют свободные отношения, без регистрации брака, без детей, без взаимных обязательств, то есть своеобразный союз незавершенного мужчины и незавершенной женщины, означающий «удвоение их слабостей. Они объединяются на основе своих недостатков, а не потому, что любят друг друга и ощущают полноту жизни» (Дарио Салас Соммер). Отношения пары изначально выстроены на взаимной симпатии, но не более того; она живет ожиданием чего-то нового в своей судьбе, а он, подчиняясь влиянию приятеля, изрядно подкрепившись алкоголем, проводит свободное время в гараже в компании легкодоступных девиц. Банальность столь распространенной жизненной ситуации, примитивность такого времяпрепровождения вызывают у героя чувство безразличия: «Перад унутраным зрокам мільгацелі эпізоды-карцінкі мінулага дня: Рудзька і яго гараж, імправізаваны столік з півам і ежай, дзве дзяўчыны, якіх яны з Рудзькам прывезлі ў гаражныя апартаменты, хіхіканне, цыгарэтны дым, самагонка без смаку. Усё — як у танным і дрэнным фільме, які здымаўся хуткай рукою невядомага аператара на закінутым гарышчы напаўразваленага барака. Але дзіўна — ніякай брыдкасці ад пражытага дня Пятрок не адчуваў. Было тое, што было, і ўсё».

Героиня поначалу испытывает некое эмоциональное воодушевление от предстоящих отношений с первым встречным, на которые сама же себя и вдохновила, желая помочь подруге (и не только ей), страдающей от измены мужа, предложив ей универсальный рецепт устранения подобных проблем: «Сёння мы з табою падчэпім класных малайцоў. Ты ж ведаеш, што клін клінам выбіваецца. На разавую здраду ты дзясятак разоў тым жа адкажы». Одна-

ко все эти спонтанные телесные утехи вызывают душевное разочарование и чувство брезгливости, универсальный рецепт не сработал.

Взаимная ложь, вызывающая чувство неловкости и усугубляющая отчужденность друг от друга, все же приемлема для обоих, ведь она, с их точки зрения, стала нормой жизни для большинства, так живут все, осознание подобной ситуации несколько успокаивает и примиряет, вот только ради чего: «А ўрэшце, усе мы, людзі, такія. Сатканыя з супрацьлегласцяў. Не бывае ў нашых душах аднаколернасці… Хочацца ўсё спазнаць. Шкада, што задні̇м днём думаем. Наступаем на свае ранейшыя ідэалы, губім, адным бяздумным рухам разбураем тое, што гадамі ўзрошчвалася, песцілася. А мо гэта і ёсць прагрэс, штуршок да спазнання свету? Нецікава, нават згубна ўвесь час варыцца ў адным катле. Тады тупееш, абрастаеш тлушчам, дэфармуюцца мазгі. Чалавек ад нараджэння імкнецца хадзіць па лязе нажа, казытаць свае нервы, правяраць псіхіку».

В повести «Абганяючы сны» незарегистрированный брак, длившийся на протяжении четырнадцати лет, рушится из-за измены мужа, который впервые за годы совместной жизни остается один в квартире жены и стремится тут же воспользоваться свободой, приведя домой первую встречную. Пренебрегая бесконечным доверием супруги, используя жилье, которое ему не принадлежит, демонстрируя полное отсутствие внутренней культуры и моральную безответственность, он торжествует от ложной, фальшивой ситуации легкой сексуальной интрижки. Предшествующая семейным отношениям жизнь этого человека не отличалась избирательностью в связях, он жил легко и беззаботно, подчиняясь велению плоти, демонстрируя плотский гедонизм, направленный на реализацию чувственного наслаждения как самоцели и индивидуального самоутверждения.

И даже глубокая любовь к жене не смогла остановить страстное желание повторить подвиги прежней холостяцкой жизни. Сиюминутность дешевой забавы не только разрушила взаимоотношения с супругой, лишила крова над головой, но и привела к серьезному экзистенциальному кризису. Проводя ночи на железнодорожном вокзале, вращаясь в кругу асоциальных элементов, он не может обрести душевное равновесие, не может сосредоточиться на профессиональной деятельности и преодолеть моральный нигилизм. Возникшее чувство внутренней растерянности и неуверенности породило состояние социальной и моральной ущербности, доминирующими стали пессимизм и депрессивность: «Мае вы людзі-чалавекі, — падумалася Юджыну, — не дам я магчымасці парадаваць ваша самалюбства праз мае нястачы і праблемы. Шчырасці няма ў вашых словах, спачування ў вачах. Ды і не трэба яны мне, вашы напышліва-прыгожанькія «охі» ды «ахі». Ведаю я іх кошт ды вартасць».

В повести «Паразумецца з ветрам» автор фиксирует ситуацию глубоких душевных переживаний и отчаяния, в которой оказывается главный герой, испытывающий непреодолимую боль от осознания измены любимой женщины. Душевная пустота пронизывает все его существо, нарушая привычный ритм жизни: «Цішыня. Душэўная пустэча. Ніводзін кішэнны кітайскі ліхтарык са Ждановіцкага рынку не здатны парушыць цямрэчу ў глыбіні маёй душы. Там беспрасвецце, цяжкая і тугая ноч, хоць стальным сцізорыкам рэж, а драпіны ці баразёнкі не пакінеш...»

Оказавшись в тяжелом депрессивном состоянии, полном отчаяния и безысходности, он теряет веру в людей, интерес к жизни и профессии. Нарушение гармонии микромира семьи приводит к эмоционально-психологическому надлому, к невозможности эффективной реализации своего внутреннего потенциала: «Существование человека характеризуется экзистенциальными дихотомиями… У него нет другого пути к единству с миром и в то же время к ощущению единства с самим собой, к соединению с другими и сохранению себя как уникальной сущности, кроме пути эффективного применения своих сил. Если он терпит крах на этом пути, то не может достичь внутренней гармонии и цельности; он раздвоен и разбит, стремится убежать

от самого себя, от ощущения бессилия, скуки и беспомощности, являющимися временными результатами его неудачи» (Э. Фромм).

Рефлексирующее сознание героя, отражающее постоянный скрупулезный процесс самоанализа и самокопания, экзистенциальную «потерянность», крайний пессимизм и цинизм, индивидуалистический нигилизм, обусловлено внутренними качествами персонажа произведения, позволяющими саркастично-критически воспринимать и переосмысливать устоявшиеся стереотипы мышления и поведенческие установки представителей общества. Используя иронию и сарказм, герой стремится успокоить уязвленное самолюбие, констатируя общеизвестные истины: «Жыў бы ты са сваёй Хаўроннinformal... у шчасці і любові. Тайком здраджвалі б адно аднаму. Запрашалі ў госці такія ж рэспектабельныя і зладжаныя пары, як самі. Пілі вінцо, выкурвалі лёгкі касячок на кампанію ды так наіграна і штучна, да ікаўкі, паказвалі гасцям, якое моцнае ў вас каханне… А вочкі дык бегалі б, бегалі па баках, вышуквалі пякнейшую і прыгажэйшую, а галоўнае — новую ахвяру для ўцехі. І хавалася б грахоўная жарсць за бязвінныя і шчырыя ўсмешкі. Ці не кожныя выхадныя пачыналіся б з нявінных выпівак для прыемнасці, а затым, незаўважна, — алкагалізм і пахмелле адначасна». «Мо і ёсць яшчэ на гэтай зямлі верныя жонкі. Але тое ўжо дыягназ. Як цяпер зразумеў: вернасць у наш час — паталогія».

Герой предпринимает попытку самоуспокоения и мести, окунаясь в всепоглощающий мир пошлого и примитивного разврата, в однообразную атмосферу сексуальной общедоступности и вседозволенности, тем более что соцсети способствуют быстрым и многочисленным знакомствам: «Зірнём на анкеты дамачак, якія шукаюць шчасця праз свае маніторы. Неверагодна. Усяго на сайце зарэгістравана… — наццаць мільёнаў!» Следует отметить, что в прозе Анатолия Козлова представлен факт общеизвестного и общераспространенного искаженного понимания человеком самого понятия «измена». Все эти случайные, легкодоступные, мимолетные сексуальные связи и похождения ничего общего с изменой как таковой не имеют. Неслучайно известный французский писатель Фредерик Бегбедер утверждает: «…секс и любовь — это разные вещи, человек всегда искал сугубо сексуального удовлетворения, поэтому не стоит видеть в сексуальных отношениях мужчины и женщины нечто сатанинское, слишком серьезное… Это просто действия, как любые другие, цель которых — получить наслаждение». Причем, получая эти удовольствия, мужчины и женщины снимают с себя нравственные обязательства по отношению друг к другу, морали здесь места нет, это хорошо отражено у Л. Толстого — в «Крейцеровой сонате» Позднышев утверждает: «Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат, именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение». Настоящая же измена связана с возникновением глубокого искреннего чувства к другому человеку, и это чувство целиком и полностью захватывает личность, вытесняя из ее сознания другого, вызывая острое желание всегда быть рядом с любимым человеком, жить его интересами и т. п.

Вся эта сексуальная свобода и разболтанность человека, сексуальная раскрепощенность парадоксальным образом воспринимается многими как признак истинной внутренней свободы человека. В обыденном сознании прочно укореняется мысль о том, что быть сексуально свободным и лояльным — это модно, современно, стильно, однако это все не что иное, как обычный дешевенький разврат. Безусловно, в реализации такого поведения часто выражается своеобразный экзистенциальный и нравственный протест против оскорбленного самолюбия и предательства со стороны дорогого человека. Но этот протест носит разрушительный характер, в первую очередь, для самого носителя протестных интенций, зачастую превращая его в заложника и раба собственных безнравственных поведенческих моделей, что нарушает целостность человеческого бытия. И Э. Фромм бесконечно прав, указывая на тот факт, что «клинические данные

со всей ясностью показывают, что мужчины и женщины, посвятившие свою жизнь неограниченному удовлетворению сексуальных желаний, не достигают счастья, а часто и страдают от тяжелых невротических конфликтов и симптомов. Полное удовлетворение всех инстинктивных потребностей не только не составляет фундамент счастья, но даже не гарантирует душевного здоровья».

Н. Бердяев, посвятивший немало страниц рассмотрению проблем пола, любви и эротизма, утверждал, что «разврат есть разъединение, и он всегда превращает объект полового влечения в средство, а не в цель. Вся физиология и психология разврата построена на этом превращении средства в цель, на подмене влечения к своему объекту влечением к самому сексуальному акту или к самому искусству любви. Любовь к любви вместо любви к лицу — в этом психология разврата». Эти философские констатации Н. Бердяева весьма убедительно подтверждены в прозе А. Козлова: «Наступныя тры тыдні праляцелі быццам у вар'яцкім, ірэалістычным сне. Кватэры, нумары гатэляў, саўны і душавыя кабінкі, заднія сядзенні іншамарак, прыцемненыя лавы ў скверах і парках саступалі месца недалёкім ад Мінска дачам, лясным палянам, турыстычным намётам… У галаве змяшаліся густым кактэйлем імёны дзяўчат, маладзічак і жанчын, як безасабова кажуць, сярэдніх гадкоў. Ніводнага з іх я не запомніў, як і твараў. Яны, па сутнасці, ператварыліся ў адзін неабдымны твар без колеру вачэй, без вуснаў і насоў…» («Паразумецца з ветрам»).

Когда смысл жизни мужчины действительно состоит в любви к женщине, озарен светом этой любви, поднимающей его над обыденностью, тогда нет места донжуанству, тогда есть внутреннее отчуждение от других, а сознание отражает иные категории, исключающие цинизм разврата. Н. Бердяев в этом отношении беспощаден: «В любви есть что-то аристократическое и творческое, глубоко индивидуальное, внеродовое, неканоническое, ненормативное, она непосильна сознанию средне-родовому. Любовь лежит уже в каком-то ином плане бытия, не в том, в котором живет и устраивается род человеческий… Сексуальный разврат ближе и понятнее человеческому роду, чем любовь, в известном смысле приемлемее для него и даже безопаснее. С развратом можно устроиться в «мире», можно ограничить его и упорядочить. С любовью устроиться нельзя, и она не подлежит никакому упорядочиванию».

Индивид, стремящийся попасть в сети разврата, представляет собой тип усредненного человека, нивелированного и интегрированного в общество с царящей атмосферой потребительства в самом широком смысле слова. За кажущейся нестандартностью сексуального поведения скрывается тип обычного среднего человека с декларацией узкого принципа «быть как все», с поверхностным отношением к окружающему миру, с однообразием жизненных установок и поступков, что усиливает ощущение отчужденности и «потерянности». Э. Фромм проницательно констатирует наличие подобных тенденций, наблюдаемых на Западе в середине пятидесятых годов XX века: «Человеческие взаимоотношения сводятся в основном к взаимоотношениям отчужденных друг от друга автоматов, причем безопасность каждого из них основана на его близости к стаду и сходстве мыслей, чувств и поступков». Реализуя на практике такие жизненные установки, человек теряет собственную индивидуальность, происходит растворение человека в массе, в сообществе людей, в которое он попадает.

В исследовательской практике неоднократно указывалось на наличие всеобщей сексуальной озабоченности в современной цивилизации, а Энтони Гидденс в своей известной работе «Трансформация интимности» констатирует проявления мужских качественных характеристик в поведенческих моделях, реализуемых женщинами: «Мужчины большей частью приветствуют тот факт, что женщины стали сексуально доступнее… И все же… они проявляют очевидную и глубоко коренящуюся обеспокоенность… Они говорят, что женщины «утратили способность к доброте», что они «больше не умеют приходить к компромиссам» и что «женщины сегодня не хотят быть женами, они сами хотят себе жен».

Современные женщины предпочитают свободные отношения, так называемые гражданские браки, не требующие официальной регистрации, а следовательно, исключающие взаимные обязательства любого характера; они стремятся отплатить мужчинам их же монетой, примерив на себя лицемерие и цинизм, пытаясь скрыть внутреннюю чувствительность — это находит отражение и в повестях А. Козлова.

Ложь и псевдоизмена очень часто выступают в качестве самозащиты человека и в форме мести за нанесенные душевные раны, однако, как правило, такая месть не достигает своей цели, обрекая человека на бессмысленную борьбу с самим собой, усугубляя эмоционально-психологический кризис и моральный дискомфорт, столь ярко представленные в прозе А. Козлова: «Ледзь не месяц кідаўся на лёгкае, даступнае і падатлівае… І што маю? Апустошанасць. Бяспуцце. Можа, гэткая дарога не мая? Не ведаю, пакуль не ведаю. Адчуваю, што сам сабе супрацьлегласць, як вышчарбленая шасцяронка ў агульным зладжаным механізме. Хоць у прорву галавой… Помсцячы, ці набываем мы душэўны спакой, раўнавагу і ўпэўненасць?.. І каму помсцім?! Помсцім сабе…» («Паразумецца з ветрам»).

Более того, постоянный поиск новых встреч, новых ощущений связан зачастую с отсутствием внутренней цельности и самодостаточности человека, наличием духовно-нравственной и интеллектуальной пустоты. И только одна пустота достойна уважения и сочувствия — это душевная опустошенность, связанная с утратой доверия к любимому человеку, опустошенность, обусловленная невозможностью существования без него, ибо «душа человека дороже царств мира» (Н. Бердяев): «Упершыню ў жыцці адчуў, што значыць спусташальная адзінота. Хоць крычы, раздзіраючы лёгкія і горла, а голасу свайго не пачуеш. А я ж памятаю, што заўсёды прагнуў незалежнасці ад усяго і ўсіх… Не-не, такая воля-свабода мне непатрэбная… Я ж кахаў яе… і, магчыма, яшчэ кахаю. Калі б не было глыбокага пачуцця, няўжо так балела б маё сэрца?» («Паразумецца з ветрам»). И только, наконец, возвращение любимой, его Единственной, метафизически почувствовавшей экзистенциальный хаос и душевные страдания героя, останавливает этот бессмысленный и опустошающий бег по кругу обыденных и ненужных встреч, приводит к эмоционально-психологическому и моральному равновесию: «Плаўна адчыняюцца жалезныя дзверы, і я бачу сваю Адзіную, саваё сонейка. Адхінаюся ўсім целам. Заклала вушы, абарвалася і пакацілася па лесвічнай пляцоўцы маё сэрца. Абяскроўленае і спакутаванае. Я плачу».

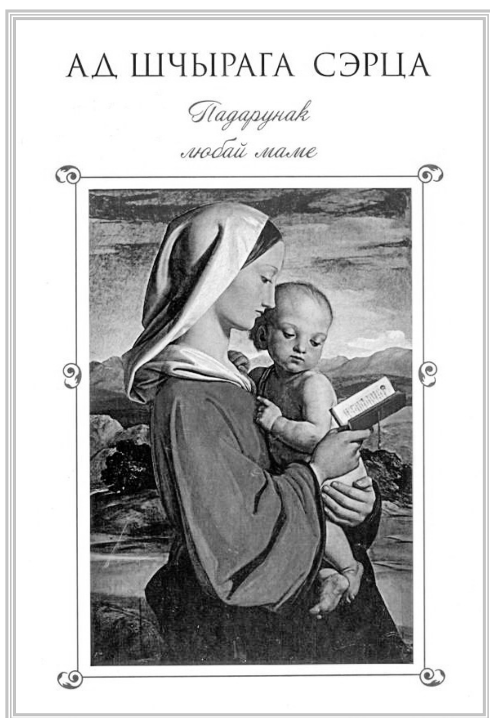
Дарио Салас Соммер проницательно отметил в своей знаменитой книге «Мораль XXI века»: «Люди, как музыкальные инструменты, могут быть хорошо или плохо настроенными, гармоничными или дисгармоничными и, объединяясь в оркестр, могут играть самые прекрасные мелодии или же производить неприятный шум. Каждый излучает вибрации в соответствии с его ментальными, инстинктивными и эмоциональными состояниями, которые отражают гармонию или дисгармонию, царящую во внутреннем мире человека. Только при истинной любви вибрации мужчины и женщины дополняют друг друга таким образом, что становятся созвучными той «музыке сфер», о которой говорил Пифагор». Как важно и необходимо, чтобы в жизни как можно чаще звучала великолепная музыка высших сфер всепоглощающей и всеторжествующей любви, памятуя о том, что «человек несет в себе особый мир, с трудом понятный другим людям. И все же, общение этих разных человеческих миров возможно, и нужно к этому стремиться» (Н. Бердяев).

Декларируя в прозе экзистенциальное мироощущение, мотивы одиночества и разочарования, внутренней неудовлетворенности, потерю духовности, поиски смысла жизни, философски переосмысливая окружающий мир, Анатолий Козлов актуализирует проблему любви, являющуюся необходимой, насущной потребностью, важнейшей составляющей жизни человека, художественно воплощая антиномичность любви и сложность взаимоотношений двух в системе ее координат.

Инесса МОРОЗОВА

С точки зрения рецензента

«…Дзе ты хадзіла і жыла!»



Восхищаясь талантами писателей, художников, артистов, мы редко задумываемся об их матерях, которые подарили их миру, воспитали, вырастили — они остаются в тени своих детей, ставших знаменитыми. А ведь именно мать создает все условия, зачастую идя на самопожертвование, терпя лишения, чтобы дать образование своему ребенку, раскрыть заложенный в нем дар.

Книга под названием «Ад шчырага сэрца: падарунак любай маме», увидевшая свет в издательстве «Мастацкая літаратура» в конце минувшего года, отчасти ликвидирует эту житейскую несправедливость: под ее обложкой собраны рассказы и воспоминания о матерях известных людей искусства. Также в книге содержится богатый иллюстрационный материал: репродукции картин знаменитых художников разных стран и эпох с изображением Мадонн, в том числе принадлежащие современным отечественным живописцам, архивные семейные фотографии наших мастеров пера.

Условно книгу можно разделить на три части. Первая включает воспоминания и рассказы о матерях белорусских писателей. Многие материалы особенно интересны и ценны тем, что авторы их — близкие родственники (невестки, сыновья, дочери, внуки) женщин, о которых повествуют. Так, очень теплый и содержательный рассказ о Бенигне Ивановне, матери Янки Купалы, принадлежит перу ее внучки Ядвиги Романовской. Она приводит подробные воспоминания своей матери, родной сестры поэта, Леокадии Романовской, не только о Бенигне Ивановне, но и о ее родителях, о жизни ее семьи в фольварке Нешота Столпецкой волости Минского уезда (теперь д. Ручин Столбцовского района), романтическую историю ее любви и замужества. И в нашем воображении образ матери поэта оживает, мы видим и чувствуем ее как живого человека, переживаем вместе с ней самые драматические и самые светлые моменты ее биографии, восхищаемся и гордимся ее мужеством. Рассказ Ядвиги Романовской дополнен строками из эссе о матери Янки Купалы народного художника СССР Заира Азгура, данными составителем книги А. Бадаком в предисловии.

Не менее интересен рассказ о матери Максима Богдановича из «Материалов к биографии Максима Адамовича Богдановича», написанный отцом поэта. Увлекают воспоминания о матерях Кондрата Крапивы, Аркадия Кулешова, Максима и Гаврилы Горецких, Ивана Чигринова, Бориса Саченко, оставленные близкими людьми. О родителях Кузьмы Чорного и Ивана Шамякина рассказал белорусский писатель Степан Александрович.

Владимир Липский, Георгий Марчук и Михась Поздняков оставили трогательные признания в любви к своим мамам, полные сыновней благодарности за детство, замечательное не комфортными условиями, а теплом и заботой. С молоком матерей будущие писатели впитали любовь к белорусскому слову, родине, книге, науке:

Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці,
Мой бацька не мог даць раскошаў такіх —
Навучыўся я слоў беларускіх ад маці
І дум беларускіх без школы і кніг, —

от имени многих поэтов писал Янка Купала.

Вторая часть книги содержит рассказы и воспоминания о матерях русских писателей Льва Толстого, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова; зарубежных мастеров слова Гете, Оноре де Бальзака, Вальтера Скотта; композитора Вольфганга Амадея Моцарта, художников Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. Примечательно, что Лев Толстой, лишившийся матери в полуторагодовалом возрасте, рассказал о ней так подробно и тепло (отчасти со слов знавших ее людей), что она оживает и для читателя.

В третьей части издания собраны художественные произведения, посвященные матерям: стихи Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Кузьмы Чорного, Миколы Сурначева, Юрася Свирки, Ивана Мележа, Максима Танка, Янки Сипакова, Ивана Науменко, Бронислава Спринчана, Пимена Панченко, Янки Брыля, Петруся Бровки, Евгении Янищиц, Раисы Боровиковой, Вячеслава Адамчика, Виктора Гордея, Миколы Метлицкого, Валентины Поликаниной, Наума Гальперовича, Владимира Короткевича, Владимира Мозго, Людмилы Рублевской и Виктора Шнипа.

Нельзя не сказать о повествовательном, развернутом предисловии, которое открывает книгу. Составитель Алесь Бадак собрал сведения, которые не вошли в основное содержание, но являются не менее интересными. Это выдержки из писем и воспоминаний, автобиографий и литературных произведений о матерях людей мира искусства: Янки Купалы, Янки Брыля, Алеся Адамовича, Алексея Кулаковского, Эди Огнецвет, Миколы Аврамчика, Василя Раинчика, Владимира Короткевича, Кастуся Киреенко, Ивана Шамякина, Наполеона Орды, Язэпа Дроздовича, Василя Быкова, Владимира Дубовки, Якуба Коласа, Миколы Селещука, Михаила Пташука, Антуана Сент-Экзюпери.

И в заключение хотелось бы отметить: именно такие издания просто необходимы в наш сумасшедший век, когда в бесконечном беге наперегонки со временем человек порой забывает о главном — сказать доброе слово, согреть вниманием, проявить доброту к тем, кто дал ему жизнь. Мы в неоплатном долгу перед нашими мамами, и какие бы события ни происходили в нашей жизни, счастливы, пока живы родители. Ведь мама — земное воплощение самой высокой, безусловной, ни от чего не зависящей любви:

Ёсць матчына любоў.
Яна нам свеціць
І ў блізкай, і ў далёкай старане.
І колькі б я ні жыў на гэтым свеце,
Любі адною — матчынай! — мяне.

(Юрась СВИРКА)

Татьяна БУДОВИЧ-БОРОДУЛЯ



Имена

Что такое полная гармония?..

На этот и другие вопросы в год 60-летия детского литературно-художественного журнала «Вясёлка» отвечает его главный редактор, известный в Беларуси и за ее пределами детский писатель Владимир Липский. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, он вот уже почти сорок лет руководит журналом. Награжден орденом Франциска Скорины. Книги Владимира Липского издаются не только в Беларуси, но и в России, Украине, Молдове, Литве…



— Владимир Степанович, у каждого настоящего мужчины есть свое дело жизни… «Вясёлка» для вас — это дело жизни?

— «Вясёлка» для меня и есть моя Жизнь. Подарок судьбы. Надо же, чтобы так счастливо повернулась фортуна. Своего детства, считай, не было: война, сожгли нашу деревеньку Шелковичи, нашу хату сожгли и мои игрушки, жили в лесу, в землянках. Кажется, сам Бог заступился за меня, вознаградил за мои детские слезы. И я всю жизнь посвятил Детям. Им — мои книги, мое служение в детском журнале (вот уже 38 лет!), еще и в Белорусском детском фонде — 29 лет. Да еще и в Национальной комиссии по правам ребенка с момента ее создания Указом Президента. А это ведь не что иное, как служение. Делу. Его результатам. Служение стране. Нашей родной Беларуси.

— Вы успешный писатель, автор многих книг, которые адресованы и юному читателю, и всем тем, кто хотел бы узнать что-то новое о судьбе родного Отечества… Много выступаете как публицист. Не жалеете, что редакторская работа отрывает вас от своих творческих проектов?

— Редактор, а тем более главный, — это мотор коллектива, его крылья, топливо, короче, все то, что придает ракете скорость. Это навигатор в творческом деле, в административном ресурсе. Если хочешь, чтобы все это двигалось в космос, на Парнас к детским сердцам, так будь добр, рулевой, показывай пример во всем. А прежде всего в творчестве. Главный редактор просто обязан быть образцом во всем: как писать, о чем писать. Поверьте, деловой стиль редактора и есть его творческое зарядное устройство. А иначе как же?

— Какие задатки кроме таланта должны быть у молодого челове-

ка, вступающего на писательскую стезю?

— Чтобы писать что-то, чтобы зажигать сердца чьи-то, нужно самому накопить немало энергии, немало мыслей, много знаний, опыта в своей душе. Без этого в итоге будет простое писательство, пустое сочинительство, если не графоманство. Юный талант прежде всего должен осознать: если его писание не трогает душу читателя, никого не волнует, значит, оно сработало вхолостую. Творчество же всегда работает на мускулы души, на ее чувствительные струны. Если этого не происходит, не следует даже пытаться насиловать бумагу.

— Кроме журнала вы многие десятилетия занимаетесь работой в Белорусском детском фонде. Что из этих двух жизненных направлений, из этих двух профессиональных и общественных дорог представляется наиболее интересным? Чему душа посвящена, а что приходится делать по обязанности, возможно, с некоторым напряжением?

— И там, и там объектом моих забот являются Дети! Вы заметили, что слово «Дети» я пишу с большой буквы? До этого понимания я дошел каждой своей клеточкой. Дети — это наше все: день завтрашний, богатство страны, продолжение семейного рода, продолжение нации. В журнале — я работаю над творческим потенциалом Детей. В фонде — защищаю их права, чтобы ничто и никто не мешал им созревать, вырастать в Личности. Вот в такой полной гармонии и заключаются мои пожизненные две службы, в такой гармонии сходятся все мои дороги.

— Сегодня много говорят о государственно-частном партнерстве… А кто у «Вясёлкі» в партнерах?

Главные партнеры «Вясёлкі» — Дети, наши читатели. Их — десять тысяч. Даже чуточку больше. Это я говорю о количестве подписчиков. Вот они верной дружбой с журналом, подпиской и содержат свой журнал. А мы, редакция, стараемся не подвести наших «партнеров». Делаем востребованный, интересный, содержательный журнал. Конечно, время диктует налаживать и другие виды партнерства. Например, по заказу «Беларусбанка» я два года сочинял и печатал в журнале повесть-сказку «Грошык і таямнічы кошык» — детям о секретах финансов, истории денег, о семейном бюджете и т. д. Правильно, детей надо с малолетства приучать к экономии, бережливости, умению зарабатывать и ценить деньги. Работа редакции в этом направлении поддержана банком спонсорской помощью.

— Владимир Степанович, развитие детской периодики, детского книгоиздания, которым вы сейчас активно занимаетесь вместе с издательством «Адукацыя і выхаванне», требует существенной материальной поддержки. Поддерживает ли вас бизнес-сообщество, поддерживают ли банки?

— Хотелось бы, чтоб бизнесмены, банки повернулись к такому эффективному средству воспитания Детей, как книга, литературно-художественный детский журнал. К сожалению, такое понимание вложения в детство среди современного бизнес-сообщества крайне редко. Стотомное издание «Библиотеки «Вясёлкі», которое мы осуществляем с издательством «Адукацыя і выхаванне», — это скорее энтузиазм, понимание и государственная озабоченность прежде всего мои и директора издательства Николая Александровича Супрановича. Спасибо, что книги активно покупают школы, сами юные читатели и их родители.

— Наблюдая за жизнью, сталкиваясь с людьми, которые состоялись как руководители предприятий разных форм собственности, не думали о том, что и сами смогли бы управлять каким-либо бизнесом?

— Поверьте на слово, мог бы! Но это понимание поздно пришло ко мне. Ой, как можно организовать настоящее Дело! Есть идеи, есть помощники, и конечно же, жизненный опыт. А может, даст Бог, еще тряхнем стариной?!

— Как вы считаете, что прежде всего необходимо человеку, чтобы состояться как успешной личности?

— Понимание, что жизнь дается один раз. И что она — всего лишь одно мгновение. Нужно успеть понять себя, сделать себя, раскрутить себя. Это значит, что каждому дано время использовать сполна свой человече-

ский ресурс и потенциал на мельнице жизни. И тогда, «если долго мучиться, что-нибудь получится».

— Если у вас что-то не получается, если наступает депрессия, как вы выходите из этой ситуации?

— Есть в жизни ну очень уж важная персона — Ее Величество Вера. Вот с ней нужно подружиться, ее следует полюбить. И тогда можно легко преодолеть и депрессию, и, как говаривал один из наших классиков, «усеагульную беларускую млявасць» в буднях, и преждевременную старость, и всякого рода брюзжания, даже на отсутствие такой мелочи, как большие деньги.

— Вы и сегодня активно занимаетесь спортом. Что это для вас — наслаждение или работа?

— Нужно в себе развить прежде всего мускулы Души! Тогда обязательно захочется развивать и физические мускулы. Спорт — это не только здоровье, но и проверка характера, обретение уверенности в жизни, и что самое главное, желание жить без таблеток и врачей. На памяти — один эпизод из детства. Я начал ходить в школу в Узнож, за пять километров от нашей маленькой деревушки. Наш пятый класс учитель физкультуры вывел на стадион. Там был, как и полагается, турник. И нам было предложено подтянуться. Я повис на турнике… и не поднял себя. «Это все?..» — тихо спросил учитель. Как же мне было стыдно! В этот день я сам смастерил турник возле нашего дома и начал тренироваться. Через месяц я показал учителю, что умею выделывать на турнике. Надо научиться стыдится за самого себя и все будет окей.

— Писатель просто обязан много читать… Но не бывает такого чувства, что на какую-то книгу зря потратили время?

— Книга для меня — это как дверь в прекрасную страну мудрости. Как мне кажется, каждый из людей должен, просто обязан научиться открывать эту дверь. К сожалению, развелось много «писателей». Они не понимают, что толковая книга пишется совсем не рукой и даже не головой. А пишется, создается душой, сердцем! Такие книги и нужно уметь искать, и тогда они украсят ваши мысли, язык и помогут увидеть, осознать удивительный земной рай.

— Какую из книг перечитали за жизнь несколько раз?

— Из русских писателей постоянно перечитываю Пушкина, Чехова, Бунина, из белорусских — Янку Купалу (о нем написал свою повесть «Янкаў вянок»), Якуба Коласа, Кузьму Чорного, Янку Брыля, Янку Мавра, Василя Витку. Несколько раз перечитал «Горе от ума» (там Чацкий хорошо сказал: «Я глупостей не чтец»), «Обломова», «Палескіх рабінзонаў», «Млечны Шлях». Из современных писателей не пропускаю все, что выходит из-под пера Виктора Козько, Виктора Карамазова, Раисы Боровиковай, Анатоля Клышко, нравится мне уверенная поступь в литературу Алеся Бадака, Алеся Карлюкевича, Зиновия Пригодича, Валерия Гапеева… Короче, я уверен, что писательский труд должен стать частью культуры страны, нашего Отечества — родной Беларуси. Это и есть высшая планка творческой личности.

— И все же несколько слов о той вашей книге, которую хотелось бы еще написать…

— О, планов у меня — выше моей заснеженной головы. Сейчас работаю над историческим романом, пишу повесть-исповедь «Моя Беларусь». И хочу, чтобы она стала своеобразным учебником для школьников. Мечты, мечты, где ваша сладость?.. Мечты неинтересны в праздности, я мечтаю и планирую что-то в работе, в каждодневном труде.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.



Авторы номера

ЧЕРНЯВСКИЙ Микола (Николай Николаевич). Родился в 1943 г. в д. Буда-Люшевская Буда-Кошелевского района Гомельской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор множества сборников стихов и прозы для детей и взрослых, книг сатиры и юмора. Лауреат премий имени Янки Мавра и «Золотой купидон». Живет в Минске.

МЕТЛИЦКИЙ Микола (Николай Михайлович). Родился в 1954 г. в д. Бабчин Хойникского района Гомельской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Беларуси, Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Живет в Минске.

БИРГ Лиза. Родилась в г. Минске. Окончила Минское педагогическое училище и Белорусский государственный университет. Печаталась в журналах «Народная асвета», «Немига», «Новое поколение». Живет в Чикаго (США).

ПОЛЕЕС Елизавета Давыдовна. Родилась в г. Могилеве. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси и стран ближнего зарубежья, в антологии «Современная русская поэзия в Беларуси», альманахе «Дзень паэзіі». Автор нескольких сборников поэзии. Живет в Минске.

КАРПОВИЧ Екатерина Юрьевна. Родилась в г. Шяуляй (Литва). Окончила Белорусский государственный университет по специальности «психология». Печаталась в журнале «Нёман». Живет в Минске.

ЧУБАРОВ Александр Васильевич. Родился 1955 г. в Риге (Латвия). Окончил химический факультет Белорусского государственного университета. Автор сборников стихов «Долгота дня», «Видимость», «За огненной рекой», «Проницаемость», «Небесная Родина». Живет в Минске.

ЖДАН-ПУШКИН Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

ДМИТРИЕВА Надежда Петровна. Родилась в г. Наро-Фоминск (Россия). Окончила Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Прозаик, поэт, детский писатель. Автор книг «Радость, выбери меня!», «Чем я не солнышко?», «Сюрприз от сестрички». Живет в Гомеле.

БОГДАНОВИЧ Максим Адамович. Родился в 1891 г. в Минске. Поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы. Окончил Нижегородскую мужскую гимназию, Демидовский юридический лицей. При жизни издан единственный сборник стихотворений «Венок». Произведения поэта переведены на два десятка языков мира, публиковались в Великобритании, Германии, Польше, России, Франции, Югославии и других странах. Умер в 1917 году в Ялте.

БЭГЛИ Десмонд. Родился в 1923 г. в г. Кендал (Великобритания). В возрасте 14 лет оставил школу и начал работать. Британский писатель-романист и публицист, один из основоположников жанра триллер. Автор романов «Золотой Киль», «Оползень», «Западня свободы», «Ночь ошибок», «Джаггернаут» и др. Умер в 1983 году в городе Саутгемптон (Великобритания).